РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

АЛЕТЕЙЯ

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

Если буду жив
или Лев Толстой
в пространстве медицины

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2011

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6 — 4
П73

Фото автора на обложке
работы Д. Захарова

Порудоминский В.

П73 Если буду жив. — СПб.: Алетейя, 2011. 350 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN

Это книга писателя-биографа — не врача. Книга не только о медицине — о всей жизни Льва Толстого, от рождения «в Ясной Поляне на кожаном диване» до последних минут на прежде мало кому ведомой железнодорожной станции, по прибытии на которую, он, всемирно известный, объявил себя «пассажиром поезда № 12». Книга о счастливых и горестных днях его жизни, о его работе, духовных исканиях, любви, семье... И — о медицине. В литературном творчестве, в глубоких раздумьях о мире в себе и мире вокруг, в повседневной жизни Лев Толстой проницательно исследовал непременные, подчас весьма сложные связи духовного и телесного начала в каждом человеке. Обгоняя представления своего времени, он никогда не отторгал одно от другого, наоборот, постоянно искал новые и новые сопряжения «диалектики души» и «диалектики тела». Его слова «Лечим симптомы болезни, и это главное препятствие лечению самой болезни» — это слова сегодняшней медицины, психологии, социологии, философии. Отношение Толстого к медицине, нередко насмешливо критическое, жесткое, можно вполне понять и оценить, лишь учитывая всю систему его взглядов. Художник Крамской, создавший первый живописный портрет Льва Толстого, говорил, что никогда прежде не встречал человека, «у которого все детальные суждения соединены с общими положениями, как радиусы с центром». Читателю предстоит как бы заново познакомиться с биографией Толстого, по-новому увидеть многое в ней, что казалось хорошо известным.

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6 — 4

© В.Порудоминский, 2011
© А.Вейн, 2011
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

В этой книге есть два ключевых слова: *«Лев Толстой»* и *«Медицина»*. А главным среди этих двух слов является *«Лев Николаевич Толстой»*. Нельзя прожить жизнь, не сталкиваясь с медициной. Болезни приводят людей к врачам. Так, конечно, было и в жизни Льва Толстого. Однако по своей неукротимой манере обдумать и уяснить все, что его окружает, он достаточно часто рассуждал о врачевании, пытался понять сущность болезней. При этом обычно он говорил о вещах, неясных для медицины его времени.

Лев Николаевич пытался понять связь между душой и телом, что во все времена существования медицины является главной проблемой. *«В здоровом теле — здоровый дух»* — гласит изречение. Но есть и другая сторона медали. Здоровый дух — основа здоровья тела. Второе было ближе Льву Николаевичу. Наблюдая замечательных врачей, общаясь со своими семейными врачами последние годы жизни, не раз и дружески относясь к знаменитому врачу Г.А.Захарьину, обсуждая проблемы с нобелевским лауреатом Ильей Мечниковым, он видел их особую сосредоточенность на болезнях отдельных органов и систем, не улавливая при этом общих тенденций и состояния.

По существу, ему не хватало того, что пришло через какое-то время в медицинские представления и в России определяется словом *«нервизм»,* а также сейчас как *«психосоматическая медицина»*. Очевидна для современной медицины роль нервной системы и психики в течении любого заболевания. Можно утверждать, что Лев Николаевич был стихийным психосоматиком, заменяя конкретное представление нервизма определенными религиозными построениями. Интуитивно чувствуя существование общих закономерностей течения болезни, он с определенной иронией, а иногда и раздражением высказывался о врачах своего времени.

История нашего движения к этой книге охватывает долгие годы. И в ней как бы два направления. Первое, как всегда, Лев Толстой. Скорее всего, он пришел к нам, как и положено, в школьные годы. Хочется добрым словом вспомнить нашего замечательного учителя литературы Евгению Васильевну Каченовскую. Мы издавали свой

литературный журнал. Литература была для нас не обязательным предметом изучения, а страной, по которой мы с восторгом путешествовали. Писательский масштаб Толстого был очевиден. А затем в течение жизни открывались и другие его черты. Этот самый яркий русский гений был всемирным человеком.

С одинаковой естественностью он обращался к Богу, миру, царю, священному синоду и простым крестьянам, с которыми, как и со всем миром, он находил нужные слова, был естественен и внутренне прост. Любимый Владимиром Ильичом Порудоминским и мной Борис Леонидович Пастернак называл место пребывания Льва Толстого *«территорией совести»*. Мне кажется иногда, что Ясная Поляна была независимым государством, что-то вроде Ватикана в Риме. И в ней жил человек, пытавшийся понять всю сложность окружающего мира и делавший героические попытки его улучшить.

Постоянная внутренняя обеспокоенность, отзывчивость, соединенная с подчас беспощадной и не всегда справедливой оценкой самого себя.

Владимир Ильич постепенно и по-своему шел к Толстому через замечательные книги, написанные им о выдающихся деятелях 19 века. Они посвящены Гаршину, Пирогову, Далю, Крамскому, Брюллову, Ге, Ярошенко, Афанасьеву. Вместе с Эйдельманом он пишет «Болдинскую осень», где рассказывается о счастливых днях подъема Пушкинского духа, завершившегося замечательным результатом.

Постепенно, интересы Владимира Ильича все больше сосредоточивались на Льве Толстом. Прежде чем подробнее сказать об этом, подумаем, как появилась и стала доминирующей в книге тема медицины. Во-первых, мы родились в доме, в котором жило сто врачей. Это была среда нашего детства. А затем моя профессия, наши долгие и постоянные разговоры, в которых Владимир Ильич купал меня в море литературы, а я, со своей стороны, рассказывал о проблемах медицины, главным образом о неврологии, о возможностях и деятельности органа нашей души — головного мозга. Неслучайно Владимир Ильич писал книги о легендарном хирурге Николае Ивановиче Пирогове, о враче Владимире Ивановиче Дале, о душевных и медицинских проблемах своих героев. Мои многолетние исследования сна привели к интересным специальным работам Владимира Ильича, посвященным толстовским представлениям о сне. Наши обсуждения проблем психологии, в частности, теста Люшера, когда по предпочтению человек выбирает определенный цвет и на основе этого делается заключение о его эмоциональном состоянии, привели

к тому, что Владимир Ильич проделывает гигантскую работу, анализируя выбор цвета Толстым в различных его произведениях, пишет книгу «Цветá Толстого», которую, будучи совсем небогатым человеком, он издает за свой счет и рассылает русистам, работающим в различных университетах мира.

Мечтали мы и о книге, которую условно для себя называли *«интегративное литературоведение»,* в которой хотели обсудить параллельно текущие литературную деятельность и самочувствие Льва Николаевича в эти периоды. В его дневниках имеются практически ежедневные указания на самочувствие, сон, настроение, другие колебания психики. Уже невооруженным глазом было видно, что общее самочувствие Льва Николаевича лучше, когда он в активной трудной работе и все в ней ладится. И, наоборот, в перерывах между крупными работами, в раздумьях о будущих планах (представьте себе состояние писателя, завершившего роман «Война и мир») обострялись и проявлялись многие недуги, которые не были опасными, но приносили ему душевные страдания. Такую книгу написать не удалось. Может быть, кто-то когда-то пройдет по нашим следам и соединит рассказ о литературной работе своих героев с описанием состояния их душевного равновесия или его нарушения. И все же родилась книга о Толстом и медицине, и только для нас ясна история, которая к ней привела и продолжалась в течение всей нашей жизни в постоянных дискуссиях, обсуждении планов, мечтаниях...

Самое тяжелое испытание для здоровья Толстого произошло в 1901(2) году, когда он перенес тяжелую пневмонию и был вынужден потом долгое время лечиться в Крыму. В эти же годы появились состояния, которые сейчас можно оценивать как проявления недостаточности мозгового кровообращения. Это обморочные припадки, слабость, временная потеря ориентировки в окружающем, отсутствие воспоминаний об этих приступах. Конечно, в этих случаях использовались имевшиеся тогда способы лечения. Они могут вызвать сейчас некоторую иронию, но и с современными средствами, воздействующими на мозговое кровообращение, такие феномены остаются достаточно частыми.

Естественный вопрос — это последняя болезнь Толстого. Наверное, применение современных антибиотиков помогло бы спасти Льва Николаевича. Однако следует помнить, он ушел из своего царства Ясной Поляны, чтобы закончить жизнь в пути.

Предлагаемая книга — большая радость для Владимира Ильича и меня. Это как бы итог, плод многолетней дружбы, интеллектуально напряженной и душевно незамутненной.

Книга начинается с того, что Толстой любил считать и анализировать цифры. Вот и закончим ее несколькими простыми числами. Мы оба родились через 100 лет после рождения Толстого, нам, каждому, — 75 лет. В этом году будет праздноваться 175 лет со дня рождения Льва Николаевича. Такие простые числа. Так случилось, что книга завершена к этому юбилею. И нам очень хочется, чтобы она не потерялась и нашла своего читателя.

Апрель 2003 года

Академик РАМН,
заслуженный деятель науки,
профессор А.М. Вейн

«Часто приходит в голову: всё ничего, всё еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердые, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своей питает всю страну и свой народ».

Александр Блок

«Человек текуч...»

Лев Толстой

ЧАСТЬ СТРОЙНОГО ЦЕЛОГО

Мы привычно повторяем, что Лев Николаевич Толстой не любил медицину и докторов. Его суждения, насмешливые и сердитые, исполненные недоверия, порой сурового осуждения, встречаем на страницах его сочинений, в дневниках и письмах, в занесенных на бумагу свидетельствах современников.

Люди, которые *«отрицают медицину»,* не верят врачам, иронически, а то и попросту недоброжелательно относятся к их выводам и советам (и при этом постоянно к ним обращаются, как и сам Лев Николаевич) встречаются достаточно часто. И если бы речь шла не о Льве Толстом, можно было бы посмеиваться над слабостями (пусть даже великого) человека, возмущаться резкими, подчас несправедливыми высказываниями, в недоумении пожимать плечами, но, в общем, не придавать им серьезного значения.

Лев Толстой — совсем другое дело.

Художник Иван Николаевич Крамской, создавший первый живописный портрет Толстого, с прозорливостью опытного, проницательного портретиста, раньше многих современников почувствовал гениальность его: не гениальность Толстого-писателя — гениальность человека, который по-своему преображает все, к чему прикасается в окружающем его мире. В письме к самому Толстому живописец рассказывает, что был поражен его *«умом и миросозерцанием совершенно самостоятельным и оригинальным»,* что впервые в жизни (возможно, следует понимать — раз в жизни) встретил человека, *«у которого все детальные суждения крепко связаны с общими положениями, как радиусы с центром»*.

Высказывания Толстого о медицине, часто удивляющие очевидной неправотой и незаслуженной жесткостью, вряд ли требуют серьезного размышления, простого внимания даже, если всякий раз не делать попытку пробиться *«по радиусу»* к центру, связать детальное суждение со всей системой толстовского мировоззрения. Внимательный взгляд и в кажущихся непоследовательностях Толстого обнаруживает свою логическую последовательность.

Переводчик и биограф Толстого, английский литератор Эльмер Моод, долгие годы проживший в России, неоднократно встречав-

шийся с Львом Николаевичем и о многом с ним беседовавший, пишет: *«Никогда нельзя было предугадать, что он скажет, ибо даже на вещи, мне хорошо известные, его взгляды часто являлись для меня неожиданностью: но уж если он говорил, то обычно было легко понять, почему он думает так, а не иначе. Литература, искусство, наука, политика, экономика, социальные проблемы, отношения полов и местные новости рассматривались им не в отрыве одного от другого, как это сплошь и рядом бывает, а как части одного стройного целого»*.

Именно так, в связи с духовными и физическими особенностями личности Толстого, с событиями его жизненного пути, его взглядами и мировоззрением, поисками смысла жизни, его нравственными идеалами пытаемся мы уяснить его отношения с медициной, к медицине. И, соответственно, поскольку все у него, по собственному слову, круто завязано одно с другим, медицинская сторона его внутренней и внешней жизни поможет нам несколько по-новому взглянуть на личность писателя, глубже понять его поиски, идеалы, иначе, нежели прежде, прочитать некоторые страницы его сочинений, в которых, как сможем убедиться, медицине отдано много больше места, чем представляется на первый взгляд.

* * *

Автор книги не медик — профессиональный писатель-биограф, немало лет посвятивший изучению жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Предлагаемая книга не медицинская биография Толстого, какой она, наверно, получилась бы, возьмись за нее специалист-медик, а, скорее, *портрет в пространстве медицины*. На некоторые относящиеся к медицине вопросы автор ищет и находит ответы вместе с Толстым. Некоторые же вопросы лишь ставит в надежде поискать на них ответ вместе с читателями — специалистами и неспециалистами, теми, кто интересуется жизнью и личностью Толстого, и теми, кто, подобно ему, не в силах не задаваться вопросами *«Зачем я живу?»* и *«Как мне жить?»*.

В обширнейшей толстовиане, библиографии работ о Л.Н. Толстом, найдем также известное количество статей и исследований, посвященных взаимоотношениям Толстого с медициной. Материалы носят в основном частный характер: освещают и пополняют отдельные страницы биографии Льва Николаевича, рассматривают некоторые его суждения о нравственной и практической стороне врачебной науки, расширяют и уточняют круг его общений в медицинской среде. В числе авторов есть усердно и преданно потрудив-

шиеся на поприще толстоведения врачи — прежде всего необходимо назвать имена навсегда покинувших нас Григория Андреевича Кулижникова и Бориса Сергеевича Свадковского. Увидевший свет уже во время работы над этой книгой, труд доктора Г.А. Кулижникова «Л.Н. Толстой и медицина», — хронологический свод многих высказываний по медицинским вопросам самого Льва Николаевича, его близких, знакомых ему врачей — не мог не стать для нас существенным подспорьем.

* * *

Эта книга никогда не была бы создана без постоянного внимания и дружеской поддержки крупнейшего отечественного невролога, академика Российской академии медицинских наук, профессора Александра Моисеевича Вейна (1928–2003).

Ученый-новатор с мировым именем, многоопытный, чуткий врач, Александр Моисеевич был страстным и пристрастным любителем и знатоком художественный литературы. Лев Толстой — его пожизненная любовь и вместе великий учитель, в постоянном общении с которым он вырабатывал и сверял свои взгляды на жизнь, свои нравственные убеждения, сокровенные помыслы.

Сказать, что нас с Александром Моисеевичем связывали долгие годы дружбы было бы неверно: нас связывает дружба *всей жизни*. Александра Моисеевича нет, но я живу, и дружба продолжается. Мы родились в один год, под одной крышей, наши родители тоже дружили с незапамятных времен. Мы жили в одном доме и встречались почти ежедневно. Нам всегда не хватало друг друга. Мы редко скрывали что-нибудь один от другого, да и то — до поры. Мы знали друг о друге то *«почти всё»*, что вообще один человек способен знать о другом. Каждый из нас был серьезно и подробно осведомлен о профессиональных трудах другого. Александр Моисеевич проницательно вникал в мои литературные занятия, с терпением вдохновенного педагога (каким ему определено было быть) посвящал меня в суть своих научных исканий. Мы много спорили, но не ссорились. Мы радовались согласию, но дорожили не только собственным мнением, но и собственным мнением другого. Нам не требовались долгие объяснения — мы понимали друг друга с полуслова, если вообще требовались слова. У нас была *осердеченная дружба*. Мы ценили ее уникальность как дар Судьбы.

В долгих беседах с Александром Моисеевичем складывался замысел этой книги, определялись ее идеи, темы, сюжеты, уточнялись подробности. Мы предполагали, что Александр Моисеевич прило-

жит к ее основному тексту подробный комментарий ученого, который, собственно, тоже станет *основным текстом*. Мы мечтали однажды оказаться мало что друзьями, еще и соавторами. Александр Моисеевич успел прочитать написанное мною и поторопился продиктовать предисловие.

Мне осталась на долю трудная радость посвятить книгу памяти Александра Моисеевича Вейна.

НАБРОСКИ ПОРТРЕТА

«Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей столетия»

Максим Горький

Глава 1
НЕПОСТИЖИМОЕ

Время

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года. Число «28» он считал для себя счастливым: «Я родился в 28-м году, 28 числа и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом... И в математике «28» — особое совершенное число, которое равно сумме всех чисел, на которые оно может делиться. Это очень редкое свойство».

Однажды в беседе признается: «Мне приятно играть цепочкой часов и навертывать ее 28 раз... Я рожден 28 года 28 числа».

28 октября 1910 года Толстой навсегда уйдет из дома, из Ясной Поляны. Через десять дней он уйдет и из самой жизни — на неведомой прежде железнодорожной станции, в чужом доме, на чужой кровати.

Молодой Борис Пастернак с отцом, художником, иллюстрировавшим сочинения Льва Николаевича и много рисовавшим его самого, приедет на эту станцию, чтобы участвовать в похоронах, и позже напишет об этом: «Было как-то естественно, что Толстой упокоился, успокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись».

Толстой проживет на свете 82 года — тоже «2» и «8», но в обратной последовательности. Число уже не совершенное...

Место

Лев Николаевич, по собственным его словам, родился «в Ясной Поляне, на кожаном диване».

Жизнь Толстого немыслима без Ясной Поляны ни для него, ни для нас. Он говорил, что без своей Ясной Поляны ему трудно себе представить Россию и свое отношение к ней.

«Ясная Поляна! Кто дал тебе твое красивое имя? Кто первый облюбовал этот дивный уголок и кто первый любовно освятил его своим

трудом? И когда это было? — гимном родовому гнезду начинает свои воспоминания сын писателя, Илья Львович. — Да, ты действительно ясная — лучезарная. Окаймленная с востока, севера и заката дремучими лесами Козловой засеки, ты целыми днями смотришься на солнце и упиваешься им... Пусть бывали дни, когда солнца не было видно, пусть бывали туманы, грозы и бури, но в моем представлении ты останешься навсегда ясной, солнечной и даже сказочной».

Толстой неохотно покидал Ясную Поляну, уезжая, тосковал по ней и радовался каждой новой встрече. Ясная Поляна была для него своего рода «чистилищем» — нигде более так не удавалась ему та важная внутренняя работа, которую он называл «чисткой души»: «Я только, приехавши в Ясную, могу разобраться сам с собой и откинуть все лишнее».

О своем физическом ощущении, когда после отлучек возвращался в Ясную, он говорил: «Я точно свою старую одежду надел». В «Войне и мире» он напишет о Пьере, который любил жить в Москве; оказываясь там, он чувствовал себя покойно, тепло и привычно, как в старом халате.

Дом, где родился будущий писатель, не уцелел. В молодости, испытывая нужду в деньгах, Толстой продал его на своз. После жалел об этом. Многие годы спустя, незадолго до семидесятилетия, он посетил имение, куда перевезли купленный у него дом, чтобы еще раз взглянуть на стены, в которых прошло начало жизни. Занес в дневник: «Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний».

Кожаный диван, о котором упоминает Толстой, сохранился по сей день. На этом же диване родились три старших брата Льва Николаевича, его единственная сестра и собственные его дети, во всяком случае, старшие. По заветной семейной традиции, когда наступала пора, диван приносили в комнату роженицы.

Вот и в «Войне и мире» перед тем, как рожать маленькой княгине, жене Андрея Болконского, его сестра, княжна Марья, «из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».

Устремленное внутрь себя внимание

У Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых было тринадцать детей. (Пятеро умерли в раннем возрасте. Последний ребенок, Ванечка, — когда он родился, Льву Николаевичу уже шестьдесят, — дожил только до семи лет.)

Тринадцать раз Толстой близко наблюдал беременность жены, по-своему пережил вместе с ней трудные, тревожные и счастливые часы родов.

В «Анне Карениной» читаем про Кити, что среди общего нетерпения и беспокойства из-за ее беременности она одна чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою: «Она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству... Все были так добры к ней, так ухаживали за нею, так одно приятное во всем представлялось ей, что если б она не знала и не чувствовала, что это должно скоро кончиться, она бы и не желала лучшей и приятнейшей жизни». Когда читаем такое, ясно сознаем, чувствуем, что знаменитую «диалектику души», которую неповторимо передает Толстой, питает проникновенная памятливая наблюдательность.

В «Войне и мире» — несколько строк беседы маленькой княгини с княжной Марьей:

« — Marie, — сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, — дай сюда твою руку. — Она взяла руку княжны и положила ее себе на живот.

Глаза ее улыбались, ожидая, губка с усиками поднялась и детски-счастливо осталась поднятой...

— Вот, вот — слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, — сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку...

Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала».

Такое не сочиняется. Это надо увидеть, прочувствовать, уяснить, переплавить в образ и слово.

О своих первых родах Софья Андреевна вспомнит много позже в автобиографии «Моя жизнь». И многое из того, что она расскажет, творчески усвоенное и заново воссозданное, мы уже встречали на страницах «Анны Карениной», посвященных первым родам Кити. Но в романе происходящее дается прежде всего через восприятие Левина. Когда писатель рассказывает о родах, увиденных внешним и внутренним взором своего героя, «устремленное внутрь себя внимание» открывает ему впечатления, которые хранятся в душе и памяти.

Как бывает перед сражением

Своего рода «конспект» описания первых родов, которое появится позже в его романах, запись о том, как они пережиты им самим, находим в дневнике Льва Николаевича 5 августа 1863 года. «Конспект» не окончен: волнение так сильно, что даже через месяц с лишним после рождения первенца у него недостает сил занести свои впечатления на бумагу.

«Я пишу теперь не для себя одного, как прежде, не для нас двух, как недавно, а для него <*т.е. еще для сына, Сергея.* — Здесь и далее пометки в угловых скобках сделаны мною, курсив всюду тоже мой. Курсив Л.Н. Толстого и авторов приведенных высказываний оговорен особо. — *В.П.*> 27 июня, ночью, мы оба были особенно взволнованы. У нее болел живот, она металась, мы думали только, что это последствия ягод. Утром ей стало хуже, в 5 часов мы проснулись... Она была разгорячена, в халате и вскрикивала, потом проходило, и она улыбалась и говорила: ничего... Я был взволнован и спокоен, занят мелочами, как бывает перед сражением или в минуту близкой смерти. Мне досадно было за себя, что я мало чувствую. Мне хотелось ехать в Тулу и все сделать поаккуратнее... В Туле мне странно было, что Копылов <*тульский знакомый*> хочет, как всегда, говорить о политике, аптекари запечатывают коробочки. Мы поехали с Марьей Ивановной (акушерка Сережи)... Я вошел. Милая, как она была серьезно, честно, трогательно и сильно хороша. Она была в халате распахнутом, кофточка с прошивками, черные волосы спутаны, — разгоряченное, шероховато-красное лицо, горящие большие глаза, она ходила, посмотрела на меня. Привез? Да. Что? Ужасно сильные схватки... Она просто, спокойно поцеловала меня. Пока копошились, с ней сделалась еще. Она схватилась за меня. Как и утром, я целовал ее, но она про меня не думала, и серьезное, строгое было в ней. Марья Ивановна ушла с ней в спальню и вышла, роды начались, сказала она тихо, торжественно и с скрываемой радостью, какая бывает у бенефицианта, когда занавес поднялся. Она все ходила, она хлопотала около шкапов, приготовляла себе, приседала, и глаза все горели спокойно и торжественно. Было еще несколько схваток, и всякий раз я держал ее и чувствовал, как тело ее дрожало, вытягивалось и ужималось; и впечатление ее тела на меня было совсем, совсем другое, чем прежде и до и во время замужества. В промежутках я бегал, хлопотал уставлять диван, на котором я родился, в ее комнату и др., и во мне было все то же чувство равнодушия, укоризны за него и раздражения. Все хотелось поскорей, побольше и получше обдумать и сделать. Ее положили, она сама придумывала... (Я не докончил этого и не могу писать дальше о настоящем мучительном.)».

Софья Андреевна в «Моей жизни» вспомнит характерную неопытность юной матери, не умеющей определить начало: «В ночь с 26 на 27 июня я почувствовала себя нездоровой, но, встретившись с сестрой Таней, у которой болел живот, и сказав ей и о моей боли, мы обе решили, что мы съели слишком много ягод и расстроили себе желудки. Мы болтали и смеялись с ней, но боли ее утихли, а мои стали обостряться. Я разбудила Льва Николаевича и послала его позвать Марью Ивановну...»

(Сам Сергей Львович, первенец, рассказывает: «Когда начались роды, отец говорил матери: «Душенька, подожди до полуночи». Ему хотелось, чтобы его старший сын родился 28-го... Природа исполнила его желание, и я родился после полуночи».)

Глава о родах в «Анне Карениной» начинается с того же наивного неумения Кити постигнуть, что происходит с ней, с ее нежелания будить крепко уснувшего мужа.

«В пять часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги.

— Что?.. что? — проговорил он спросонья. — Кити! Что?

—...Ничего. Мне нездоровилось, — сказала она, улыбаясь...

— Что? началось, началось? — испуганно проговорил он.

— Надо послать, — и он торопливо стал одеваться.

— Нет, нет, — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. — Наверное, ничего. Мне нездоровилось только немного. Но теперь прошло.

И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишина ее как будто сдерживаемого дыханья... ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыханья и понял все, что происходило в ее дорогой милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В семь часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним.

— Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется... Надо послать за Лизаветой Петровной»...

(«Я разбудила Льва Николаевича и послала его позвать Марью Ивановну».)

Про акушерку Марью Ивановну Абрамович читаем в автобиографии Софьи Андреевны: «Марья Ивановна принимала всех моих детей, кроме одного, к которому не поспела... Она была моей помощницей 25 лет, так как между первым моим сыном Сережей, родившимся в 1863 году, и последним, Ванечкой, родившимся в 1888 году, было 25 лет разницы. Маленькая, белокурая, с маленькими ловкими руками, Марья Ивановна была умная, внимательная и сердечная женщина. Как умильно ласково она обращалась тогда со мной, считая меня ребенком и как-то по-матерински любуясь мной».

В «Анне Карениной» коротко, но выразительно действует акушерка Лизавета Петровна с «маленьким белокурым лицом», «сияющим и озабоченным». В «Войне и мире» акушерка именуется Марьей Богдановной.

При родах в том и в другом романе появляется врач. В «Войне и мире» — немец-доктор, выписанный старым князем Болконским в имение из Москвы. В «Анне Карениной» доктора привозит Левин.

В Ясную Поляну к родам Софии Андреевны вызывают (привозят) доктора Сигизмунда Адамовича Шмигаро, главного врача Тульского оружейного завода.

Непостижимое

Марья Ивановна, — продолжает Софья Андреевна рассказ о первых родах, — «серьезно и озабоченно всю меня осмотрела и, выйдя в соседнюю комнату, торжественно объявила Льву Николаевичу: «Роды начались». Это было в 4 часа утра, 27-го <*июня 1863 года*> Июньские ночи были совсем светлые, солнце уже взошло, было жарко и весело в природе».

В «Войне и мире»:

« — Доложи князю, что роды начались, — сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного».

И следом:

«Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться... И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал».

«Страданья продолжались весь день, они были ужасны, — вспоминает Софья Андреевна. — Левочка все время был со мной, я видела, что ему очень жаль меня, он так был ласков, слезы блестели в его глазах, он обтирал платком и одеколоном мой лоб, я вся была в поту от жары и страданий, и волосы липли на моих висках; он целовал меня и мои руки, из которых я не выпускала его рук, то ломая их от невыносимых страданий, то целуя их, чтобы доказать ему свою нежность и отсутствие всяких упреков за эти страдания».

В романе «потерявший сознание времени» Левин стоит у изголовья жены. Временами его просят о чем-то, и он совершает какие-то механические действия — приносит, передвигает что-то, беседует с доктором в соседней со спальной комнате. Но:

«Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхание, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина... Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню... и встал на свое место у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь. Что — он не видел и не понимал и не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Лизаветы Петровны: лицо

Лизаветы Петровны было строго и бледно и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити с прилипшею к потному лицу прядью волос было обращено к нему и искало его взгляда. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу...

— Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! — быстро говорила она. — ...Ты не боишься? Скоро, скоро, Лизавета Петровна...

Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться. Но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя.

— Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди! — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик...»

Из «Моей жизни» Софьи Андреевны Толстой: «Зловещая тишина была в минуту рождения ребенка. Я видела ужас в лице Льва Николаевича и страшное суетливое волнение и возню с младенцем Марьи Ивановны. Она брызгала ему водою в лицо, шлепала рукою по его тельцу, переворачивала его, и наконец он стал пищать все громче и громче и закричал».

В «Анне Карениной»:

«И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа *<ровно столько продолжались и первые роды Софьи Андреевны>,* Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.

Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с той же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных».

В избе

Уезжая на войну и оставляя беременную жену на попечение отца, князь Андрей просит: когда настанет пора родить, послать в Москву за акушером. Старый князь, «как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына». В его время обходились повивальной бабкой. Покойная жена рожала дочь (княжну Марью), сопровождая

князя в походе: при ней и повитухи не оказалось — помогала случившаяся под рукой крестьянская баба-молдаванка. Князь Андрей, смущенный, оправдывается: «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет... Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». Старая няня повторяет, тревожась: «Бог помилует, никакие дохтура не нужны».

В старости Лев Николаевич набросает однажды страницу текста и отложит его. Сочинение останется неоконченным, но работа, похоже, затевалась всерьез. Доктор Душан Петрович Маковицкий — друг и домашний врач Толстого, он живет в Ясной Поляне и ведет своеобразную летопись, занося на бумагу все, что видит и слышит, — 8 сентября 1908 года помечает: «Лев Николаевич пишет что-то художественное. Просил Александру Львовну <*младшая дочь писателя*> позвать ему деревенскую бабку и священника, хочет расспросить о родах; меня утром расспрашивал про тяжелые роды».

Замысла Толстого не знаем. Но в том немногом, что успел доверить бумаге, открывается проникновенное понимание тягот крестьянской жизни и вместе мудрости жизни простого деревенского народа, в которой рождение и смерть — такая же естественная и значимая часть, как выращивание хлеба, восход и закат, смена времен года.

А за текстом — просматриваемая сквозь него — отвращавшая Толстого жизнь «высших сословий», не ведавшая ни этих тягот, ни этой мудрости. Появление на свет барских детей, даже собственных внуков, обеспеченное помощью дорогих докторов, акушерок, нянек, старый Толстой назовет в сердцах умножением числа дармоедов.

Этот лист, начерно заполненный Толстым, напечатан лишь в единственном полном 90-томном собрании сочинений писателя, где озаглавлен «Роженица» <*В настоящее время выпускается новое полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 100 томах*>.

Роженица

Это было 7 ноября 1897 года. В большом селе Рязанской губернии рожала уже немолодая женщина. Роды шли уже вторые сутки и были трудны, опасны. Вышла ручка, и дело не двигалось. Семья была из бедных. Муж, одинокий, работящий, но и выпивающий мужик, всё непомирающий дед на печи и четверо ребят: три девки и один малый, кроме того, кто шел ручкой. С вечера бабка Матвевна, проведшая весь день, ушла ночевать домой, и Марфа родильница была одна в избе. Старика увели к сватам, девки были на улице, муж Авдей пошел за бабкой и за попом.

«Аниска, а Аниска! О-о-х, смерть моя! О-о-х, Аниска, кур загони. Ономнясь... <*недавно, намедни*> О-ох...» Дальше она не могла говорить и даже перестала охать, а только нахмурилась, сморщилась, как будто выжидая чего-то. Аниска, быстроглазая 8-летняя девочка, разинув ротик, неподвижными глазами смотрела на мать, быстро шевеля только ступнями ног в рваных башмаках. «Помирает мамушка», думала она. И она не слушала ее о курах, а думала о том, что надо делать, когда помирает мать. Мать же, невольно глядя на быстро шевелящиеся ноги, подумала о том, как после ее смерти ее новые башмаки останутся для Аниски.

— Отец не приходил?

— Не.

— Ну, ступай да смотри. О-ох.

В завтрак пришла бабка Матвевна. Отец, высокий белокурый мужик с больными глазами и спокойным добрым лицом, не вошел в избу и тотчас же взялся за дрова. Он вчера привез из лесу хворост, но не успел сложить. Взялся за работу с споростью и безостановочностью привычного рабочего. Только изредка, работая, он, прислушиваясь к стонам в избе, поднимал белые брови над слезящимися глазами и значительно поворачивал голову.

«Помрет, что станем делать. — Ну и поп!» — приходило ему в голову, вспоминая, как поп вперед торговал. «Где у них Бог».

— Ты чего мерзнешь, дура. Марфутка! Беги к деду в избу, — крикнул он на 5-летнюю девчонку.

А в избе было тихо. Родильница мучалась хуже и хуже и временами ослабевала. Но Матвевна не унывала и обнадеживала. «Ничего, умница, ничего. Всё бывало. Всё Бог. Его святая воля». — И она, раздевшись, то осматривала больную, то оправляла ей подложенную подушку, то давала ей напиться...

Право каждого ребенка

Осенью 1888 года Толстой получает от американского врача и писательницы Алисы Стокгэм книгу «Токология. Книга для всех женщин». Слово «токология» образовано от греческого «токос» — рождение. Автор ставила своей целью сообщить всем женщинам подробные сведения о рождении ребенка, а также о супружеских отношениях; при этом она смотрит на дело не только с медицинской, но и с общественной и нравственной точек зрения. Она, в частности, требует от общества создать необходимые условия для нормального появления ребенка на свет, но при этом неодобрительно относится к супружеским отношениям без желания и возможности иметь детей.

Толстой находит книгу превосходной и заботится о том, чтобы она была переведена на русский язык. Сам же берется за небольшое предисловие к ней.

Он пишет, что «Токология, или наука о рождении детей» — так названо русское издание книги — самая важная наука после науки о том, как жить и как умирать. Поэтому чтение книги не просто приносит новые знания, но «оставляет следы, заставляя изменять жизнь, исправлять то, что в ней неправильно, или по крайней мере, думать об этом».

И объясняет основную задачу автора: «Важно родителям знать, как вести себя, чтобы без излишних страданий производить неиспорченных и здоровых детей, и еще важнее самим детям будущим рождаться в наилучших условиях, как и сказано в одном из эпиграфов этой книги: to be well born is the right of every child *<быть хорошо рожденным — право каждого ребенка>*».

Две тайны

В сентябре 1860 года на юге Франции умер от туберкулеза старший брат Толстого, Николай Николаевич, Николенька, человек замечательных, не выявленных в полной (да и не в полной) мере способностей, оцененных лишь теми, кто близко его знал. «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, — это был лучший мой друг», — пишет о нем Лев Николаевич. Два месяца не отходит он от брата, ухаживает за ним, «следит за его погасанием». Николенька умирает на его руках.

«Самое сильное впечатление моей жизни», — заносит Толстой в дневник: «Страшно оторвало меня от жизни это событие». Здесь не только сознание и скорбь потери. Еще и потрясение от впервые пережитого близкого и откровенного созерцания смерти. «Правду он *<Николенька>* говорил, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет».

Толстой ищет, откуда почерпнуть силу, где найти основание жить дальше. «Одно средство жить — работать. Чтобы работать, надо любить работу». Он усаживает себя за стол, пробует писать. Без охоты дело идет туго, медленно. И вдруг — месяца через два — будто чудо какое-то: тоска, мысли о смерти, сомнения в смысле жизни — всё сметается вулканическим выбросом подспудно накопившейся творческой энергии: «Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня. Не пишу от изобилия».

Полутора десятилетиями позже в «Анне Карениной» Толстой отзовется на пережитое — расскажет о смерти брата Левина, тоже Нико-

лая. Перед нами ощутимо во всякой подробности разворачиваются последние дни и часы умирающего, как они воспринимаются им самим и каждым из тех, кто его окружает. Все главы в романе помечены римскими цифрами, лишь одна-единственная глава о кончине Николая Левина — неслучайно, конечно, — имеет название: «Смерть». И также неслучайно, конечно, глава, носящая название «Смерть», заканчивается благой вестью: внезапное нездоровье Кити, вместе с мужем ухаживавшей за умиравшим, оказывается беременностью. «Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни», — говорится о Левине.

До этого в «Войне и мире» — та же мысль о двух тайнах, не высказанная в слове, но воплощенная в образах. Маленькая княгиня оплачивает жизнью рождение сына. Князь Андрей из-за двери слышит один за другим два крика — последний крик жены и первый крик ребенка. «Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба... Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича... Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка»...

Рождение Маши

Люди, хорошо знавшие Толстого, замечают сходство между ним и Левиным, героем «Анны Карениной» (в кругу близких писателя произносят «Лёвин» — от «Лёв Николаевич», как именуют его самого домашние, друзья). «Лёвочка, ты — Левин, но плюс талант», — шутит Софья Андреевна. Ей вторит Фет, уже серьезно: «Левин — это Лев Николаевич (не поэт)».

Но различие между тем, как спасается от мысли об «ужасном обмане» жизни перед лицом смерти Лев Николаевич и как это происходит с Левиным, не в одном поэтическом таланте первого. Различие еще и в том, что смерть Николая Толстого отделяют от смерти Николая Левина годы, на протяжении которых автор романа встретился не только с неразгаданной тайной смерти, но и со столь же неразгаданной тайной рождения, зовущей жить и любить жизнь. За эти годы Толстой становится семьянином — мужем и отцом. Когда «Анна Каренина», по слову писателя, «завязывается» в его воображении, у Толстых рождается пятый ребенок — дочь Мария, Маша.

Софья Андреевна будет вспоминать в «Моей жизни»:

«На другой день после родов у меня сделался сильнейший озноб и мне положили на ноги горячие бутылки. Плохо закупоренная одна бу-

тылка вся пролилась, и от сырости, пока сменили белье и постель, я еще больше озябла. Вскоре открылся сильнейший жар и сделалась родильная горячка, продолжавшаяся месяц... Горячка была сильная, только мой здоровый организм мог вынести такую болезнь. Она была тогда эпидемична, и многие роженицы умерли от нее.

Помню смутно присутствие тетенек, моего дяди Константина Александровича Ислявина и Дмитрия Алексеевича Дьякова *<друг Толстого>*. Все ждали моей смерти, и я в полусознании слышала, как дядя Костя, думая, что я без сознания и ничего не слышу, сказал: «Она наверное умрет».

Еще помню, как Дьяков взял мою руку и стал считать пульс. «Левочка, сорок четыре», — сказал он. Л.Н. вскочил и вскрикнул: «Не может быть!» Когда он сам счел, он взял вино, рейнвейн, налил в рюмочку и поднес мне. Я испытывала такое блаженное чувство тишины, слабости и отсутствия всяких физических или моральных ощущений, что просила мужа оставить меня в покое и не давать мне ничего. Я говорила: «Мне так хорошо! так тихо, хорошо!»

Но Л.Н. чуть не со слезами умолял меня выпить вино, и я повиновалась. После этого я просила послать за священником и позвать ко мне детей. Все четверо маленьких детей пришли ко мне с испуганными личиками... Я перекрестила и поцеловала всех детей, и так была слаба, что мне даже не было их жалко. Потом приехал священник...»

В «Анне Карениной» читаем описание тяжелой болезни Анны, тоже родившей девочку. Скорей всего, в романе переданы впечатления Толстого от послеродовой болезни жены. Хотя страницы романа, конечно, отличаются от картины, оставленной в воспоминаниях Софьи Андреевны.

Последнее оправдание

В одной из последующих глав романа нам доверено подслушать тайное признание Анны: после тяжелых родов она, по совету докторов, решает больше не иметь детей. Анна беседует с Дарьей Александровной, Долли, женой брата, терпеливо и покорно несущей тяготы многодетной семейной жизни. Признание Анны представляется Толстому столь ужасным, что он не решается передать его словами. «Мне доктор сказал после моей болезни...» — лишь произносит Анна, и затем Толстой ставит целую строку точек.

« — Не может быть! — широко открыв глаза, сказала Долли. Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать...

— Разве это не безнравственно? — только сказала она, помолчав».

В 1871 году (замысел «Анны Карениной» еще уясняется, уточняется) в семейной жизни Толстого, которая казалась счастливой и в самом деле приносила ему много радости, наступает тяжелый кризис. Не обычный «надрез» (так он именует размолвки и ссоры), пусть оставивший шрам в душе, в памяти, но заросший. То, что происходит в 1871-м, — а что происходит, во многом скрыто не только от нас, но даже от своих, — предвестье того разлада, который десять лет спустя из глубин семейных отношений, подчас не вполне сознаваемых, выплеснется наружу, навсегда непреодолимым рубежом рассечет их.

В дневнике 1871 года, Софья Андреевна коротко, со сдерживаемым отчаянием предугадывает будущее: «...Что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас... Что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье и жизнь, которая была... Левочка... совсем не тот, какой был. Он говорит: «старость», я говорю: «болезнь». Но это что-то нас стало разъединять».

Лев Николаевич упомянет в дневнике о событиях 1871 года много позже, в 1884-м, когда домашняя жизнь уже мучает его разладом, «отсутствием любимой и любящей жены»: «Началось с той поры, 14 лет *<назад>,* как лопнула струна, и я сознал свое одиночество».

Главная причина перелома, разъединения, «лопнувшей струны» — углубившиеся в эту пору поиски Толстым ответа на вопрос «зачем я живу?» и «как мне жить?». Эти поиски не давали ему покоя, отъединяли его от общего семейного быта, дружных семейных забот, привычных радостей.

Но, похоже, была еще причина кризиса 1871 года.

Не вызывает сомнений чистосердечность дневниковый записи Софьи Андреевны. Только в ней — недоговорка. Может быть, конечно, Софья Андреевна не подозревает вполне, что творится в душе мужа, хотя при их тогдашней близости и всегдашней откровенности трудно такое предположить.

Николай Николаевич Гусев, секретарь Толстого (в 1907–1909 годах), его друг, а впоследствии внимательнейший исследователь жизни и творчества, вспоминает беседу Льва Николаевича с другим близким человеком, последователем и прижизненным биографом Павлом Ивановичем Бирюковым. Отвечая на вопрос о том, что произошло в 1871 году, Толстой рассказал:

«У меня на душе лежало большое сомнение: поводом которого было расстройство семейных отношений. Жена после тяжелой болезни, под влиянием советов докторов, отказалась иметь детей. Это обстоятельство так тяжело на меня подействовало, так перевернуло все мое понятие о семейной жизни, что я долго не мог решить, в каком виде она должна была продолжаться...»

(В «Анне Карениной» признание Анны вдруг объяснило Долли «все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка... Узнав, что это возможно, она ужаснулась...»)

«Я ставил себе даже вопрос о разводе...» — признался Толстой. Но: «Семейные наши отношения потом сами собой наладились».

Софья Андреевна и после Маши будет рожать детей как прежде. Еще восемь раз. До очевидного духовного, а с ним и домашнего разлада, взаимного непонимания, поисков согласия еще десять лет.

Позже, в конце 1880-х, в «Крейцеровой сонате» Толстой поведает о браке, избегающем детей, без умолчаний, без «точек», открыто, во всю силу проповеди, с которой обратится в ту пору к людям. Свои мысли он передаст для оглашения герою повести — тот рассказывает, как семейная жизнь, устроенная по правилам господствующего, «образованного» класса, сама по себе шаг за шагом ведет к трагедии:

«Она была нездорова, и мерзавцы <*доктора*> не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни дети — было отнято, и жизнь стала еще гаже... Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды... Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно»...

В безнравственности семейных отношений отзывается общий нравственный разлад, царящий в мире. По мысли Толстого, забота о нравственном идеале семьи, которая в руках каждого из нас, — может быть, начало общего движения к идеалу. А семейные отношения мужчины и женщины обретают нравственный смысл лишь с появлением детей.

Счастье, которое меня ожидает

«Род человеческий развивается только в семье», — выводит Толстой в лучшие годы своей семейной жизни. Рано оставшись сиротой, он с юных лет мечтает о собственной семье, рисует в воображении сказочные, счастливые картины будущего.

С Кавказа 23-летний юнкер пишет «тетеньке» Татьяне Александровне Ергольской, возле которой прошли его сиротские детские, отроческие и юношеские годы:

> «...Я переношу и утомления, и лишения, о которых я упоминал (разумеется, не физические, их и не может быть для 23-летнего здорового малого), не чувствуя их, переношу как бы с радостью, думая о том счастье, которое меня ожидает! И вот как я его себе представляю. Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном — дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет попрежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа.
>
> Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе, вы — ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами... Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут «бабушкой»... Все в доме в том же порядке, который был при жизни папа, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли: вы берете роль бабушки... я — роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена — мама; наши дети — наши роли...
>
> Ежели бы меня сделали русским императором, ежели бы мне предложили Перу, словом, ежели бы явилась волшебница с заколдованной палочкой и спросила меня, чего я желаю, положа руку на сердце, по совести, я бы сказал: только одного, чтобы осуществилась эта моя мечта».

Молодой человек, по-своему мечтающий о счастье, которое его ожидает, не знает, что вся жизнь его вот-вот перевернется, что скоро ему предстоит проснуться знаменитым. В походном чемодане юнкера перемаранные черновики его первой повести — «Детство».

Глава 2
ЯЩИКИ ПАМЯТИ

Диалектика души

«Детство» начинается с пробуждения главного героя, десятилетнего Николеньки Иртеньева, — от его лица ведется повествование.

На первый взгляд, ничего особенного не происходит. Домашний учитель Карл Иваныч хлопает самодельной мухобойкой над головой спящего мальчика и будит его. Происшествие и правда ничтожное. Но это внешне, на первый взгляд. Недаром, еще только пробуя силы в литературе, Толстой чутко уясняет нечто самое для него важное: «Интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий»... *Подробности чувства* — вот что с первых шагов кладет он в основание своего творчества.

Неловкий хлопок мухобойки из плотной сахарной бумаги на палке возвращает мальчика от сна к бодрствованию — и это уже событие. В человеке пробуждается сложный, противоречивый мир чувств и мыслей, возникает, возобновляется сложная система отношений с этим миром в себе и *с* миром вокруг.

Мальчик сердится, что его разбудили, ему кажется, что его мучают нарочно, потому что он младший, маленький, ему противен Карл Иваныч с его ватным халатом, вязаной красной шапочкой на голой голове и кисточкой на шапочке. Но Карл Иваныч присаживается на постель к мальчику, ласкает и щекочет его, и Николеньке уже досадно, совестно, что он дурно думал о своем добром учителе, и халат, и шапочка, и кисточка теперь кажутся ему необыкновенно милыми. Он боится щекотки, хочет удержаться от смеха — и начинает плакать («нервы были расстроены»). Он плачет, не будучи в силах справиться со сложностью одновременно нахлынувших на него чувств, и на обеспокоенные вопросы Карла Иваныча отвечает неожиданной выдумкой: плачет, оттого что приснилось, будто maman умерла и ее несут хоронить. Теперь ему кажется, что он и в самом деле видел страшный сон, слезы пуще льются из его глаз.

Николенька успокаивается, но дядька приносит обувь — старшему брату сапоги, а ему, маленькому, несносные башмаки с бантиками, и это

снова нагоняет на него мрачность. Лишь смешные шутки брата и утреннее солнце, весело светящее в окна, помогают мальчику наконец обрести отличное расположение духа.

С первых строк первой повести мы встречаемся с необыкновенным умением Толстого проницательно наблюдать внутреннюю жизнь человека, открывать каждое душевное движение, подчас то тайное, сокровенное, что, кажется, невозможно передать в слове.

Первые воспоминания

Накануне пятидесятилетия, 5 мая 1878 года (помета в рукописи), — «на зените своей жизни» — Толстой впервые берется за воспоминания, озаглавленные им «Моя жизнь». Ему хотелось бы — объясняет он — просто выбрать и расположить одно за другим впечатления, оставившие наиболее «сильные отпечатки» в памяти.

Первая группа впечатлений озаглавлена: «С 1828 по 1833».

С 1828-го!.. Толстой помнит себя очень рано, может быть, полагает он, почти со дня рождения. Правда, из сильнейших «отпечатков» того, что происходило с ним в младенческом возрасте, в его памяти сохранилось всего два.

«Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».

Ученые полагают и каждый знает это по себе, что младенческий возраст забывается. Когда некоторые люди утверждают, что помнят себя с младенчества, их воспоминания вбирают, по-видимому, отзвуки позднейших событий, сопоставлений, рассказов окружающих.

Конечно, в записи Толстого отозвались и дарованная ему природой, а затем развитая в творчестве способность проницательного анализа подробностей чувства, и с детских лет замечаемая в себе непримиримость к насилию, и наблюдения над младенческим возрастом своих детей, и иное, о чем мы можем лишь предполагать. Но в основе первого воспоминания — это чувствуется во всем его строе — подлинное впечатление. Оно не выдумано, живет в глубинах памяти Толстого. Поставленная им задача, нравственная ответственность затеянного труда — как раз ничего не выдумывать, не сочинять.

«Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную страшенную <*сливаемую*> воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».

Толстой удивляется: почему только эти два «отпечатка» остались у него с младенческой поры. «Странно и страшно», что, задумываясь о годах от рождения и до трех-четырех лет, он, сколько не ищет в памяти, не может найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Ведь за это время в его жизни произошло так много важных событий: его кормили грудью и отняли от груди, он учился смотреть, слушать, понимать, начал ползать, ходить, говорить. Именно в эти первые годы он приобретал все то, чем живет теперь, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел и одной сотой того.

«Когда же я начался? Когда начал жить?»

Мысль Толстого, по обыкновению, развивается вширь, вглубь, вырывается далеко из пределов поставленной задачи.

«От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние».

Куда же девается память от этого долгого, отмеченного изобилием главнейших впечатлений жизни пути?..

Дневные сновидения

В «Моей жизни» Лев Николаевич рассказал лишь о первых своих впечатлениях — и оставил работу. Вторую часть успел только начать.

Примечательно, что эта часть, озаглавленная «1833–1834», должна была охватить лишь один-единственный год его детства. Здесь смешаны разные краски и оттенки: «Жизнь моя того года очевиднее, чем

настоящая жизнь, слагается из двух сторон: одна — привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей начала, жизни, и другая, новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая».

Первые воспоминания 1833–1834-го перекликаются с началом «Детства». Мальчик просыпается уже в комнате старших братьев, с ними учитель-немец Федор Иванович. Толстой не успевает вычленить какое-либо отдельное событие года. Вопреки поставленной задаче «просто», одно за другим, записывать впечатления его (иначе не был бы Львом Толстым) опять увлекает общая мысль. Он пытается установить связь между воспоминаниями и сновидениями.

«Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойник, вода, то, что я говорю и слышу, — все только перемена сновидения. Я хотел сказать, что сновидения ночи более разнообразны, чем сновидения дня, но это несправедливо. Все так ново для меня и такое изобилие предметов, подлежащих моему наблюдению, что то́, что я вижу, та сторона предмета, которую я вижу днем, так же необычно нова для меня и странна, как и те сновидения, которые представляются мне ночью. И основой для тех и других видений служит одно и то же. Как ничего нового — не того, что я воспринял днем, я не могу видеть во сне, так и ничего нового я не могу видеть днем. Только иначе перемешивая впечатления, я узнаю новое».

И там, и тут — по-своему переработанные впечатления, часто одни и те же. Не являются ли, таким образом, воспоминания своего рода дневными сновидениями?.. — задается вопросом Толстой.

Ящики памяти

В одном из писем молодой Лев Николаевич (ему двадцать девять) набрасывает шутливые рисунки устройства памяти. План сверху — «с птичьего полета».

Объясняет: внутри нашего черепа, слева и справа, друг против друга, расположены ряды ящиков. Справа ящики с хорошими впечатлениями и воспоминаниями, слева — с неприятными. Между ними — коридор. Позади ящиков, у висков, расположены пружины: с правой стороны, пружина хорошего расположения духа, слева — дурного.

В нормальном положении в коридор выдвигаются по нескольку ящиков с каждой стороны, оставляя проход в коридоре. Соответственно, и наше настроение нельзя обозначить только как хорошее или только как плохое. Впечатления и воспоминания сменяют одно другое, оказываются в различных сочетаниях.

«Когда же, посредством хорошей погоды, лести, пищеваренья и т.п., пожата правая пружина, то все ящики сразу выскакивают, и весь коридор занимается ящиками правой стороны». В этом случае настроение у человека однозначно хорошее. Но бывает и наоборот: дождь, дурной желудок, ясная правда вместо лести «пожимают» левую пружину — и весь коридор загораживается уже ящиками с дурными мыслями, впечатлениями, воспоминаниями.

Адресат письма — Александра Андреевна Толстая — родственница и близкий друг Льва Николаевича. Будучи старше его одиннадцатью годами, она прожила долгую жизнь (1817–1904), с юных лет оставаясь фрейлиной при дворе четырех (!) российских императоров. Многолетняя переписка Толстого с Александрой Андреевной бесценна для всякого, кто интересуется его жизнью, духовными исканиями.

В письме, излагая свою шутливую «теорию» памяти, Лев Николаевич рассказывает: ярким и холодным осенним вечером он возвращался домой верхом, минувший день выпал удачный, все дела хорошо сладились, он испытывал чувство радости оттого, «что Лев Николаевич жив и дышит, и чувство благодарности к кому-то, что он позволил дышать Льву Николаевичу». Пружина хорошего расположения «пожалась», все правые ящики, среди них и ящик воспоминаний об Александре Андреевне, выскочили в коридор. Потом остальные ящики начали понемногу убираться обратно, но ее ящик почему-то выскочил весь, повернулся, стал поперек коридора и загородил дорогу. И Лев Николаевич весьма долго, пока ехал, брал воспоминания из этого ящика и мысленно писал ей предлинное письмо. Но по возвращении домой надо было срочно рассудить подравшегося с женой мужика, решить вопрос о покупке леса и т.п. — и ящик Александры Андреевны понемногу опять вдвинулся на место... «Одним словом, в этот же день я начал писать вам письмо, но уж не писалось, и я так и бросил его».

Художественный аппетит

В «Анне Карениной» действует интересный персонаж — художник Михайлов. В главах, где мы встречаемся с ним, перед нами открывается важная сторона художественной работы — участие памяти в процессе творчества.

«Его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал», — говорит Толстой о своем Михайлове.

А учитель детей Толстого, близко наблюдавший писателя, свидетельствует: «Он обладал неутолимым художественным аппетитом. Он вечно инстинктивно высматривал пищу для творчества».

Художественная память Толстого работает постоянно и напряженно. Всякая случайная встреча, мимоходом подсмотренная сценка

могут одарить его чем-то, без чего, потом окажется, не обойтись. Он, конечно, большей частью и сам не успевает заметить, как схватывает эти впечатления, иногда, кажется, совсем незначительные, как укладывает каждое в какой-либо из ящиков памяти, вроде бы забывает о нем, пока вдруг, в нужный момент, оно не даст о себе знать, не будет извлечено наружу, сопряжено с другими впечатлениями и, переданное в слове, положено на бумагу.

Оказавшись по делам в Москве, он идет в оперу и после пишет жене в Ясную Поляну: «Мне было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, которые для меня все типы».

Любопытный эпизод находим в записках секретаря писателя Гусева: «Как-то я разговаривал со Львом Николаевичем об одном письме, но не мог сразу вспомнить фамилию писавшего. Чтобы вспомнить, я, как обычно делают люди в таких случаях, инстинктивно устремил глаза вниз, сосредоточился и стал напрягать свою память. Это продолжалось только несколько секунд — я вспомнил. Взглянув сейчас же на Льва Николаевича, я увидал, что он пристально смотрит на меня. Ему, как художнику и психологу, было интересно наблюдать, как процесс напряжения памяти отражался на моем лице».

Писатель Александр Иванович Куприн впервые встретит Толстого в Ялте, на пароходе: Льву Николаевичу уже за семьдесят, после года долгой, изнурительной болезни его везут из Крыма домой, в Ясную Поляну. «Он производил впечатление очень старого и больного человека, — вспоминает Куприн. — Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе...»

Читал себя

Всего пристальнее наблюдает он за самим собой.

Молодой, признается однажды в дневнике: «Сам себя интересую чрезвычайно».

Еще «Детство» не начато, еще вообще не решено, изберет ли он своим поприщем литературу, он делает первую попытку: намеревается «написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями». Так появляется набросок рассказа «История вчерашнего дня».

Событиям дня в рассказе отведено немного места. Главное в нем — внимательное наблюдение над поведением персонажей, прежде всего над своим собственным, попытка поймать, закрепить в слове всякую мысль, всякое чувство и их выражение в речи, движениях, мимике.

Рассказчику хотелось бы передать, что происходит с ним и в нем, пока он проводит вечер в гостях у друзей, мужа и жены, передать так, «чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам».

Вот он играет в карты, при этом смущаясь хозяйки, в которую слегка влюблен: «то мне кажется, что у меня руки очень нечисты, то сижу я нехорошо, то мучает меня прыщик на щеке именно с ее стороны».

Хозяйка предлагает играть дальше, мысли рассказчика заняты другим, он не успевает найти нужного ответа, и, почти против воли, произносит короткое: «Нет, не могу». Но: «Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться». И следом — самое интересное: «То есть не весь я, а одна какая-то частица меня. Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу».

Муж приглашает гостя остаться ужинать. «...Я не заметил, что тело мое, извинившись очень прилично, что не может остаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости».

И тут же — беседа, когда люди разговаривают об одном, а думают о другом, сообщают друг другу свои чувства и мысли, притом, что именно о них не произнесено ни слова. Более того: мысли и чувства, обозначенные словами, тотчас теряют что-то важное, какую-то полноту и цельность, которая присутствует в них, когда они не выговорены вслух. «Я люблю эти таинственные отношения, выражающиеся незаметной улыбкой и глазами, и которых объяснить нельзя. Не то, чтобы один другого понял, но каждый понимает, что другой понимает, что он его понимает и т.д.»

Будущий Лев Толстой ясно заявляет о себе в этой первой попытке.

Глава 3
ЗНАК И ПРИЗНАК

Диалектика тела

Писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский еще при жизни Толстого скажет, что во всемирной литературе ему нет равного в изображении человеческого тела посредством слова. Но пристальное, «простреливающее» внимание к человеческому телу нужно Толстому для того, чтобы в каждой примете наружности, в каждом движении увидеть характер человека, движения его души.

Умение выразить в слове постоянное взаимодействие внутреннего и внешнего — одно из художественных открытий Толстого, с первой напечатанной повести вознесшее его на вершину русской литературы...

«Толстой с неподражаемым искусством пользуется этою *обратною связью внешнего и внутреннего»,* — обозначит Мережковский <*курсив Мережковского*>. «Диалектика тела» часто сильнее произнесенных человеком слов передает диалектику его души.

Толстой открывает это уже в первых своих произведениях, повестях «Детство» и «Отрочество». Главный герой их, мальчик, подросток, от лица которого ведётся рассказ, отличается тонкой наблюдательностью и знает эту свою особенность.

Вот, войдя неожиданно в комнату, он успевает заметить: старший брат, который лежит на диване и читает книгу, на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на вошедшего, и тут же снова принялся за чтение. Движение самое простое и естественное, но заставляет героя покраснеть. Он угадывает во взгляде брата вопрос, зачем он вошел к нему, а в быстром «наклонении» головы и возвращении к чтению желание скрыть смысл взгляда. «Склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста», — говорит о себе рассказчик.

В «Детстве» он также оговаривается походя, что следил *за всеми движениями* мальчика, привезенного к ним в гости.

В тяжкую минуту встречи с безнадежно больной maman он замечает беспокойство отца *по всем телодвижениям*.

И, даже прощаясь с умирающей, — «я был в сильном горе в эту минуту, *но невольно замечал все мелочи*».

В отличие от героя «Детства» Николеньки Иртеньева, помнившего maman и осознанно пережившего горе утраты, Лев Николаевич не помнит матери: когда она умерла, ему не исполнилось двух лет. Странно, но не сохранилось ни одного ее портрета. «Как реальное физическое существо я не могу себе представить ее», — напишет Толстой в старости. И следом: «Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно...»

В «Детстве» — замечательная страница: вечером, после долгого дня, полного событий и впечатлений, мальчик задремывает в гостиной. В комнате никого, только он и maman. Мальчик почти не видит ее: когда он щурит отуманенные дремотой глаза, пытаясь взглянуть на нее, лицо maman становится вдруг совсем маленьким, не больше пуговки. Сладкий сон смыкает ему веки, он засыпает, уютно устроившись с ногами в кресле. Он чувствует лишь ее прикосновения. Нежная рука, которую он тотчас узнает, трогает его, и он крепко прижимает эту руку к губам. Чудесная рука проводит по его волосам, слегка щекочет пальцами его шею. Он чувствует, как maman садится рядом с ним, слышит ее запах и голос. Нервы мальчика возбуждены щекоткой, туманным пробуждением. Он обнимает шею матери, прижимает голову к ее груди. Она берет обеими руками его голову, целует в лоб, кладет к себе на колени: «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай». Она целует мальчика еще нежнее. «Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя!» — вскрикивает он, целуя ее колени...

Глава повести так и называется «Детство». Она открывается хорошо известным — «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» Воспоминания этой поры, — продолжает Толстой — «освежают, возвышают мою душу».

Самое прекрасное, самое возвышенное воспоминание детства — нежные прикосновения матери, ласкающей его на исходе дня. Каждое из этих прикосновений воспроизведено пронзительно точно, полнится чувством, более того — совершенно соответствует ему.

В глубокой старости Толстой набросает однажды на клочке бумаги: «...Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе...»

Три движения

В первой главе «Детства» Николенька придумывает, объясняя свои слезы, будто ему приснился страшный сон, что maman умерла. Саму maman видим в следующей главе, так и названной «Maman». Начало главы: мать, сидя у самовара, разливает чай. Одной рукой она придерживает чайник, другой — кран самовара. Вода течет уже через верх чайника на поднос, но maman, хотя пристально смотрит,

не замечает этого, как не замечает, что в комнату к утреннему чаю вошли дети. Она уже знает то, чего они не знают: ей предстоит долгая, непереносимая разлука с ними, — отец намерен нынче же везти их для продолжения учения в Москву. И кажется, она предчувствует то, чего никто не в силах знать: ей никогда не придется увидеть их снова. Толстой в «Детстве» еще не раз возвратится к портрету матери, но этот первый подсмотренный момент у самовара — как знак тональности в начале нотной строки.

Позже — любопытно переданный в движениях разговор за обедом. В дом пришел юродивый, и его тоже посадили обедать в столовой за особенным столиком. Отца это и сердит, и смешит: он не охотник до юродивых, странников, иных божьих людей, к которым расположена душой maman. Он пытается (и, похоже, не впервые) растолковать ей, что все «эти господа» попросту не желают работать, что полиция прекрасно делает, когда сажает их в тюрьму. При этом он держит в руке пирожок, который просила передать maman, то слегка протягивая ей, но так, что она не может до него дотянуться, то снова отодвигая руку, чтобы заставить maman выслушать его. Когда же пирожок, наконец, передан, он, прикрывая с одной стороны рот рукой, как бы желая сказать что-то не для всех, по секрету (этим жестом он обычно предупреждает, что хочет произнести что-то смешное), обращает неприятный разговор в шутку. В главе «Что за человек был мой отец?» будет сказано о «гибкости его правил»: «он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость».

У себя в кабинете отец беседует с приказчиком Яковом о неотложных денежных делах. Яков, преданный слуга, очень заботится о благополучии своего господина и имеет собственное понятие, как преуспеть в этом. Но, крепостной человек, он заговорит тогда лишь, когда ему будет дозволено. А пока почтительно слушает, заложив руки за спину и очень быстро, в разных направлениях шевеля пальцами.

«Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем воля ваша!» На приказания барина отзываются до поры не безразлично-покорное лицо приказчика, а его упрятанные за спину пальцы («по быстроте движений пальцами я понял, что он хотел возразить»). И, лишь почувствовав, что настало время и дано разрешение высказать несомненное для него собственное понятие, «Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы

его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить...»

Выражение сущности

Герои Толстого, как живые, стоят у нас перед глазами. Мы словно не раз встречались с ними в жизни, хорошо знаем их внешность, манеры, привычки, черты характера, особенности поведения. Но, внимательно вчитываясь в текст, заметим, что созданные Толстым портреты написаны очень скупыми средствами. Вместо обширных описаний — лишь несколько подробностей, которых довольно, чтобы полно и выразительно передать отражение «диалектики души» в «диалектике тела». Иногда Толстой как бы навязывает нашей памяти найденную подробность, напоминая о ней, вместо того, чтобы прибавить какую-нибудь новую, но — странное дело! — именно эта найденная подробность воссоздает в нашем воображении образ человека во всем его внешнем (и, соответственно, внутреннем) разнообразии. Она — будто волшебное оптическое стеклышко, сквозь которое открывается целое.

В самом начале «Войны и мира», знакомя читателя с маленькой княгиней, Толстой предлагает характерную черточку ее внешности — хорошенькую, с чуть черневшимися усиками короткую верхнюю губку. Об этой губке писатель напомнит едва не всякий раз, когда на страницах романа появится маленькая княгиня. И в последнем ее портрете — она, уже мертвая, после родов лежит на постели — «прелестное детское робкое личико, с губкой, покрытой черными волосиками».

Толщина и красные руки Пьера Безухова, мраморные плечи Элен, маленькие белые руки Наполеона, лучистые глаза княжны Марьи... Толстой, — читаем у Мережковского, — при описании наружности действующих лиц никогда не страдает столь обычными даже у сильных и опытных мастеров, длиннотами, нагромождениями различных сложных телесных признаков: он точен, прост и краток, выбирая маленькие, личные, особенные черты внешности героев и вплетая их в движение событий, в живую ткань действия.

Не верится, но в книге ни разу не назван цвет глаз княжны Марьи (не узнаем мы — опять не верится! — и про цвет глаз князя Андрея, Пьера, Николая Ростова). Глаза у княжны Марьи «большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них)», у нее тяжелая походка («тяжелые ступни»), в минуты волнения ее лицо покрывается красными пятнами, — вот, пожалуй, и все, что мы узнаем о внешности девушки, которую помним, как реально виденную, наделенную явственными чертами.

Мокрая смородина

Подсчитано: работая над первым портретом Катюши Масловой, героини «Воскресения», Толстой двадцать раз изменял и переделывал небольшой, в несколько строк, отрывок. В итоге от семидесяти намечавшихся в разных вариантах текста, дополнявших и опровергавших одна другую характерных черт ее лица в конце концов осталось только три: очень черные, блестящие, несколько подпухшие, но очень оживленные глаза, колечки вьющихся черных волос и лицо той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале.

Случается, он трудно и долго ищет нужную деталь, точный образ — единственное слово, в котором выскажется все, что он хочет сказать. Долго не давался ему цвет глаз Катюши. Однажды, после многих проб и раздумий, он вышел из кабинета в столовую и радостно сказал находившимся в комнате домашним и гостям: «Нашел! — Как мокрая смородина!»

И в самом деле, сколько передалось в этой неожиданной находке. Катюша, еще юная, чистая девушка и такой же юный, чистый юноша Дмитрий Нехлюдов играют в горелки, вовсе и не предполагая, что между ними «могут быть какие-нибудь особенные отношения»: «Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками». В слове и цвет, и юность, и чистота, и разгоряченность игрой и даже роса, упавшая на вечерний луг.

В «Анне Карениной», в главе о художнике Михайлове мы узнаем об исключительно важной особенности его работы. Делая поправки, «он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна».

Когда Михайлов работает над портретом Анны, «портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. “Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение”, — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его».

Первое, что замечает Вронский, увидев Анну — ее блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц глаза. Заметив его взгляд, она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли... Когда все уже решено, когда Анна поняла, что любит Вронского и пути назад для нее уже нет, она неподвижно лежит без сна на супружеском ложе, «с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела».

Бунин в своей книге о Чехове рассказывает: когда больной Толстой находился в Крыму, Чехов собрался навестить его.

«Волновался сильно: ...и хотя все время шутил, но все же с трудом подавлял свое волнение.

— Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь, — говорил он смеясь и как бы радуясь этой боязни».

Знак и признак

В молодости Толстой задумывается: не соответствуют ли черты наружности определенным свойствам натуры. Но, работая уже над первой своей повестью, он отказывается от мысли о «постоянном признаке». Даже наоборот. Одна и та же особенность внешности оказывается подробностью портрета очень разных, непохожих людей. Дело не в признаке как таковом, а в том, как он по-своему выявляет характер человека, которому принадлежит.

В «Детстве», например, большой орлиный нос появляется на лице отца Николеньки и учителя Карла Иваныча, маленькими быстрыми шажками ходят отец и юродивый Гриша. В «Войне и мире» маленькие белые руки — у Наполеона и не слишком удачливого российского реформатора Сперанского, благороднейшего князя Андрея и бесчестного поручика Телянина, укравшего кошелек у товарища-офицера.

И всякий раз мы ощущаем это как художественную необходимость. Всякий раз чувствуем и сознаем, что Толстой не произвольно выбирает для своих персонажей ту или иную внешнюю подробность, что к этому его побуждает обнаруженная им глубинная связь между внешним признаком и внутренней сущностью человека, которому он дает жизнь в своем произведении.

Однажды, приглядываясь к рукам знакомой дамы, гостьи Ясной Поляны, Лев Николаевич пришел в ужас от ногтя на ее большом пальце. Этот ноготь открыл ему нечто, вызвавшее в нем отвращение. Трудно предположить, что он по ногтю угадал характер дамы, тем более, что этой внешней подробности было ему достаточно, чтобы обозначить свое отношение к ней. Скорее, он прежде открыл в ней нечто, что было для него неприемлемо, составил свое представление о гостье, — и теперь злополучный ноготь, благодаря каким-то связям, которых нам не восстановить, которые, может быть, и для самого Толстого остались не вполне ясны, оказался бьющей в глаза внешней черточкой, энергично передающей это неприемлемое, отталкивающее в ее личности.

Нехлюдов в «Воскресении» в тот главный день жизни, когда душа в нем начинает пробуждаться, воскресать, особенно остро ощущает и прежде им замечаемые недостатки внешности его невесты Мисси Кор-

чагиной: морщинки на лице, остроту локтей и, главное, «широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца». Внешние черты отца Мисси, князя Корчагина — его красное лицо, с чувственными, смакующими губами, жирная шея и вся упитанная генеральская фигура также особенно неприятно поразили в этот день Нехлюдова — мы уже знаем, что, будучи начальником края, он отличался жестокостью, сек и вешал людей.

И, хотя позже Нехлюдов скажет, что не верит в наследственность, хотя Мисси по-прежнему «породиста и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а «порядочностью», что высоко ценил Нехлюдов», мы, встречаясь с ней на страницах романа, уже не в силах забыть этот как бы походя упомянутый широкий отцовский ноготь.

Характеристическая черта

«Я люблю наблюдать руки», — признается Толстой.

Левин в «Анне Карениной» думает о Кити: «Удивительно много выражения в ее руке».

Руки человека, как и лицо, всегда обнажены, их удобно наблюдать. Но, помимо того, в руках, в движениях рук, как в глазах, во взгляде, почти всегда открывается, подчас выдает себя важная внутренняя сущность — побуждения, страсти, пристрастия и привычки, разнородные следы проживаемой жизни.

Толстой называет руки «характеристической чертой» личности.

Это сказано на одной из страниц «Юности», в главе «Нехлюдовы». Здесь даны портреты домашних Дмитрия Нехлюдова, с которым близко подружился главный герой повести Николенька Иртеньев. Руки на портретах в самом деле подсказывают что-то значимое в характеристиках всех, кто проходит перед нами в этих семейных сценах. Большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами, без колец, рука матери. Такие же большие, как у матери, и белые руки самого Нехлюдова. Чрезвычайно нежная и красивая рука сестры Дмитрия. Коротенькие толстые ручки их тетки, сестры матери. И при этом, как бы связывая всех их воедино, — «родовой» признак: «У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладони с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки». Лишь у очень дальней родственницы, почти приживалки, в которую влюблен Дмитрий и в которой желает видеть то, чего в ней нет, «родовой признак» отсутствует: руки у нее, хотя и небольшие и недурной формы, но красны и шершавы.

Иногда руки совершенно точно сопрягаются с внешним и внутренним образом персонажа, с тем, во всяком случае, каким он представляется автору или герою, которому он поручает вести рассказ.

Там же, в «Юности», на вступительных экзаменах в университете встречаем гимназиста, который все предметы сдает лучше остальных. В его быстро и точно набросанном портрете главное внимание отдано рукам: «Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть у первого гимназиста».

Но бывает и наоборот: именно руки помогают неожиданно увидеть, понять в человеке нечто такое, что не подозреваем в нем.

С первых страниц «Войны и мира» читателя по-своему привлекает храбрый офицер и знаменитый кутила Долохов, с его лихим бесстрашием в бою и разгуле, дерзкой независимостью, неколебимым чувством собственного достоинства. На страницах романа несколько раз возникают выразительные портреты Долохова, но руки до поры «припрятаны».

Они появляются лишь в сцене картежной игры: Долохов жестоко, беспощадно, похоже, не вполне честно, обыгрывает своего доброго приятеля Николая Ростова. Долохов мстит: он сделал предложение Соне, кузине Ростова, но получил отказ, и причина отказа — любовь Сони к Николаю. Своей железной волей Долохов подавляет партнера, заставляет играть все дальше, тогда как руки его мечут карты, побивая одну ставку за другой. И во все время этой страшной игры одно мучительное впечатление не оставляет Николая Ростова — ширококостые, красноватые, с короткими пальцами и волосами, видневшимися из-под рубашки, руки Долохова, — Толстой несколько раз подряд определяет их одними и теми же словами.

Руки Долохова, лишь в этой сцене показавшиеся из-под засученных рукавов, больше уже не встретим, но, удержались они в памяти или нет, отныне мы лучше, точнее понимаем все, что происходит с Долоховым, поступки и слова его. Вплоть до решения: «Брать не будем!», когда в конце войны казаки приводят большую группу сдавшихся в плен французов. Он снова мстит, на этот раз за гибель полюбившегося ему мальчика Пети Ростова, младшего брата Николая. С этим «Брать не будем!» Долохов уходит из романа.

Тепло большой руки

«У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творче-

ской силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи, — пишет Горький о руках Толстого. — Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово».

Толстому нравятся большие руки. У самого Толстого руки — большие, развитые постоянным физическим трудом.

Илья Ефимович Репин рассказывает, как рисовал его, идущего за сохой, — Лев Николаевич пахал в тот день поле бедной яснополянской вдовы. Сделав несколько набросков, художник, человек физически сильный и ловкий, попробовал тоже поработать сохой: «Страшно трудно! — Пальцы с непривычки держать эти толстые оглобли одеревенели и не могли долее выносить, плечи от постоянного поднимания сохи для урегулирования борозды страшно устали, и в локтях, закрепленных в одной точке сгиба, при постоянном усилии этого рычага делалась нестерпимая боль. Мочи не было». А Толстой пахал шесть часов без отдыха — от часу дня и дотемна.

Кроме известных воспоминаний Репина о Толстом, сохранился еще и план отдельной статьи — написать ее Репин почему-то не успел. В ней очень интересны меткие наблюдения, подробности, схваченные острым взглядом художника.

Мы еще заглянем в словесные репинские наброски, пока — только о руках: «Рабочие руки большие, несмотря на длинные пальцы, были «моторными» с необыкновенно развитыми суставами — признак мужицкий: у аристократов в суставах руки пальцы тоньше фаланг».

Впечатление художника дополняют впечатления врача. Выразительные строки находим в воспоминаниях профессора-хирурга Андрея Гавриловича Русанова, — сын близкого приятеля Толстого, он и сам не раз встречался с ним, пользовался его дружеским расположением:

«Какая это мощная, большая рука! Широкий овал предплечья, крепкие пальцы с коротко обрезанными закругленными ногтями и мозолистой кожей на ладони. Простая крестьянская рука».

Но Максим Горький, наблюдая Толстого во время игры в карты, замечает, какими нервными, чуткими могут стать эти грубые на вид руки.

Рука мощная, крепкая, мозолистая — и вместе мягкая, теплая. Эту мягкость и теплоту толстовской руки сохранили в памяти многие, кому посчастливилось испытать ее пожатие.

Пожатие тоже особенное — удерживающее. Он «подходит ко мне, — вспоминает первую встречу точный в подробностях Иван Алексеевич Бунин, — протягивает, вернее ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной...»

Герои входят в книгу

Походка для Толстого — всегда возможность открыть характер человека, положение, в котором тот находится.

Припомним первые страницы «Войны и мира» — званый вечер у фрейлины Анны Павловны Шерер. Один за другим появляются гости. Жена князя Андрея, маленькая княгиня, как именуется в романе, беременна, и Толстой помечает это: она ходит, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками. Совсем иначе движется знаменитая светская красавица Элен Курагина: «Слегка шумя своею белою бальною робою... и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами... не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала...» Тут же находится ее брат, Ипполит, о котором узнаем, что он бессмысленно глуп, но при том самодоволен: у него худощавое и слабое тело, а руки и ноги всегда принимают «неестественное положение». При разъезде, мы видим его одетым в длинный, до пят, редингот, в котором он путается ногами.

Князь Андрей вступает в гостиную тихим мерным шагом, который вполне соответствует его усталому, скучающему взгляду. Но и то, и другое — маска, желание отстраниться от внутренне далеких ему людей и их неинтересных разговоров. Совсем иным предстанет он позже, в военную пору, — дельный, мужественный адъютант Кутузова: «В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени...»

Быстрая, «веселая» походка старого князя Болконского передает его энергичную, нетерпеливую, исполненную душевной страстности натуру и сопрягается с иными чертами его внешности, обозначенными Толстым: быстрыми глазами, быстрой речью.

Наташа Ростова с ее душевной стремительностью в первых главах «Войны и мира» даже не ходит — бежит. Вот и ее первое появление, с которого начинается наше знакомство с ней: раздается грохот зацепленного и поваленного стула, и черноглазая, с большим ртом, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, она вбегает в комнату — в книгу.

Глава 4
ЛУЧШЕ КРАСОТЫ

Весь — движение

«Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня...»

Это Бунин о том, как в молодости он, начинающий поэт и прозаик, впервые пришел к Толстому.

Быстрый — почти непременное определение, которое находим едва не у всех, кто пишет о Толстом: быстрый шаг.

Походка его при этом — весьма своеобразна: он легко идет, широко расставив в разные стороны носки и наступая сначала на пятку.

«Ходил он быстро и легко. Короткое пальто оставляло на виду его ноги, сильные, упругие и неутомимые», — одно из записанных впечатлений о встрече с ним.

Репин — он моложе Толстого на шестнадцать лет — признается, что еле поспевал за ним на прогулках. Точь-в-точь то же — «еле поспевал за ним» — в воспоминаниях навестившего Ясную Поляну японского поэта Токутоми Рока: он младше Льва Николаевича на сорок лет!

«Что за неутомимый ходок Лев Николаевич! — заносит в дневник Александр Владимирович Жиркевич, военный юрист и литератор, ценимый Толстым как собеседник. Они только что пришли с прогулки, которая длилась почти без отдыха пять часов. — Мы все чуть не падаем от изнеможения, а он идет вперед легкой, ровной походкой, шутя преодолевает овраги и косогоры... Во время прогулки Толстой несколько раз брал детей за руки и бежал с ними по лесу, по полю. Когда мы проходили вдоль лесной просеки, тянувшейся версты три, поперек нее лежало несколько больших упавших деревьев. Толстой вздумал сам через них перескакивать и увлек в эту забаву и других. Глядя на скачущего Льва Николаевича, я удивлялся, сколько в нем еще сил, энергии, живости, бодрости тела и духа».

Осень 1892-го — Толстому шестьдесят четыре.

Иван Алексеевич Бунин, вспоминая о Толстом (они встречались во второй половине 1890-х), обозначает его походку глаголом «бежать»: «Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он пры-

гал через канавы, так что я едва поспевал за ним». И несколько лет спустя — на Арбате: «неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне».

О своей прогулке с Толстым (Лев Николаевич идет «здоровою, свежею, молодцеватою походкою») рассказывает в письме тотчас по возвращении из Ясной Поляны литературный критик Аким Львович Волынский: «Мы шли садом, перелезли через забор, перепрыгивали через рвы, причем Толстой в этих случаях всегда оказывался первым...».

И дальше:

«На обратном пути было холодно, и Толстой вдруг пустился быстрой рысью бежать по склону насыпи. Все побежали за ним, но Толстой бежал неутомимым, ровным, военным бегом, не нагибая головы, как очарованный гений Ясной Поляны».

Лето 1897-го — Льву Николаевичу без года семьдесят.

Это ощущение энергичной скорости, пробуждаемое Толстым в окружающих, может быть, наиболее точно понял зоркий умом писатель и философ Василий Васильевич Розанов. Он побывал в Ясной позже многих других, в 1907-м, — незадолго до толстовского восьмидесятилетия. Первое впечатление: «ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок». Но вот заговорил — мысли, точные, исполненные чувства слова ринулись потоком навстречу собеседнику:

«Я видел перед собою горящего человека с внутренним шумом, ... бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думавшего». Впечатление энергии, скорости, от Толстого исходящее, воспроизводит его подвижный, стремительный, насыщенный внутренний мир: «Палкой, на которую он опирался, выходя из спаленки, он все время вертел, как франт, кругообразно, от утопленности, от волнения, от преданности темам разговора. Арабский бегун бежал в пустыне...»

Точный рисовальщик Пастернак передает движение Толстого, от картины к картине, по залам художественной выставки: «В блузе, заложив ладони за ремень кушака, своей особой походкой, точно скользя и едва поднимая над полом ноги, Толстой словно несся, приподняв голову и слегка поддаваясь вперед верхней частью туловища. Быстро, бодро и легко шел он, выражая собой одно устремление вперед».

И снова из письма Акима Волынского:

«Вдруг на крыльце появился Толстой... Меня поразили его сильные, быстрые движения. Одну секунду мне показалось, что он весь — движение: непередаваемое ощущение могучей и страстной жизненности, которая боится застоя, покоя и смерти...»

Я редко бывал так здоров

Трижды, в 1886-м, 1888-м и 1889-м годах, Толстой, выбрав себе нескольких попутчиков, отправляется пешком из Москвы в Ясную Поляну — около двухсот верст.

Конечно, это не только своего рода «физическое упражнение», хотя стремление двигаться, давать себе физическую нагрузку никогда не оставляет его. Тут еще и духовная потребность пройти самому по той жизни — сквозь ту жизнь, — которую он воспроизводит в своих творениях, глубже понять ее, набраться новых впечатлений.

Он не впервые пускается в дальний пеший путь: несколькими годами раньше, летом 1881-го, он, подобно сотням простых богомольцев, идет пешком в Оптину Пустынь.

«Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живет мир Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света», — пишет он о своем паломничестве.

В 1886-м Льву Николаевичу под шестьдесят, домашние, понятно, беспокоятся, не окажется ли ему во вред предпринятое путешествие. Но он без большого напряжения справляется с задачей. Главное же, общение с живой жизнью народа, погружение в нее одаривает его бесценным запасом мыслей и чувств, ощущений и наблюдений.

9 апреля, уже из Ясной (пришли на шестой день) пишет жене: «Осталось, как я и ожидал, одно из лучших воспоминаний в жизни. Здоровье сначала и до конца было лучше, чем в Москве, и превосходно. Трудностей никаких нет. Это точно как человек, который на суше бы вообразил, что он на острове, а кругом море. Так мы, сидя в городах, в наших условиях. А только пойдешь по этому морю — то это суша и прекрасная... Питались чаем, хлебом — и два раза щами и чувствовали себя бодрыми и здоровыми. Ночевали по 12 человек в избе и спали прекрасно».

По прибытии пешком в Ясную Поляну весной 1888 года он серьезно и энергично подводит итог путешествия: «Уставать и даже очень сильно на воздухе весной, в путешествии или на пахоте есть положительное благо во всех отношениях, а обратное, т.е. отсутствие усталости труда, есть зло».

Гимнастика весело

В молодости и в зрелые годы Толстой поднимал одной рукой пять пудов — 80 килограммов. В армии, в артиллерийской бригаде, где слу-

жил, он оставил по себе память как силач: лежа на земле, он «выжимал», распрямляя руки, вставшего ему на ладони крепкого сложения мужчину, кого-нибудь из сослуживцев.

Сын писателя, Илья Львович, вспоминает, что, отдыхая в Самарских степях, Лев Николаевич любил участвовать в башкирской борьбе. Два человека садятся на землю друг против друга, упираются один ступнями в ступни другого, оба берутся за палку, и каждый тянет ее на себя, стараясь поставить противника на ноги. Отец, рассказывает Илья Львович, всех поднимал, «только русского старшину, в котором было около восьми пудов веса *<130 кг>*, он перетянуть не мог».

Однажды, когда ему уже исполнилось восемьдесят, собравшиеся в Ясной Поляне затевают известное состязание: опершись локтем о стол и взявшись рука об руку, нужно пригнуть руку противника к столу. Лев Николаевич одолевает всех участников.

Толстой с юных лет любит гимнастику и увлеченно занимается ею. Дневники его молодости полнятся пометами о посещении гимнастических заведений. Отношение к занятиям по-толстовски вдумчивое — обозначается душевное состояние при выполнении упражнений, удовлетворение или недовольство собой: «Гимнастику делал неосновательно», «торопливо». Или: «В гимнастике тщеславие». И наоборот: «Пошел на гимнастику, очень был в духе», «гимнастика весело».

Приятель Толстого, поэт Афанасий Афанасьевич Фет свидетельствует: «Надо было видеть, с каким одушевлением оц, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня».

Один из мемуаристов — он был ребенком, когда Лев Николаевич, еще молодой, посещал их семейство, — именует его «профессором гимнастических упражнений»: «Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами...»

Позже, когда пойдут свои дети, он будет так же горячо и настойчиво следить за их развитием.

«Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: «Бежим наперегонки». И все мы бежим за ним», — читаем в воспоминаниях старшего сына Толстых, Сергея Львовича.

И то же у второго сына, Ильи: «Он обращал особенное внимание на наше физическое развитие, на гимнастику и на всякие упражнения, развивающие смелость и самодеятельность... Мы все, по очереди, должны были проделывать всякие трудные упражнения на параллелях, трапеции и кольцах... Когда собирались идти гулять или ехать верхом, папа

никогда не ожидал тех, которые почему-либо опаздывали, а когда я отставал и плакал, он передразнивал меня: “меня не подождали”, а я ревел еще больше, злился и все-таки догонял. Слово *неженка* было у нас насмешкой, и не было ничего обиднее, чем когда папа называл когонибудь из нас *неженкой»*.

Гимнастику он не оставляет до последнего года жизни. У него две пары гантелей — тяжелые и легкие. В семьдесят, покупает новые, чем-то его привлекшие гири. Николай Николаевич Гусев, его секретарь, рассказывает: семидесятилетний Лев Николаевич пощупал как-то его руку выше локтя, сказал: «Плохие мускулы!» Он произнес это с состраданием, упреком и молчаливым наставлением не пренебрегать развитием телесной силы.

За две недели до смерти (пять дней до ухода из Ясной Поляны) затевает придуманную им особенную гимнастику (заносит в дневник: «Совестно даже в дневнике признаться в своей глупости... Помолодеть, дурак, хочет»); выполняя, какое-то напряженное упражнение, опрокидывает на себя шкаф («то-то дурак 82-летний»).

Шестидесяти семи лет он приобретает велосипед и, хоть ему и совестно подчас, что предается «барской затее», с удовольствием на нем ездит: «очень люблю это движение».

Смолоду Толстой хорошо катается на коньках. Неслучайно, в самом начале «Анны Карениной» он отправляет приехавшего в Москву Левина на каток, где его почитают «первым русским конькобежцем»; служитель, помогая ему надеть коньки, успевает сказать, что после него «никого из господ мастеров нету». Толстой не оставляет коньки до глубокой старости — на восьмом десятке, разметав снег на залитом льдом дворе, еще разучивает неизвестные ему прежде фигуры.

В старости он плавает как двадцатилетний. Две версты от дома до купальни на реке Воронке проходит быстрым шагом; тотчас сбросив свою немудреную одежду, не остывая («все это предрассудки»), с текущими по телу обильными струями пота, одним прыжком бросается в холодную воду. Искупавшись, никогда не вытирается: капельки воды содержат кислород, объясняет он, и тело вбирает его порами...

Лесной царь

Крамской (а уж он-то, знаменитый портретист, перевидал на своем веку немало внешне и внутренне примечательных людей) говорил, что Толстой верхом на коне — самая красивая фигура мужчины, какую ему приходилось видеть в жизни.

Наездник Толстой отменный. Всю жизнь много ездит верхом. Его не страшит ни время года, ни сложность дороги.

Репин несколько раз сопутствует ему в прогулках верхом. Отъехав от дома, Толстой (ему — семьдесят девять!) круто — без всякой дороги — поворачивает к лесу и спускается в темный овраг:

«Я едва поспевал за ним, ветки мешали видеть, лошадь увязала в сырой почве, под травой оврага; надо было отстранять ветки от глаз и отваливаться назад при крутом спуске вниз... А впереди мой герой... с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса лавирует между ветками, то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой».

Потом они мчатся стремглав по лесной дороге:

«Мой лесной царь... все быстрее наддает, я за ним. А впереди, вижу, молодая береза перегнулась аркой через дорогу, в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановить... У меня даже все внутри захолонуло... Ведь перекладина ему по грудь. Лошадь летит... Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел под арку. Слава Богу, не задел. Я за ним — даже по спине слегка ерзанула березка... Не скоро я привык к этим заставам. В молодом лесу на нашей дороге их было более двадцати...

С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысью пустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился; съезжаю — но тише — и намереваюсь искать местечка переехать ручей вброд.

— А что, запнулись? — оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич. — Вы лучше перескочите разом...

У крыльца Лев Николаевич совсем молодцом соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на десять лет помолодел от этой прогулки верхом».

Покос

Тот, кто хоть раз прочитал «Анну Каренину», никогда не забудет описания чудесного жаркого летнего дня, когда Левин вместе с крестьянами косит луг. Первое побуждение взяться за работу у него, что называется, «от головы»: тяжелый труд успокаивает его, отвлекает от дурных мыслей.

« — Нужно физическое движенье, а то мой характер решительно портится, — подумал он и решился косить».

Но подсказки рассудка с каждой минутой косьбы, с каждым пройденным рядом все охотнее уступают место радости самого труда.

«Левин взял косу и стал примериваться... Тит <*один из мужиков*> освободил место, и Левин пошел за ним... Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на

него взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно... Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решил просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить...

Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину; но зато, когда ряд был дойден... несмотря на то, что пот градом катил по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, — ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит...

В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита...

Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты».

Такое невозможно написать, не изведав самому и этого маханья косой из последних сил, и пришедших ему на смену блаженных минут «правильной работы».

«Шестой день кошу траву с мужиками по целым дням и не могу вам описать — не удовольствие, но счастье, которое я при этом испытываю», — докладывает Толстой приятелю.

Коса, как важнейший рабочий инструмент, если угодно, как важнейший инструмент жизни, стоит в яснополянском кабинете «под сводами» рядом с письменным столом.

За тысячу верст от искусственного

«Какая это славная вещь — крестьянская работа! — убежденно говорит Лев Николаевич. — Ни один мускул не остается без упражнения! Иное дело — пахать, иное — косить, молотить, подавать. Везде упражняются разные мускулы».

Но физический труд для него — не просто телесный отдых, не развлечение после долгого неподвижного сидения за письменным столом, не забота о здоровье. Физический труд — душевная и духовная потребность, без удовлетворения которой он не в силах жить и без которой мы не в силах представить себе жизнь Льва Толстого.

«Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тера-туре и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю», — пишет Фету. Пишет — «возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела».

Потребность физического труда, убежденность в его необходимости делает такой труд непременным дополнением, а иногда и равноценной заменой труда творческого.

Как-то знакомый мужик, принимаясь вместе с ним за уборку копен, роняет по-своему, по-крестьянски, несколько свысока: «Для развлечения времени — можно». И, видимо, не доверяя способностям графа, предупреждает: «Это будет очень затруднительно». Копна достается в самом деле «затруднительная» — «тяжела возка и уборка», признается Толстой. «Я не переставая работал и очень устал. Не мог спать — руки ныли, но очень хорошо и телесно, и душевно». Не для развлечения!

Илья Львович замечает: со временем в отношении отца к физическому труду появляется «религиозная обязанность».

Вместе с дочерью Марией Львовной, Машей, верной его последовательницей, он строит избу для яснополянской вдовы Анисьи Копыловой, той самой, чье поле пахал шесть часов без отдыха. Сам копает землю, привозит солому, воду, сам месит глину, кладет стены. Для устройства потолка, притолоки, дверей и окон, правда, зовет плотника. Но печную работу опять же выполняет сам; особенно много времени и сил отнимает выделка сводов. Вдвоем с Машей изготовляют и соломенные щиты для крыши.

И здорово и весело

С 1881 года Толстой проводит зиму в Москве: сыновьям пора посещать гимназию, университет, старшую дочь нужно «вывозить в свет».

Он тяжело переживает разлуку с Ясной Поляной, с деревней. В городе, вдали от природы, среди ужасающей его, непривычной городской нищеты, когда со всех сторон с особенной резкостью бросаются в глаза противоречия, вся бессмысленность, все социальное зло так называемой «цивилизации», его, как никогда прежде, подавляет, мучает «торжествующее самоуверенное безумие окружающей жизни».

5 октября 1881-го заносит в дневник: «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву... Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют».

Чтобы вернуть необходимое расположение духа, он после письменной работы в самой простой одежде отправляется на Воробьевы го-

ры, где рабочие артели заготавливают на зиму для города топливо, наравне с мужиками пилит и колет дрова («Ему это и здорово и весело», — подтверждает Софья Андреевна).

«Приходил он домой усталый, весь в поту, полный новых впечатлений здоровой, трудовой жизни и за обедом рассказывал нам о том, как работают эти люди, во сколько упряжек <*смен*>, сколько они зарабатывают; и, конечно, он всегда сопоставлял трудовую жизнь и потребности своих пильщиков с нашей роскошью и барской праздностью», — вспоминает сын Илья Львович.

Но и дома он находит настоящее дело, которым рад себя загрузить. Софья Андреевна, вместе радуясь, что муж спокоен, весел, бодр, и недоуменно пожимая плечами, сообщает в письме о его московских привычках: «Всё новенькое что ни день. Встает в семь часов, темно. Качает на весь дом воду, везёт огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова, и колет, и складывает в сажень...»

Из письма к Ромену Роллану

Весной 1887 года двадцатилетний французский студент Ромен Роллан, будущий известный писатель, автор, в частности, книги «Жизнь Толстого», обращается к нему с письмом. К этому побуждает молодого человека «жгучее желание знать — знать, как жить». Ромен Роллан хочет постичь «нравственную основу вещей» и, кроме Толстого, не видит нравственного руководителя: «Кругом — только равнодушные, скептики, дилетанты, эгоисты».

Осенью того же года Толстой отправляет Ромену Роллану ответ, в котором много пишет о труде физическом и умственном (этот вопрос сильно волнует его корреспондента):

> Вы спрашиваете, почему ручной труд является одним из существенных условий истинного счастья? Нужно ли добровольно лишать себя умственной деятельности, занятий науками и искусствами, которые кажутся нам несовместимыми с ручным трудом?
>
> Я никогда не считал ручной труд самостоятельным принципом, я всегда считал его самым простым и естественным приложением нравственного принципа, — таким приложением, которое прежде всего представляется уму всякого искреннего человека.
>
> Ручной труд в нашем развращенном обществе (в обществе так называемых образованных людей) является обязательным для нас единственно потому, что главный недостаток этого общества состоял и до сих пор состоит в освобождении себя от этого

труда и в пользовании, без всякой взаимности, трудом бедных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами, подобными рабам древнего мира.

Первым доказательством искренности людей, принадлежащих к этому обществу и исповедующих христианские, философские или гуманитарные принципы, является старание выйти, насколько возможно, из этого противоречия.

Самым простым и находящимся под рукой способом для достижения этого является прежде всего ручной труд, обращенный на заботы о своей личности. Я никогда не поверю искренности христианских, философских и гуманитарных убеждений человека, который заставляет служанку выносить его ночной горшок.

Самое простое и самое короткое нравственное правило состоит в том, чтобы как можно меньше заставлять других служить себе и как можно больше самому служить другим. Требовать от других как можно меньше и давать другим как можно больше.

Пропитан воздухом и горячей кровью

«Самое уважаемое им — святое существо был: пахарь — плуг», — замечает Репин.

В 1887 году, тотчас по возвращении из Ясной Поляны, где видел и с натуры рисовал в альбоме Толстого пашущего, художник берется за картину — «Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне». Он хочет сделать «наглядно известным» этот значительный, серьезный и прекрасный факт из жизни Льва Николаевича: «Давно все знают из его исповеди, из множества всевозможных сообщений о нем... как он пилил дрова с поденщиками на Воробьевых горах; знают, как этот великий человек, засучив рукава, складывает печку бедной вдове; как он, вооруженный топором, строит сарай бедным... Давным-давно знают, как граф косит, пашет...» Желая с помощью кисти сделать факт наглядно известным, Репин работает над картиной-документом.

Но суть замысла, конечно, шире. Само название «Пахарь» — много крупнее, значительнее, чем документальное — «Л.Н. Толстой на пашне». Как живописца Репина увлекает, приводит в восторг исполненная достоинства и подлинной гармонии фигура пашущего Толстого. Но не меньше увлекает его страстная, деятельная тревога Толстого о происходящем в мире, его поиски смысла жизни. Не умильные разговоры о братстве людей, а постоянная мучительная жажда разделить с ними тяготы их жизни и труда.

Для тех, кто серьезно задумывается над поисками истины, кого не оставляет в покое жгучее желание знать — как жить, для тех фигура

Толстого-пахаря становится воплощением образа крупнейшего духовного деятеля, занятого подготовкой почвы для нравственного учения, проповеди которого он посвящает без остатка свою жизнь...

Соединение духовного и телесного в физическом труде, неизменно увлекающем Толстого, точно и выразительно передает Репин в наброске статьи о нем:

«Он искал физических трудностей и любил преодолевать их; так он пахал, так он косил, так он складывал крестьянам печи (труд тяжелый: глина, сырость, жесткий кирпич) — все это он любил и геройски покорял себя труду — до святости индийского праведника.

Разумеется, такие упражнения развивали его тело и силу мускулов; сухожилия его сильно тянули все сростки костей, и это расширяло кости и делало все головки и ости костей очень выступающими...

От этих быстрых во всякую погоду движений цвет лица и рук его был пропитан воздухом и горячей кровью; глаза глядели зорко, и губы сжимались крепко и весело от торжества над преодолением опасностей. Это дает выражение силы деятельной, действенной».

Особо приподнятое настроение

В 1880–90-е годы, когда Толстой, начинает страстно проповедовать свое нравственное учение, зовет всех, кто слышит, вместе с ним уяснять смысл жизни, в эти годы, когда все больше людей хотят слышать его, когда Ясная Поляна становится местом паломничества (к этому времени относится и значительное число воспоминаний), рост Льва Толстого — 175 см, вес — 71,5 кг.

Как видим, выше среднего, но не высокий, крепко сбит, но не могуче тяжел. Соотношение роста и веса — вполне атлетическое.

Но его внутренний мир огромен, эта огромность внутреннего мира, величие личности определяют внешнее впечатление. Люди, готовясь к встрече с ним, заранее ожидают чего-то громадного, могучего — и обычно не обманываются в ожиданиях. Творческая, духовная мощь Толстого, его телесная энергия и сила, сливаясь воедино, создают образ, который его давний приятель, поэт Афанасий Афанасьевич Фет, обозначает словом *богатырь*.

Бунин передает смятение от первой встречи с вышедшим навстречу ему Толстым: «кто-то большой, седобородый».

Одним он кажется очень высоким, другим «довольно высокого роста», третьим «ниже ростом, чем я его представлял по портретам», четвертым и вовсе — невысоким. Но непременно — *большим*.

Большим — благодаря крепости его сложения, широким плечам. Большим — благодаря исходившему от него ощущению мощно-

го характера, «независимости, уверенности и сокрушительной силы». Большим — благодаря той атмосфере, которая тотчас возникала в присутствии Толстого.

«Где бы он ни появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека, и нет более места никаким низменным житейским интересам», — определяет Репин эту особенную — большую — «обуревающую» толстовскую атмосферу.

Осенью 1880 года в Москве Толстой впервые посещает мастерскую Репина.

«В моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло заревой тон и задрожало в особом приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой седой бородой, большеголовый, одетый в длинный черный сюртук.

Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой! Я хорошо знал только его портрет работы И.Н. Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф, высокого роста, брюнет и не такой большеголовый...

Он чем-то потрясен, расстроен — в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светятся фосфорическим блеском глаза строгого покаяния.

Мы сели к моему дубовому столу, и, казалось, он продолжал только развивать давно начатую им проповедь о вопиющем равнодушии нашем ко всем ужасам жизни... — мы потеряли совесть в нашей несправедливости к окружающим нас меньшим братьям, так бессовестно нами порабощенным, и постоянно угнетаем их.

И чем больше он говорил, тем сильнее волновался и отпивал стаканом воду из графина.

На столе уже горела лампа, мрачное и таинственное предвестие дрожало в воздухе. Казалось, мы накануне Страшного суда... Было и ново и жутко...»

На восьмом десятке тяжелая (самой тяжелая в его жизни) болезнь 1901–1902 годов, внешне сильно его согнет, состарит, — это в первый момент удивляет многих, кто знакомится с ним в его позднем возрасте.

«Вместо громадного маститого старца, вроде микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека...» — рассказывает Куприн, встретивший Толстого тотчас по выздоровлении, в Крыму, на палубе парохода.

Но проходит несколько минут, Лев Николаевич отправляется пройтись по судну, туда, где ютится не имеющая места в каютах беднота, и перед взором удивленного Куприна вместо осторожного старичка совсем иной образ:

«Он шел как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: “Се бо идет царь славы”... И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, — это власть творческого гения...»

В воспоминаниях о последних годах жизни Толстого определение «большой» нередко сменяется на удивленное — в первую минуту — «маленький»; но только — в первую минуту и затем только, чтобы с несравнимо большим удивлением открыть тут же, какая огромность мира живет, действует в этом маленьком стариковском теле.

И об этом хорошо написано у Василия Васильевича Розанова, чутко схватывавшего эту как бы лепящую внешнее внутреннюю сущность. Первое обескураживающее впечатление: «Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом? Я ожидал большого роста — по портретам и оттого, что он — “Альпы”... Но маленький старичок начинает говорить, точнее мыслить вслух...» И: «Я вижу точно то, что и ожидал, — феномен природы — “Альпы”».

Максим Горький в месяцы «крымского сидения» часто навещает больного Толстого. Он видится Горькому то «странником с палочкой», то — серым, лохматым, в белой войлочной шляпе, верхом на маленькой татарской лошадке — похожим на гнома. Но странник он из тех, которые всю жизнь меряют землю. И гном в мягкой шляпе «грибом» на своей маленькой лошадке, как нож сквозь масло, не свернув с пути, проезжает среди членов императорской фамилии, загородивших было ему узкую дорогу своими рысаками и дрожками.

В известных заметках-воспоминаниях Горького выразительный набросок портрета, сценка, наскоро подсмотренная со стороны: «Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски, — трубой — сложив губы, насвистывал неумело...»

Маленький, и губы по-детски, и свистит неумело, и все-таки — Саваоф!..

К горлу его подступают слезы

В детстве он часто плакал. Домашние подразнивали его — «Леварева», братья обзывали «девчонкой».

Он никогда, или почти никогда, не плачет от боли. Он проливает слезы жалости, умиления, восторга, «беспредельной потребности любви» (его слова). Это в нем останется на всю жизнь: встревоженная душа отзывается на волнение, на впечатление, радостное и горестное, слезами.

Музыка особенно трогает его — всегда и сильно. Если музыка нравится ему, он невольно всхлипывает, не может сдержать рыдания. «Чего хочет от меня эта музыка?» — повторяет он, почти страдая. О том же с мучительной страстью говорит герой «Крейцеровой сонаты»: «Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?»

Петр Ильич Чайковский признается, что ни разу в жизни не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как в тот момент, когда на концерте при исполнении анданте его Первого квартета Толстой залился слезами. Толстой часто плачет, читая или слушая чтение. Некоторые сочинения, сколько бы ни возвращался к ним, всякий раз заново глубоко его волнуют. Среди них рассказ Чехова — «Душечка». В 1899 году, когда рассказ только увидел свет, Толстой четыре вечера подряд читает его вслух, не в силах сдержать чувства, которые возбуждает в нем это произведение. И после снова и снова возвращается к «Душечке». В 1906 году, уже после смерти Чехова, он пишет послесловие к рассказу, объясняя то главное, что, по его мнению, желая того или нет, сказал автор.

В дневнике пианиста и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера есть страничка о том, как Толстой читал ему стихотворение Тютчева «Тени сизые сместились», стихотворение, глубоко лирическое и философское одновременно:

«Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «все во мне и я во всем», голос его оборвался».

Он не умеет спокойно принимать разговоры, знакомиться даже с обычными газетными сообщениями о творимых в мире несправедливостях, жестокостях. Татьяна Львовна очень точно замечает, что у отца норма получаемых впечатлений намного превышала обычную. Заносит, например, в дневник, что нашел в журнале статью с иллюстрациями о мучениях заключенных в французских дисциплинарных батальонах, и «разрыдался от жалости и к тем, которые страдают, и больше к тем, которые обманывают и развращают».

И залился смехом

Зато и смеется Толстой как мало кто другой. Репин прямо убежден, что никогда в жизни не встречал более заразительно смеющегося человека. Это определение «заразительный» находим почти у всех, кто вспоминает толстовский смех.

У Гольденвейзера, например: «Смеялся Лев Николаевич детским, заразительным, необыкновенно искренним смехом, но смеялся довольно редко». Еще одно повторяемое обозначение толстовского смеха — детский.

Горький вспоминает: за завтраком Лев Николаевич повторил шутку, которую только что услышал от навестивших его мужиков, — «и залился детским смехом, так и трепещет весь». И у него же — как рассказывал Толстому забавную историю из собственной жизни: «Он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько...»

Человек, который краснеет

Герои Толстого краснеют очень часто. Вспыхивают, багровеют, кровь бросается им в лицо.

Герои Толстого краснеют от стыда, или, мягче, от смущения, от того, что человек увидел в своей душе нечто, чего не хотел бы увидеть, или страшится, что это, пусть неосновательно, могли увидеть в ней другие.

Толстой придает исключительное значение способности человека краснеть. «Человек, который краснеет, может любить, а человек, который может любить, — всё может», — пишет он в пору работы над «Войной и миром».

В «Войне и мире» неизмеримо больше других краснеют Пьер, Наташа, Николай Ростов, княжна Марья. Князь Андрей впервые неожиданно краснеет, когда его любовь к Наташе становится для него счастливым открытием. Толстой пишет — и это очень важно для уяснения его собственного к этому отношения: «Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа».

Самые «краснеющие» в «Анне Карениной»: сама Анна, Левин, Кити, — конечно, самые совестливые и сомневающиеся. Только знакомя нас с Анной, Толстой замечает одобрительно: «Анна имела способность краснеть». Левин, по свидетельству близких, столь похожий на автора, краснеет беспрестанно. Опять же при первом его появлении Толстой отмечает, что краснеет он «не так, как краснеют взрослые люди... но так, как краснеют мальчики... вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез».

Лучше красоты

Всматриваясь в портрет Пушкина, Толстой сказал однажды: «Экое прекрасное лицо!» Пушкин писал о себе: «Потомок негров безобразный»...

Лев Николаевич с малолетства знал, что нехорош собою.

В «Детстве» maman старается найти в лице сына привлекательные черты — умные глаза, приятную улыбку, — но наконец, уступает мнению отца, что мальчик дурен: «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть добрым и умным мальчиком».

Сцена вымышлена, матери, мы знаем, Лев Николаевич не помнит, но здесь, без сомнения, нашло место какое-то подлинное воспоминание (в заготовках к несостоявшейся автобиографии Толстой также особо помечает свою «дурноту»). Трилогия — «Детство», «Отрочество», «Юность» — (при фактических расхождениях с действительностью, по глубинной своей сущности, конечно, автобиографическая) пронизана страданиями героя-рассказчика, сознающего свою некрасивость, — такое вряд ли случайно.

В «Отрочестве» Толстой напишет, что убеждение в собственной уродливости сильно отразилось на формировании его натуры, напишет крайне резко — рассказчик еще молод, говорит о наболевшем: «Ничто (!) не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее».

«Я... по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим», — читаем там же, в «Отрочестве». «Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня умная рожа, и я вполне верю в это».

Точнее: хотел бы «вполне верить», но, признается дальше, разглядывая себя в зеркало, всякий раз отходит с тяжелым чувством уныния и даже отвращения: «Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было — самые обыкновенные, грубые и дурные черты: глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше, несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие руки и ноги; а это в то время мне казалось очень стыдно».

Не раз замечено — да и нетрудно заметить, сопоставляя портреты и фотографии разных лет, — что Толстой с годами «становится красивее». Так оно и было, конечно, так и должно быть: отроческое разглядывание себя в зеркале, уступает место все более проницательному, вдумчивому всматриванию в свой внутренний мир и мир вокруг. Перефразируя приведенные слова Толстого, читая их «с другой сторо-

ны», можно сказать, что направление его жизни, внутренняя, духовная работа, которой он постоянно занят с юных лет и до последней своей минуты, разительно влияют на его наружность.

Но близким людям не нужно дожидаться его старения, чтобы сознавать конечный результат. По прекрасно точной формуле Александры Андреевны Толстой: *некрасивое его лицо было лучше красоты.*

Другие покажутся скучны

Трудно найти в России человека (и в мире таких немного), который не знал бы его лица. Лицо Толстого сопровождает нас на протяжении всей жизни, сделалось частью нашего духовного бытия, даже быта.

Его портреты писали, рисовали, лепили многие художники.

Но никто из них не одарил нас таким количеством живописных и графических изображений Толстого, как Репин. Два с лишним десятилетия всматривается художник в его лицо, стараясь «охватить необъятное» и запечатлеть при этом изменения, которые вносят в образ различные душевные состояния, события и перемены во внешней и внутренней жизни, само время. Поэтому так дороги и черты словесного портрета Толстого, оставленного Репиным (неслучайно к его текстам приходится то и дело обращаться), тем более, что слово у него по-своему не отстает от кисти и карандаша — свежее, точное, выразительное.

«Вырубленный задорно топором, он моделирован так интересно, что после его, на первый взгляд грубых, простых черт, все другие покажутся скучны», — начинает Репин.

С репинским «задорным топором» перекликается смелое суждение другого пытливого наблюдателя — американского журналиста Джорджа Кеннана, изучавшего в Сибири жизнь ссыльных; путешествуя по России, он навестил Ясную Поляну: «Черты графа Толстого лучше всего определить словами тосканцев: сформовано кулаком и отполировано мотыгой».

«Превосходный образец для френологии: выпуклости на черепе», — помечает Репин. И называет особенные возвышения на лбу, темени и затылке. (Согласно данным френологии, сторонники которой полагали, что по строению черепа можно узнать душевные особенности человека, такие возвышения являются признаками религиозности, высшего разума, страстей.)

Сильное, зримое устройство толстовского черепа, с выпуклыми лобными костями, обращало на себя внимание, но когда скульптор Наум Львович Аронсон, исполняя бюст Толстого, особенно сосредоточенно вылепил мощный лоб мыслителя, Лев Николаевич отозвался критически: «Мне кажется, что умственность преувеличена — выпуклый лоб».

Репин особым пунктом ставит: надбровные дуги. Черта схвачена многими, описавшими облик Толстого, но без репинской анатомической точности. Обычно пишут по-житейски — о небольших глазах, глубоко спрятанных под нависшими, густыми, энергично сдвигавшимися, даже суровыми бровями.

«Большие низко поставленные уши», — тоже точное репинское наблюдение.

«Цвет толстой кожи — терракоты», — опять же у Репина. Очень хорошо, образно найдено обозначение цвета: помимо прямого перевода с итальянского (terra cota — «обожженная глина»), «терра» (terra) по-латыни — земля, главное, дорогое для Толстого понятие. Американец Кеннан пишет о «мужественном лице, глубоко прокаленном солнцем полей».

Репин находит особую привлекательность, аристократическое благородство в рисунке толстовского рта. «Широкий рот очерчивался смело, энергично, углы тонко извивались, прячась под львиными усами. Середина губ так плотно и красиво сжималась, хотя и мягко: их хотелось расцеловать. Очертание всего рта было классически прекрасно. Выдающийся подбородок...»

Большой нос, своеобразно расширенный книзу, полные, плотно сжатые губы остаются в памяти и Джорджа Кеннана. «А подбородок и скулы, — продолжает он, — насколько они проглядывают сквозь густую седую бороду, лишь подчеркивают выразительную мужскую силу, отличающую его широкое, изборожденное морщинами лицо».

Зоркий американский журналист и путешественник провел в Ясной Поляне всего один день, но увидел многое. Строки, завершающие набросанный им портрет, открывают во внешности Толстого то главное, о чем поведала друг всей его жизни Александра Андреевна: «В лице графа Толстого есть нечто более прекрасное и более высокое, чем простая красота или правильность черт. Это впечатление глубокой моральной, духовной и физической силы».

«Луна подняла мена кверху»

С луной и светом луны у Толстого отношения особые. «Ночь удивительная... Луна за березами и коростель». «Нельзя уйти с балкона до 12. Ночь с луной перевернутой — черная, коростели везде».

Он полагает, что свет луны возбуждает мир наших ощущений. На него самого во всяком случае сильно действует. Тревожит, пробуждает к деятельной жизни — и, наоборот, успокаивает, помогает почувствовать гармонию мира, а себя — одной из бесконечных частиц его.

Мир, залитый лунным светом, — это иной, волшебный мир, который дарит человеку чувство внутреннего преображения, помогает ему открыть в себе новые духовные силы. Неслучайно луна, лунный свет появляются на страницах его дневника, оказываются важной, иногда по-своему решающей подробностью в его сочинениях.

Весной 1857 года он, впервые путешествуя за границей, до расстройства нервов измученный парижскими впечатлениями — бесчеловечной жестокостью того, что восторженно именуют «прогрессом», нравственной грязью, потрясшим его зрелищем смертной казни, бежит из Парижа в поисках тишины, покоя, природы, простоты и ясности жизни. «Скучно в железной дороге. Но зато, пересев в дилижанс ночью, полная луна... Все выскочило, залило любовью и радостью. В первый раз после долгого времени искренне опять благодарил Бога за то, что живу».

Через несколько месяцев уже в Германии, в Штутгарте, напряженной, бессонной ночью, заполненной тревожащими мыслями и замыслами, к нему приходит вдруг ясное решение, во многом определившее его жизнь: «Увидел месяц отлично справа. Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде. Главное, вечная *деятельность».*

В июне 1863-го, вовсе поразительная дневниковая запись: «Нынче луна подняла меня кверху, но *как,* этого никто не знает. Недаром я думал сегодня, что такой же закон тяготенья, как материи к земле, существует для того, что мы называем духом, к духовному солнцу».

Речь здесь, конечно, не об одних литературных занятиях. Еще года не прошло после женитьбы. Резкая перемена в привычном течении жизни, необходимость заботиться о благополучии будущей растущей семьи (вот-вот появится первенец), занятия хозяйством, затянувшиеся творческие искания — все это тяжело отражается на душевном состоянии Толстого: «Все это было тяжелое для меня время физического и оттого ли, или само собой, нравственного тяжелого и безнадежного сна... Я думал, и что стареюсь, и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние...»

«Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю»... Это — несколькими строками выше приведенной записи. А следом о том, что «безумная ночь вдруг подняла меня на старую высоту правды и силы»...

Но высота правды и силы — это и открывшаяся ясность будущей литературной работы, которой он уже не в силах не отдать всего себя. Начинаются первые подступы к «Войне и миру»: «Завтра пишу... В третий раз сажусь писать... Господи, помилуй и помоги мне».

Его глаза

Когда художник Николай Николаевич Ге написал портрет Толстого за письменным столом, Софья Андреевна посетовала: жаль, голова опущена и глаз нет — «все выражение у Левочки в глазах». Сергей Львович спорит с матерью — считает портрет работы Ге лучшим «по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза».

Ге, выполняя портрет, решал свою задачу и решил ее глубоко и сильно. Но примечательно, что несовпадение суждений о портрете касается именно глаз. Едва не во всяком свидетельстве современников, встречавшихся с Толстым, даже если речь менее всего о наружности, так или иначе, непременно появляются особенные толстовские глаза. «Все выражение у Левочки», действительно, в глазах. «В них как бы сконцентрировались все яркие особенности толстовской личности. И кто не видел, как вспыхивают и загораются эти глаза, как они приобретают вдруг какой-то сверлящий и пронизывающий характер, тот не может иметь полного представления о личности Л.Н. Толстого», — еще при его жизни замечает один из первых биографов писателя П.А. Сергеенко.

Однажды никому неведомый псаломщик, после беседы с Толстым сказал: «Глаза у Льва Николаевича хорошие. Когда его слушаешь, хочется дальше слушать». Необыкновенно точно схвачено: убедительность толстовской речи не только в словах — в глазах.

Глаза Толстого, в зависимости от содержания беседы вообще, от того, что он говорит, делает и т.д., вспоминаются мемуаристам «суровыми», «острыми», «колючими» и, наоборот, «добрыми», «мягкими», «веселыми». Но, наверно, самое частое определение — *проницательные*.

Проницательность Толстого — в его поразительной способности проникнуть во внутренний мир человека, который находится перед ним, с которым он общается, понять самые тайные побуждения, которые человек порой пытается скрыть, даже успешно скрывает от самого себя. Один из посетителей после разговора с хозяином Ясной Поляны метко обозначил свое состояние: перед Львом Николаевичем он «чувствовал себя совершенно стеклянным».

Но при этом Толстой умел не выказывать собеседнику своей проницательности как превосходства. «Мне всегда казалось, когда я смотрел ему в глаза, что он знает все, что я думаю, и при этом старается скрыть эту свою способность проникновения», — пишет Репин, много и откровенно беседовавший с Толстым. И прибавляет: «Да, это была самая деликатнейшая натура».

«Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает, — вспоминает детство старший сын писате-

ля. — Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, — а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, — я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось».

И еще одно свидетельство человека, который сам обладал огромным дарованием вглядываться в людей, улавливать диалектику их души и тела и потом воспроизводить ее, но не на бумаге, а в сценическом действии, — портрет, написанный великим артистом и режиссером Константином Сергеевичем Станиславским:

«Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или холсте глаза Л.Н. Толстого, которые пронизывали душу и словно зондировали ее! Это были глаза то острые, колючие, то мягкие, солнечные. Когда Толстой приглядывался к человеку, то становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал всё, что было в нем скрытого — хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом, и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей и светили».

Глава 5
ВЕРЬТЕ СЕБЕ

Мне хочется свободы

Вспомним первое и самое сильное впечатление жизни Толстого: его пеленают, связывают. «Мне хочется свободы, и меня мучают».

Стариком, перебирая в памяти впечатления детства, он назовет еще одно, на сторонний взгляд, не стоящее внимания, но вот, оказывается, всю жизнь не давало покоя: какой-то заезжий родственник «хотел приласкать меня и посадил на колени и, как часто бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться...»

Еще ребенок, он видится окружающим «чудаком» и «оригиналом». Он, например, входит в залу спиной вперед и кланяется, откидывая назад голову. О том, что это не просто шалость, а нечто существенное (принцип, протест!) свидетельствует особая помета к позднейшим материалам для автобиографии: «Кланяться задом».

В конечном счете (можно и так взглянуть) «Детство» — первое завершенное произведение Толстого, повесть о том, как насилие (переезд отца с сыновьями из деревни в Москву, затеянный им ради удовлетворения собственных прихотей) оборачивает трагедией, убивает «счастливую невозвратимую пору детства».

Теме насилия над ребенком — истории о том, как гувернер-француз пытается высечь мальчика — отданы центральные главы следующей повести трилогии — «Отрочества». Здесь весьма сходно передано событие из жизни самого автора. «И я испытал, — с детским содроганием будет вспоминать Толстой-старик, — ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к St.Thomas *<имя гувернера>,* но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мною».

Одна из самых ранних публицистических работ Толстого, еще в 50-е годы, — статья о насилии: «Во все времена, на всех местностях земного шара, между людьми повторяется один и тот же непостижимый факт: власть, закон, сила, людская же сила, заставляет людей жить противно своим желаниям и потребностям».

И не хочет и не может

Семинарист Поплонский, приглашенный помочь трем младшим братьям Толстым подготовиться к поступлению в университет, оставляет в «классной ведомости» характеристику способностей к учению и прилежания своих воспитанников: «Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может <*«Это была неправда», — пометит позже Лев Николаевич*>, Лев и не хочет и не может» <*«Я думаю, что это была совершенная правда», — тоже позднейшая пометка Льва Николаевича*>.

Братья поступают в Казанский университет. Сергей и Дмитрий, по примеру старшего, Николая, идут на математический, Лев выбирает факультет восточных языков. Может быть, даже скорей всего, при его интересе к математике, потому и выбирает, чтобы не подражать, не следовать даже старшему брату и любимому другу, чтобы не «как другие».

По собственному признанию Толстого, к университету он готовился «поневоле и неохотно». На приемных экзаменах: оценки — поразительные: нет средних. Безнадежно провалил все четыре экзамена по разным разделам истории, оба по географии, общей и русской, и рядом — очень хорошие оценки по математике, по всем языкам, кроме латыни. Все, что освоено для себя им самим, освоено быстро и отлично. Но общий итог не в его пользу: «принятия в университет не удостоен».

Он добивается переэкзаменовок, осенью 1844-го 16-летний Лев Толстой — студент Казанского университета. Осенью 1845-го он переводится с восточного факультета на юридический. Еще через год и семь месяцев, весной 1847-го, не выказав особых успехов в учении, вообще подает прошение об увольнении из университета. Лев Николаевич — единственный из четырех братьев Толстых, не получивший высшего образования.

Некоторые преподаватели находят в нем способности, но он не в силах заучивать, а затем повторять то, что сам не осмыслил, не уяснил. В поисках биографии для Нехлюдова, героя «Воскресения», Толстой в черновой рукописи романа напишет: Нехлюдов потому по своей воле вышел из университета, что «выучивание лекций о предметах, которые не решены, и пересказывание этого на экзаменах не только бесполезно, но унизительно». Унизительно! Разговор все о том же — о насилии. О насилии в образовании: не в образовании школьном или высшем (об этом Толстой тоже не раз будет говорить, писать, спорить) — в образовании личности.

Семинарист Поплонский в самом деле вывел о своем ученике Льве «совершенную правду»: и не может и не хочет. Не может учиться тому, чего не хочет, и не хочет учиться тому, чего не может освоить, потому что предметы эти им самим не обдуманы, «не решены».

Это у него до конца дней.

В старости, подводя итоги, он скажет: «Я всю жизнь учился и не перестаю учиться, и вот что я заметил, ученье только тогда плодотворно, когда отвечает каким-нибудь моим запросам».

Зимой 1870-го — уже напечатана «Война и мир» — Лев Николаевич, в ответ на свои «запросы», решает изучать древнегреческий. Через две недели («невероятно и ни на что не похоже» — не без гордости докладывает Фету) уже прочитал без словаря Ксенофонта, читает Гомера. «Живу весь в Афинах. По ночам во сне говорю по-гречески». Софья Андреевна пишет с некоторым неодобрением: «Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот».

Десятилетие с лишком спустя, осенью 1882-го (ему пятьдесят четыре), берется за древнееврейский. Язык необходим для исследования Библии. Ученый раввин, его наставник, поражается быстроте и глубине освоения материала Толстым. Жена опять недовольна: «Левочка — увы! — направил все свои силы на изучение еврейского языка, и ничего его больше не занимает и не интересует. Нет, видно, конец его литературной деятельности, а очень мне это жаль».

Литературной деятельности — не конец. Впереди — «Холстомер» и «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», «Воскресенье» и «Хаджи-Мурат». Но у Софьи Андреевны для него свой план жизни. А для Толстого с детства мучительно, когда его «насильно втискивают» в чужие, не им самим выношенные и выболевшие планы.

Музыкант А.Б. Гольденвейзер заносит в дневник 1 февраля 1901-го: «Лев Николаевич начал месяца два-три назад учиться голландскому языку, а сейчас уже довольно свободно читает, — это на семьдесят третьем году!»

В связи с выходом из университета он вынужден явиться для беседы к управляющему Казанским учебным округом. Управляющий «очень тогда хорошо со мной говорил, — полвека спустя вспомнит об этой беседе Лев Николаевич, — жалел, что мои университетские занятия так плохо удались, говорил: “было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли применения”. В чем он тогда мог видеть мои способности, уж не знаю». А вот смог, увидел! Правда и управляющий — необыкновенный, не обыкновенного ума и взгляда человек: Лобачевский — великий математик!

Видел и слышал великие истины

Тетенька Т.А. Ергольская свидетельствует с пристрастным вниманием человека любящего: «Л. — непонятное существо, обладающее странным характером ума... Он думает только о том, как углубиться в тайны

человеческого существования, и чувствует себя счастливым и довольным только тогда, когда встречает человека, расположенного выслушивать его идеи, которые он развивает с бесконечной страстностью».

Об этом он и сам говорит в «Отрочестве: «Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. ...Все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему...»

Лето 1845 года он проводит вдвоем с тетенькой в Ясной Поляне. Недавний юный завсегдатай гостиных казанского «высшего света», он вдруг внешне «опрощается»: туфли на босу ногу, парусиновый халат, сшитый по собственному покрою, — днем он носит его и дома и на улице, ночью халат служит ему простыней и одеялом.

В то лето в Ясной он читает философские труды, сам излагает свои суждения на бумаге, но всего больше — думает, напряженно, страстно, во всем стараясь дойти до оснований, до корней, до сердцевины, по слову поэта. «В голове моей происходила горячечная усиленная работа», — после расскажет он об этом лете 1845-го.

Часто от наплыва мыслей он не мог заснуть, вставал с постели, шагал из угла в угол по комнате, выходил на балкон, влезал на крышу, ум его действовал, не переставая, «с страстностью молодости»; наконец, он засыпал, но и во сне «видел и слышал великие новые истины и правила».

Верьте себе

В «Отрочестве», поведав о напряженной работе «детского слабого ума», Толстой заключает, что мысли эти представлялись его уму с такою ясностью и поразительностью, что он воображал даже, будто первый открывает такие великие и полезные истины.

Н.Н. Гусев, секретарь и биограф, подмечает: на всем протяжении жизни Толстого в его высказываниях встречается — «я в первый раз понял», «я в первый раз заметил», «я испытал в первый раз», «в первый раз я почувствовал»...

В первый раз!.. «Вся его жизнь представлялась ему обычно в виде целого ряда больших и малых следовавших один за другим переворотов...»

И всякий раз то, что вчера представлялось ясным и определенным, сегодня (будто впервые увиденное) непременно должно быть уточнено, изучено заново, уяснено, заменено, отброшено вовсе.

«Я первый»... Толстой убежден, что каждый человек совершает в своем внутреннем развитии тот же путь, который человек вообще, развиваясь, проходит «в целых поколениях». Что найти свое *я* значит передумать, сознавая это или нет, все то, над чем до тебя веками трудился ум человечества.

Главное: самому передумать, уяснять, постигать, самому свое *я* найти. «Помню, как я, когда мне было 15 лет... как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее».

Он скажет это на восьмидесятом году жизни в «Обращении к юношеству», которое озаглавит: «Верьте себе».

Озарение светом истины

В этом постоянном ощущении первооткрывательства — одна из особенностей мышления Толстого.

Мы привыкли к увлекательной истории замысла «Анны Карениной», такой, как о ней чудесно поведал сам Толстой: как-то после работы взял том прозы Пушкина «и как всегда (кажется, седьмой раз), перечел всего, не в силах оторваться, и *как будто вновь читал*. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения... И там есть отрывок "Гости собирались на дачу". Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события и стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман...»

Толстой пишет это в марте 1873 года, между тем тремя годами раньше Софья Андреевна заносит в свою тетрадь слова мужа о том, что «ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя».

В эти три года Толстой составляет «Азбуку», обдумывает роман о Петре, но вряд ли позабыт замысел истории о женщине, «потерявшей себя», тем более, что, согласно той же записи Софьи Андреевны, «как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. «Теперь мне все выяснилось», — говорил он. Но, видимо, еще не «выяснилось», что нужно полностью отдаться замыслу. Чтение Пушкина резко возвращает Толстого к роману о женщине из высшего света, разрешает все его сомнения. И вместе с этим *вдруг* все завязалось...

В книге «В чем моя вера?» (1884 год) Толстой рассказывает о своей работе над религиозно-философскими сочинениями: «...Я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать все то, что скрывает от людей ис-

тину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия. Работа эта продолжается уже шестой год... Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелиями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий, — это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины».

Так в финале «Воскресения» читает Евангелие герой романа Дмитрий Нехлюдов.

« — Да неужели только это? — вдруг вслух воскликнул Нехлюдов... Он... в первый раз, читая, понимал во всем значении слова, много раз читанные и незамеченные».

В первый раз

Однажды в разговоре он признается: «Когда я писал “Детство”, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства». Каждое слово он пишет с чувством, что слово это пишется изначально, что никто до него не писал такого. Да так оно, конечно, и было. Как ни мечтал он порой, подобно своему Пьеру Безухову, скинуть с себя бремя «внешнего» особого человека, всем существом войти в «общую жизнь», ему определена иная судьба. Именно эта — открывать в первый раз.

Многое, о чем он думает и пишет, уже тысячелетия тревожит человечество, но могущество личности и гений художника оборачивают, заставляют других ощущать тысячелетнее первозданным. Читая Толстого, вслушиваясь в его суждения, чувствуем, как сила и ясность его духа, чистота взгляда, исключительность художественной новизны и в нас, как в нем самом, как в его героях, освежают, перетряхивают все духовное существо, снимают с глаз пелену предрассудков, заставляют взглянуть на мир в себе и мир вокруг с ощущением этого первого раза.

Взгляд его глубоко запрятанных серых глаз, которые, кажется, видят человека насквозь, и взгляд-суждение его, о чем бы он ни задумывался, о чем бы ни вел разговор, — поразительно свободен, не заслонен существовавшими до него чужими мнениями, впечатлениями, оценками. Оттого мир вокруг, все, что он видит в нем, является ему новым, неожиданным, необычным.

Целое и невредимое

В 1873 году он заносит в дневник: «Я смолоду стал преждевременно анализировать все и немилосердно разрушать. Я часто боял-

ся, думал — у меня не останется ничего целого; но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей... У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и 1/100 того».

В том-то и дело, что анализирует он и разрушает не уничтожения ради — ради созидания.

Завершив грандиозную эпопею «Войны и мира», он берется за создание «Азбуки» для детей.

Грандиозная эпопея — и «аз-буки», первое знакомство с грамотой и арифметикой, «счетом», как именует Толстой? Но для него огромность задач сопоставима: «Гордые мечты мои об этой “Азбуке” вот какие. По этой “Азбуке” только будут учиться два поколения русских всех детей от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту “Азбуку”, мне можно будет спокойно умереть».

Он мечтает, что его «Азбука» поможет открыть таящиеся в народе бесчисленные дарования, поможет этим дарованиям раскрыться: «Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей... И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу... спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе».

Вот его масштабы! И так у него всю жизнь.

И того более. Однажды он напишет с его поразительной точностью: «Дети увеличительные стекла зла. Стоит приложить к детям какое-нибудь злое дело, и то, что казалось по отношению взрослых только нехорошим, представляется ужасным по отношению детей». Работая над «Азбукой», он хочет не только научить детей читать, писать, считать, дать им разнообразные сведения об окружающем мире, но и посеять в их душах как можно более семян добра.

На основе собственного опыта работы в открытых им школах для крестьянских детей он предлагает особый, им самим найденный способ обучения чтению, новые приемы счета, знакомит учеников с физикой и химией, ботаникой и зоологией. Он сочиняет рассказы для детского чтения, среди них и маленькие рассказы-статьи из разных областей знания, перерабатывает для своей книги произведения писателей иных времен и народов, сказки, басни, былины. Толстовская «Азбука» и сегодня одна из лучших начальных книг для детей. В ней мы впервые знакомимся со сказкой «Три медведя», рассказами «Филипок», «Акула», «Лев и собачка», с историями про собак Бульку и Мильтона, с «Кавказским пленником».

Кавказские пленники

Для рассказа «Кавказский пленник» Толстой берет название, хорошо известное в русской литературе, но, в отличие от пушкинской поэмы, у него не один пленник, а два.

Жилин и Костылин — два человека, которые во всем разнятся. Они противопоставлены физически и психологически, по-разному относятся к тому, что с ними происходит, по-разному ведут себя в одном и том же положении. Толстой не дает имен героев, только фамилии, — но в фамилиях угадывается характер.

О Жилине говорится: «хоть невелик ростам, а удал был». Толстой, конечно, знал такие народные речения, как «молодецкая жила», «кость да жила, а всё сила», «хоть жилимся, да тянемся». Слово «жилиться» имеет толкование: напрягаться, натуживаться, стараться изо всех сил. В мыслях, решениях, поступках Жилин непременно удал, и, хотя портрета его в рассказе не находим, перед глазами у нас встает человек поджарый, ловкий, сильный и выносливый.

Костылин, в отличие от своего товарища, с первого появления обрисован внешне: «мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет». Фамилия Костылин — напоминает о его физической и душевной слабости, неуверенности, нерасторопности. Он тяжел и неловок в ходьбе (здесь тоже «работает» фамилия): при попытке бежать из плена он движется тяжело, охает, отстает, сапоги трут ему ноги, босиком он обдирает ноги о камни.

Начало рассказу дал случай из кавказской жизни самого автора. Однажды Толстой и его приятель, когда им надоело тащиться с медленно идущей воинской колонной, точь-в-точь как герои рассказа, поехали вперед, натолкнулись на группу конных чеченцев и едва не попали в плен. Лошадь под Толстым была более резвой, чем под его приятелем, но он продолжал скакать с ним рядом, не желая оставлять его в опасности.

В дневнике Толстой записал: «Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно». «Слишком чувствительно» — это, скорее всего, бурная радость, им проявленная, когда удалось уйти от преследователей и добраться до своих. Вот ведь и удалой Жилин в конце рассказа, несмотря на погоню спасшийся из плена, «сам себя не помнит, плачет и приговаривает: «Братцы! Братцы!»

В рассказе две натуры, два характера, два подхода к жизни. Мы видим, что отношение человека к обстоятельствам зависит от его физического и психического здоровья. И видим при этом, насколько крепко взаимодействуют физическое и психическое здоровье.

На протяжении жизни Толстой постоянно думает, как должен вести себя человек, прежде всего — он сам, в трудных, порой вроде бы безысходных жизненных положениях. И к каким бы выводам не приходил, размышляя, поступает, как герой любимого им самим «Кавказского пленника».

Только постоянное действие приводит к желанной цели.

Если я остановлюсь

«Меня мучит мелочность моей жизни... Я стар — пора развития или прошла, или проходит» (ему двадцати четырех нет — служит на Кавказе, участвует в походах, пишет «Детство»). Давно настала пора «принимать большое влияние в счастии и пользе людей».

Два года спустя (уже сложившийся писатель, «Детство» напечатано, «Отрочество» закончено, Кавказ позади, он по-прежнему в армии, до участия в обороне Севастополя считанные месяцы): «В последний раз говорю себе: Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя».

Уже в Севастополе (идут бои, он занят первым из севастопольских рассказов, одновременно работает над собственным «проектом о переформировании армии») его озаряет «великая громадная мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь»: «Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Он и в самом деле, так или иначе, а в последние десятилетия отдавая этому все свое *я*, посвятит жизнь осуществлению явившейся ему в тот мартовский севастопольский день великой громадной мысли: будет содействовать основанию религии любви и единения между людьми, религии отрицания насилия, — эта религия, по его убеждению, изначально живет в душе каждого человека, заглушенная пороками, условностями, привычками, накопившимися во всей неправедности истории человечества.

К старости его все больше будет манить желание не только жить простой трудовой жизнью крестьянина, но и вовсе раствориться незнаемым, неузнанным, человеком без роду и племени в массе народа на бескрайних просторах России. Но вместе в сознании его, в душе постоянно и властно восстает его предназначение, требовательно зовет к деятельности.

Узнав о нежданной смерти яснополянского мужика, с которым накануне выполнял вместе крестьянскую работу, он, с некоторой даже

завистью, заносит в дневник: «Лег в клети на прелую солому и умер. Хорошо». Но тотчас следом — о своей работе: «Хочется писать с эпиграфом: “Я пришел огонь свести на землю и как желал бы, чтоб он возгорелся”».

В своей эпопее посмеивается над Наполеоном, говорившим о сорока веках, которые смотрят на него с высоты пирамид; но в пору полной собственной зрелости признается: «Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид и что весь мир погибнет, если я остановлюсь».

Рваться, путаться, биться, ошибаться

В канун нового, 1851 года старший из братьев Толстых, Николай, — он уже пять лет почти как в Кавказской армии — приезжает в долгосрочный отпуск; в апреле срок побывки подходит к концу, и тут Лев вдруг решает отправиться в путь вместе с ним.

В письме к Татьяне Александровне Ергольской, он назовет свой неожиданный отъезд на Кавказ «внезапно пришедшей в голову фантазией». В дневнике — для себя — не найдет одного ясного объяснения: надеялся на благотворное влияние кавказской природы, ожидал, что его «лихости» представится случай выказать себя вовсю на Кавказе (его манит слава — пусть смерть, но уж непременно героическая), наконец, попросту «бежал от долгов и, главное, привычек».

В разное время, в разном настроении причины «бегства» будут называться разные. Называются, нет сомнения, всякий раз искренно, но не только нам, из нашего сегодня, — даже близким Толстого, ему самому даже, ни одна из этих причин порознь (иначе чего бы называть другие) не видится достаточной. Более того: и вместе, в сумме, они не охватят того целого, которое владеет им в момент неожиданного решения.

А потому останемся при этом толстовском — «внезапно пришедшая в голову фантазия». Тем более, что в Словаре Даля, рядом с толкованием слова «фантазия» — пустая мечта, выдумка воображения, причуда и т.п., найдем нечто весьма существенное: «фантазия — *воображение, изобретательная сила ума, творческая сила художника, самобытная сила созидания*».

Такого — фантазии, внезапно им овладевшей, — от него всегда должно ожидать.

Совсем юным, в докавказскую пору, с головой, кажется, уйдя в хозяйство, охоту, домашние музыкальные занятия, кутежи у тульских цыган, с головой, одним словом, уйдя, кажется, в жизнь помещичью, он вдруг оставляет Ясную Поляну и отправляется в Москву с целью попасть в высший свет, выгодно жениться, найти почтенное и доходное

место для службы, стать игроком (ни много, ни мало!). Но, еще прежде, живя в Москве завсегдатаем светских гостиных, приметным женихом, карточным игроком (мало удачливым), он мечтает о деревенской жизни, намеревается скорее вернуться к ней, однажды разом бросает всё... но вдруг уезжает вместо деревни в Петербург — служить по военной или гражданской части, сделаться «практическим человеком» (объясняет: приятели уезжали в столицу, он вдруг сел в дилижанс и поехал с ними»). Когда какой-то родственник отправляется по делам в Сибирь, он «вскочил к нему в тарантас без шапки, в блузе, и не уехал в Сибирь, кажется, только оттого, что у него не было на голове шапки» (это Лев Николаевич сам о себе в старости расскажет).

Татьяна Александровна, внимательно присматриваясь к любимцу, угадывает в нем *«человека, испытывающего себя»*. Сам Лев, размышляя об испытаниях, которым желал бы себя подвергнуть, выводит в своем журнале: *«Правило: искать положений трудных»* (и подчеркивает).

Что же толкает его, гонит вперед, к цели, пусть до поры неведомой, постоянно в первый раз открывает ему мысли и чувства, без которых он далее, кажется, уже не в силах существовать, побуждает перечеркивать прошлое и поворачивать к новому, не оставляет ни минуты покоя?

С самых юных лет и до поздней старости, до последнего своего дня, он напряженно, мучительно ищет самого себя, но не себя ради, — он сознает, каждой клеточкой ощущает свою нужность людям («Я был бы несчастнейший из людей, ежели бы я не нашел цели для моей жизни — цели общей и полезной», — это тоже на самых первых страницах дневника его юности) — и оттого постоянно — опять же с самых молодых лет и до последнего своего дыхания — стремится осуществить себя как можно полнее.

В молодости, при его трудно поддающейся обузданию страстности, это стремление с совершенной полнотой осуществить себя бросает его в чрезмерность, к неуступчивому «или-или»: он застрелится, убьет себя, если завтра же, немедленно не поймет цели своей жизни, не сделает что-либо подлинно необходимое для блага людей, не женится...

В молодом рассказе «Люцерн», поведав читателям действительное происшествие, когда обитатели роскошного швейцарского отеля, по большей части богатые англичане, полчаса слушали бродячего певца, но никто из них не подал ему ни копейки, он, автор, признается, что готов был с наслаждением подраться с наглыми кельнерами и швейцаром, «палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню», а, будь он в эту минуту в Севастополе *<речь о недавней Крымской войне>,* бросился бы с наслаждением «колоть и рубить в английскую траншею».

Александр Иванович Герцен, которого он нелегально посещает в Лондоне, пишет о резкости его суждений, что Толстой «всё, как под Се-

вастополем, берет храбростью, натиском». Его молодая чрезмерность (она и с годами во многом при нем останется) делается понятной, если держать в памяти, что он живет и действует с ощущением, что «сорок веков смотрят на него с высоты пирамид», что он ни на миг не имеет права остановиться.

Из письма к Александре Андреевне Толстой: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Ничего не утаю

В недолгие университетские месяцы предмет истории, как читают ее с кафедры, Толстому не по душе: «собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен».

Пятью годами позже, на Кавказе он начинает «любить историю и понимать ее пользу». И тотчас у него возникают грандиозные замыслы собственных исторических трудов: «Составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь». Не басни, не имена и цифры, а история как «жизнь народов и человечества». Он всю жизнь и посвятит этой цели: не историк — великий писатель. Художник и мыслитель — вместе.

«Эпиграф к истории я бы написал: “Ничего не утаю”. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая».

«Ничего не утаю»... Этим словам суждено стать эпиграфом, программой всей его жизни, его творчества, деятельности его на всех и всяких поприщах.

Человек в своем поведении, в своих отношениях с другими людьми и с самим собой постоянно, хочет того или нет, решает вопрос: быть или казаться? Толстой смолоду выбирает: *быть*.

Александра Андреевна Толстая вспоминает: «Он страшно боялся быть неправдивым не только словом, но и делом, что, однако ж, иногда приводило к совершенно противоположному результату.

Так, например, приглашенный один раз к моей сестре на вечер, где должно было собраться довольно многочисленное общество, утром этого дня Лев написал мне, что быть к нам не может, — только что получив известие о смерти брата. (Братьев своих он любил страстно.) <*Речь о Дмитрии Николаевиче Толстом, умершем первым из четверых в январе 1856 года.*> Разумеется, я отвечала ему, что совершенно его понимаю.

И что же? Вдруг он является на вечер как ни в чем не бывало.

Это появление взволновало меня до негодования.

— Зачем вы пришли, Лев? — спрашиваю я его потихоньку.

— Зачем? Потому что тò, что я написал вам сегодня утром, было неправдой. Видите, я пришел, следовательно, я мог прийти.

Мало того, через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр.

— И вероятно, вам было очень весело, — говорю я ему с еще большим негодованием.

— Ну нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе. Будь тут пистолет, я бы непременно застрелился...»

Он боялся солгать другим, себе, преувеличивая свое горе. Мучил себя, чтобы случайно *не казаться тем, кем не был на самом деле.*

Человек, испытывающий себя...

«— Хочу проверить себя до тонкости, — говорил он», — вспоминает Александра Андреевна Толстая.

Делай, что должно

Весной 1847 года Толстой делает первую запись в дневнике. Он будет вести дневник, с перерывами, иногда значительными, шестьдесят три года. Последние строки дневника — 3 ноября 1910 года, в комнате начальника станции Астапово, за три дня до смерти: «Ночь была тяжелая... Вот и план мой. Fais ce que doit, adv...» Запись обрывается на недописанном французском изречении, которое Толстой усвоил смолоду: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

Смолоду и до этих своих последних часов Толстой со всем напряжением ума и души ищет, что должно делать. Дневник с первой страницы заполнен правилами. Составляются правила «для развития воли телесной», «воли разумной», «воли чувственной», «для развития памяти», «умственных способностей» и т.д. Жизнь внутренняя и внешняя, учение и практический труд, идеалы и повседневность — всё этот проверяющий себя молодой человек готов определить и сопрячь в правилах. Но первая же страница дневника честно итожится: «Легче написать десять томов философии, чем приложить одно какое-нибудь начало к практике».

В «Исповеди», над которой Толстой будет работать в конце 70-х — начале 80-х годов, он с позиции нравственной безжалостно перечеркнет свою юность и молодость:

«Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня

хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны... Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком...»

Читая, ни на минуту не забудем беспощадную требовательность, с которой Толстой к себе относится. (Следом за приведенными строками он признается, что и писать стал из тщеславия, корыстолюбия и гордости, что в писаниях своих был так же безнравственен, как и в жизни, — это про «Детство», «Отрочество», «Юность», про «Казаков», про севастопольские рассказы, главный герой которых, по замыслу Толстого, «герой, который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».) Эта сокрушающая все возможности оправдания требовательность к себе у него — смолоду.

Заведя дневник, он однажды записывает для себя как правило: *без чрезмерностей.* Все было, конечно, и тщеславие, и гордость, и гнев, и «любострастие», и иные «страсти», но Толстой (в отличие от Наполеона с его пирамидами) и судит себя всегда чрезмерно.

Кроме обычного *(для Толстого* — обычного) дневника, он заводит «журнал для слабостей», или «франклиновский» — по примеру известного американского политического деятеля и ученого Вениамина Франклина, который ежедневно отчитывался перед собой в тетради в своих недостатках и проступках.

Молодой Толстой, похоже, не в состоянии быть довольным собой. Мало работал — дурно. Много работал — тоже дурно: «писал не только без увлечения, но с какой-то непреодолимой ленью». Наконец кончил то, что писал, и: «едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, но... бросить все литераторство; потому что ежели вещь, казавшаяся превосходною в мысли, — выходит ничтожна на деле, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта...»

«Главный мой недостаток»... Нетерпимость... Нескромность... Неосновательность... Непостоянство... (Не... не... не...) Тяжелый характер. Излишнее самолюбие. Тщеславие...

И так по всему дневнику молодости: «Смотрелся часто в зеркало». «Много рассказывал про себя, *желание выказать».* «Вечером читал без системы, *необдуманность».* «Выписок не делал, *лень».* «Живу совершенно скотски»...

Но вот в записях Толстого появляется исполненное для него глубокого смысла, более того — исполненное *дела* слово: *усовершенствование:* «Невольно, как только я остаюсь один и обдумываю самого себя, я

возвращаюсь к прежней мысли — мысли об усовершенствовании; но главная моя ошибка — причина, по которой я не мог спокойно идти по дороге, — та, что я усовершенствование смешивал с совершенством».

Все дурное о себе в его молодых дневниках (да и в старых тоже — за три месяца до смерти записывает: «Редко встречал человека, более меня одаренного всеми пороками»!), все в дневниках заострено, преувеличено, но именно в заострении, преувеличении — непрощении себя! — залог усовершенствования, движения к идеалу.

Много позже Толстой напишет, что идеал тогда идеал, когда представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему — бесконечна. Без того, чтобы биться, ошибаться, бросать и начинать сначала, без этого не обойтись, главное — не сбиться с общего курса, не утратить нравственный компас в своей душе.

Усовершенствование себя — *нравственное самоусовершенствование* — как начало усовершенствования жизни общей составляет одну из важнейших основ *толстовского учения*.

В последней книге Толстого «Путь жизни» читаем: «Жизнь каждого отдельного человека только в том, чтобы становиться с каждым годом, месяцем, днем всё лучше и лучше. И чем люди становятся лучше, тем они ближе соединяются друг с другом. А чем ближе соединяются люди, тем жизнь их лучше».

Глава 6
КТО-НИБУДЬ СУМАСШЕДШИЙ

Новый взгляд

Так назовет Толстой одну из начальных главок «Отрочества». Он расскажет в ней о моральной перемене, которая обозначила сменившую детство эпоху развития. «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании».

Здесь, в этом отроческом открытии, многое заложено. Осознание того, что ты не один в мире, что вокруг великое множество людей и жизнь каждого из них ничуть не менее значима, чем твоя. И вместе — потребность понять то общее, что есть во всех этих занятых каждый собственной жизнью разных людях в разных концах мира, найти средство связать, соединить их. С этими мыслями, которые он постоянно будет воплощать в слове и деле, Толстой проживет всю жизнь.

В каждом человеке такая же душа, как и во мне, в каждом человеке живет то же самое, что живет во мне. Все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены общим духовным началом, которого они часто сами в себе не находят, не распознают. Человеку, пока он живет животной жизнью, кажется, что если он отделен от других людей, то это так и надо, что иначе и быть не должно. Но как только человек начинает жить духовно, ему становится странно, непонятно, даже больно, зачем он отделен от других людей, и он старается соединиться с ними.

«Новый взгляд», открытие, сделанное ребенком, когда, покинув отеческий дом, он едет в бричке по большой дороге, проезжает деревни и города, видит окна домов, в которых живут такие же люди, как он, такие же семейства, как его собственное, когда навстречу то и дело попадаются мужики, женщины, дети, которые с минутным любопытством смотрят на проезжающую бричку, на него, в этой бричке сидящего, а то и попросту не удостаивают проезжих даже взглядом, — это открытие ребенка (вот только что ребенок — Лев Толстой) окажется задачей на всю жизнь: как соединить людей, как самому всем существом, внутренним и внешним, слиться с ними? Перед

смертью он продиктует младшей дочери Александре Львовне, чтобы занесла в его дневник: «Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью».

Строки постыдные

«...У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыты скотины...»

Толстой пишет это в 1865 году — время полного преуспеяния, во всем. Он с головой в «Войне и мире», хозяйство крепнет, дети рождаются, слава растет. До его «обращения», как это тогда назовут, до первых религиозно-нравственных и философских трудов, в которых он, усмиряя подчас свое стремление к художественному и вместе открывая для своего творчества новые горизонты, скажет всем о том, что жжет его сердце, еще полтора десятилетия. Но не одни уясняемые разумом истины — совесть не дает покоя, среди народных бедствий понуждает со стыдом и ненавистью смотреть на желтое сливочное масло, поставленное перед ним в расписной посуде.

В любимом его стихотворении Пушкина «Воспоминание»:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю,

— он, для себя, хотел бы изменить одно слово: вместо «строк печальных» — «строк *постыдных*».

В Москве Толстой встречает ночью девочку-проститутку, городовой с бранью и пинками ведет ее отсиживать до утра в холодную камеру. — «Я пошел на чистую и покойную постель спать и читать книжки (и заедать воду смоквой)»...

Рано по утрам он слышит непонятные фабричные свистки. Ему объясняют: это на соседней фабрике будят спящих вповалку в сыром подвале рабочих, между ними и мальчиков, чей труд особенно дешев; маленькие рабы пятнадцать часов в день стоят у гудящих машин. — «Вот что значат свистки, которые мы слышим в постели»...

Он узнает, что в ночлежке от голода и холода умерла молодая, бездомная прачка. — «Я пошел туда. В подвале гроб, в гробу почти

раздетая женщина с закостеневшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьякон читает что-то вроде панихиды. Я пришел любопытствовать».

И следом: «Мне стыдно писать, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено несвежим...»

Он называет русского мужика самой юной своей любовью, говорит, что без мужика с тоски бы умер, а в московских его комнатах кресла по 22 рубля каждое: такие деньги составили бы счастье мужика, на них лошадь можно купить, корову. В городе его жена и дочь отправляются на бал в 150-рублевых платьях, — для крестьянской семьи «выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни».

Он места себе не находит: не могу жить в роскоши... Родные, знакомые, биографы приглашают осмотреть Ясную Поляну, московский дом в Хамовниках. И правда, комнаты, обстановка, всякий предмет, что попадается на глаза, — все скромно, просто, даже бедновато на взгляд. Василий Васильевич Розанов, оглядевшись в Ясной Поляне, — хорошо об этом: Анна Каренина здесь бы танцевать не стала. Ольга Николаевна Мечникова, жена известного ученого, посетив с мужем Ясную (об этом посещении речь впереди), сообщит в письме к подруге, что «дом Толстых похож на все помещичьи дома средней руки, но выделяется своей простотой. Мебель самая необходимая, старая, лишь бы на чем было сидеть. Никакого стремления ни к роскоши, ни даже к изяществу. Все — и стены, и полы, и обстановка, видимо, бесконечно давно не были возобновлены и стоят так, пока совсем не перестанут быть годными. Как все это далеко от того, что рассказывают про роскошь и непоследовательность Толстого». Но для него суть не в роскоши быта и вещей, как таковой, суть в сравнении, сопряжении собственной жизни и жизни вокруг.

«Сидим на дворе, обедаем десять кушаний, мороженое, лакеи, серебро, и приходят нищие, и люди добрые продолжают есть мороженое спокойно. Удивительно!!!!»

И опять: «Вчера жрут пятнадцать человек блины, человек пять, шесть семейных людей бегают, еле поспевая готовить, разносить жранье. Мучительно стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камень *<ремонт шоссе>,* точно меня сквозь строй прогнали».

Софья Андреевна и понимает его, и вместе не понимает: «Много зла на свете, и всё его мучает». Запись можно толковать в противоположных смыслах: то ли сообщает, даже с одобрением, страдая за него, то ли осуждает как нечто несуразное (не может же он один одолеть все зло в мире). Скорей всего, оба смысла в ней и высказаны.

Дочь Александра Львовна — она близка с отцом в последние его годы, чутко улавливает его мысли и устремления — через два десятилетия после смерти отца подводит итог: Толстой из тех людей, которые «всегда всем обязаны, всегда перед всеми виноваты».

Сам же Толстой говаривал: только человек, не живущий духовной жизнью, никогда не виноват.

Статью «Не могу молчать» он пишет после подавления революции 1905 года, узнав о повешении двадцати крестьян за нападение на помещичью усадьбу. Вся нестерпимость его положения в том, что он, давно отрекшийся от правительства, убежденный, что озлобленные люди, которых ведут на эшафот, «произведены» самим же правительством, жестоким, бессовестным угнетением и ограблением народа, вынужден признать, что его покой, возможность в безопасности писать статьи и есть мороженое, что этот покой действительно обеспечен насилием, которое совершают власти. «Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду». Он просит освободить его от нынешнего мучительного положения — посадить в тюрьму, где он ясно сознавал бы, что все эти убийства, казни совершаются не ради него, не ради обеспечения его покоя. Или, «что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье)», надеть на него, как и на тех приговоренных к смерти крестьян, саван, колпак и так же столкнуть с скамейки, «чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

Люблю истину

1 марта 1881 года революционерами убит царь Александр Второй. Суд над убийцами, ожидание казни — одно из сильнейших впечатлений в жизни Толстого. Он не хочет верить, что преступников казнят, страдает не только за них, но и за их будущих палачей.

Во сне его мучает кошмар: ему грезится, будто он одновременно приговоренный, приведенный на эшафот, и палач, совершающий казнь. (Однажды ему снится схожий по психологической ситуации сон: он видит себя одновременно Христом и воином, который Христа казнит.)

Он убежден в необходимости — «обязан перед своей совестью» — написать царю. Он просит нового царя явить миру величайший пример исполнения учения Христа — простить убийц: «Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними... Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала, включал бы в себя их идеал... Есть только один идеал, который можно противуставить им... — идеал любви, прощения и воздаяния добром за зло».

Несколько месяцев спустя (убийцы уже казнены) обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев отвечает Толстому: «...Ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и... наш Христос — не ваш Христос».

Вера Толстого в самом деле совершенно иная, нежели та, которая осуществляется в постоянной практике церкви. И христианство, как он его понимает, потратив годы на изучение трудов отцов церкви и религиозных писателей, сильно отличается от того, что принято именовать этим словом.

«Смущало меня больше всего то, что все зло людское — осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны, все это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением».

Христианство, как понимает его Толстой, это прежде всего постоянное увеличение в себе (а значит и в мире) любви к людям. «Есть и было, и всегда будет это дело, и одно дело, на которое стоит положить всю жизнь, какая есть в человеке. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли люди между собой». Надо ли удивляться, что те, кто захватил власть в мире, не могут смириться с таким, единственно верным пониманием учения, которому на словах следуют: они чутьем видят, что это – «учение, под корень и верно разрушающее все то устройство, на котором они держатся».

Конечно, люди еще долго не перестанут воевать между собой, порознь и целыми народами, конечно, необходимо охранять жизнь и труды свои, и близких, и других людей, не так-то просто пробудить в нападающем злодее добрые чувства, даже если ты сам добр, и разумен, и действуешь любовью. Так устроена сегодня наша жизнь, и лишь в долгой духовной работе каждого из нас видит Толстой надежду переделать ее основания.

Зло расходится по миру, как движение, передаваемое упругими шарами от одного шара другому, пока не встречается с силой, поглощающей его. Такая сила — непротивление злу злом. Добро непротивления не дает накатившемуся злу ответного толчка, — останавливает движение.

О том, как зло катится по миру, Толстой хотел написать — не дописал — в повести «Фальшивый купон». Два подростка-гимназиста подделали мелкую денежную бумажку — переходя из рук в руки, она творит все новое, все большее зло, губит людские судьбы и жизни. В повести появляется неимущая, старая женщина, пожалевшая убийцу, прежде чем он полоснул ее ножом по горлу: «Пожалей себя...» Эти слова заставляют убийцу задуматься о своей жизни, о жизни людей вокруг, в свою очередь принесших ему, убийце, много зла. Во второй, недописанной части повести добро, поглощая зло, начинает катиться как бы в обратном направлении.

— Удивительное дело, — скажет на закате дней Толстой, — все только и знают, что я призываю к непротивлению. А я двадцать пять лет зову к величайшему сопротивлению злу.

Толки о толстовском непротивлении теряют смысл, если в них утрачено важнейшее слово — *насилием.*

Толстой связывает свое «обращение», духовный перелом, в нем произошедший после многих лет напряженных размышлений о смысле жизни и пути ее, с открывшимся ему в первый раз сознанием возможности братства людей и ужасом перед той небратской жизнью, в которой он застал себя. Тут снова необходимое ему — *в первый раз* и не менее необходимое — *себя:* открытие должно сопровождаться ожогом совести.

В «Ответе на определение Синода» об отлучении его от церкви Толстой обозначит вехи пройденного пути: «s начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете».

Кто-нибудь сумасшедший...

Есть у Толстого рассказ «Свечка»: злого приказчика, мучителя крестьян, побеждает самый тихий и безропотный мужик, — он покорно пашет свое поле, ходит за сохой и поет тонким голосом.

Но сам Толстой «петь тонким голосом» не умеет.

Духовный его перелом являет себя во всем — в образе жизни, в творчестве и отношении к творчеству, в желании изменить семейный уклад, в проповеди учения, которой он отдает много времени и сил. Толстой не устает повторять: не он, не Толстой, «сочинил» учение, которое он проповедует. На протяжении веков, тысячелетий даже, человечество в лице лучших своих представителей несло в душе мечту о братстве всех людей на земле. Все так, но немногие звали к этому с такой убежденной сосредоточенностью, как Толстой.

Зимой 1880 года он проводит несколько дней в Петербурге. Его новое умонастроение, конечно же, не остается незамеченным. Он, впрочем, и не считает нужным скрывать его, наоборот, всюду, где появляется, горячо, убежденно говорит о нем. Один из друзей сообщает ему вдогонку, после отъезда, что в столице все толкуют о его «обращении», понимая это «обращение» в духе чего-то противного разуму.

Вскоре во время празднеств, посвященных открытию памятника Пушкину в Москве, на которые Толстой не поехал, среди литераторов ходят упорные слухи, что он сошел с ума. Достоевский так и пишет жене из Москвы: «О Льве Толстом... Слышно, он совсем помешался».

Софья Андреевна, некоторые из ближних также считают стремление Льва Николаевича следовать своим убеждениям, да и самые убеждения, — «болезнью». Извещая брата о продолжении работы над религиозно-философскими сочинениями, Толстой, повторяя суждение домашних, пишет: «Я все так же предаюсь своему сумасшествию...»

В «Исповеди» он говорит: между прежней его жизнью (которой продолжают жить тысячи людей) и сумасшедшим домом нет никакой разницы. Теперь, когда он все дальше следует новым путем, разрабатывая и проповедуя учение, то же духовное отчуждение дома, в семье: «точно я один несумасшедший живу в доме сумасшедших».

У себя в зале слышит беседу домашних с гостями — записывает:

«Начали разговор. Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо, народ как бы не взбунтовался — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом вперемешку разговор о блуде — с удовольствием».

И — с новой строчки:

«Кто-нибудь сумасшедший — они или я...»

Задуманный им рассказ о человеке, который понял, что нельзя дальше жить по-прежнему, что надо жить по Евангелию, в братстве со всеми людьми, не основывая своей выгоды на нищете и горе других, и за это признан в своем кругу ненормальным, Толстой в рукописях называет то «Записками сумасшедшего», то «Записками несумасшедшего»...

«Если покопаешься, найдешь эгоизм»

Весной 1884 года, как раз в те дни, когда задумывается рассказ, наверно, и в связи с тем, что — задумывается, Толстой читает некоторые работы о душевных заболеваниях, более всего статьи в журнале «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», который издает его знакомый, профессор Харьковского университета по кафедре психиатрии и нервных болезней Павел Иванович Ковалевский. Это чтение по-своему высвечивает для него все то, что происходит в его личной, домашней жизни. В эту пору семейный разлад, раскол, связанный с его желанием жить не по-принятому, а в соответствии со своими убеждениями, становится очевиден. Именно в эту пору он помечает в дневнике, что «лопнула струна», соединявшая его с Софьей Андреевной, пишет об отсутствии любимой и любящей жены.

Он пишет о семейном разладе: «Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни — я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство — я ворчливый старик...»

Семья смотрится моделью мира, в котором безумие взглядов и поступков — норма, всякая же попытка отказаться от этого безумия, вести нормальную жизнь — «сумасшедшее дело». «Я боялся говорить и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого... Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно». Но люди, привыкшие к своим безумствам — к праздной, роскошной жизни за счет других, которые трудятся и бедствуют, чтобы обеспечить им такую жизнь, — не слышат разумных доводов; более того, искренно полагают безумным того, кто эти доводы им предлагает. Семейные ссоры заканчиваются тем, что сумасшедшим объявляется Лев Николаевич.

Он выходит на улицу — узнает про женщину, умершую от голода в ночлежном доме, встречает девочек-проституток, которым и пятнадцати не исполнилось, на плацу солдаты палят из ружей, учатся убивать людей. «А опять солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит, опять Бог говорит: живите счастливо». *Безумный, больной мир...*

Эта двойственность суждения — «кто-нибудь сумасшедший, они или я», творчески выразившаяся в равноценности возможного названия для рассказа — «Записки сумасшедшего» или «...несумасшедшего», как и набранные в течение жизни наблюдения, которые он толкует посвоему, приводят его к убеждению, «что от идеального, вполне здорового человека — которого нет — до самой высшей степени психического расстройства есть постепенная градация, и черты, отделяющей больного от здорового, провести нельзя»: «Я встречал часто людей, считавшихся сумасшедшими, которые, на мой взгляд, не были сумасшедшее людей, считавшихся здоровыми».

(Это убеждение подкрепляется, например, психиатрической экспертизой, назначаемой некоторым его последователям, отказавшимся от военной службы, содержанием в сумасшедших домах сектантов, отказавшихся от догм и ритуалов официальной церкви, насильственное помещение в них людей, по каким-либо причинам кажущихся подозрительными: «существование таких домов, в которых насильно можно запирать и держать людей, ... будет через 50 лет для наших потомков предметом ужаса и недоумения».)

Лев Николаевич останется при своем мнении о сложности градации и когда познакомится с пациентами психиатрических больниц, которые он будет посещать с неизменным интересом.

В одной из них его познакомят с больным крестьянином, захваченным революционными идеями. Когда кто-то скажет про него, что он что-то украл (у имущего), больной возразит: «Не украл, а взял». Прощаясь, Лев Николаевич скажет ему: «Увидимся там». Он снова возразит: «Есть только один свет, другого нет». Толстому он покажется «умнее тех, которые его держат».

С другим пациентом он основательно поговорит о политике. Врач, чтобы показать Льву Николаевичу степень заболевания собеседника, вступит в разговор:

— Но вы скажите, кто вы.

— Я — Петр Великий.

И с вызовом замолчавшему Толстому:

— Да, я Петр Великий... Вы считаете меня душевнобольным?

— Не считаю никого душевнобольным... Мне просто жалко, что вы говорите толково, умно, а теперь говорите неосновательно.

— Но вы не знаете нашего консервативного правительства... — возвратится к теме беседы больной.

И Лев Николаевич так же всерьез закончит разговор:

— Мы с вами не столкуемся. Злом делать добро нельзя...

Осознание мира больным, безумным побуждает Толстого уже и с точки зрения медицинской искать причину того, что именуется душевными болезнями, их общий, основной признак. Безумие мира будет побеждено, когда каждый человек искренно захочет служить другим, поначалу хотя бы перестанет требовать от других, чтобы они служили ему. Душевная болезнь возникает с преувеличенно любовным отношением к себе самому. Наиболее точно Толстой сформулирует свое мнение, когда познакомится с книгами, присланными ему французским невропатологом Полем Августом Солье, — формулу ему не французский ученый подскажет, он сам ее смолоду выносил и так или иначе беспрестанно повторяет, но, получив книги, выведет непререкаемо строго:

«У меня теория, что сумасшествие — эгоизм. Сумасшедшие — люди, занятые самими собой; есть предел, за которым считается занятие самим собой сумасшествием. И самый крайний предел сумасшествия — мания величия. Утрата умственных сил. Есть и другие причины — испорченность мозга, как при прогрессивном параличе».

На возражение дочери Татьяны Львовны, что сумасшествие — не всегда эгоизм, он повторит упрямо: «Если покопаешься, найдешь эгоизм». И прибавит: «Между человеком и другими есть связь, которая держит человека. Когда она эгоизмом уничтожится, человек теряет равновесие».

Научные поиски Толстого непременно связаны с поисками нравственными.

Скорбный лист

В начале 1880-х годов в яснополянском доме на площадке под лестницей появляется так называемый «Почтовый ящик». Каждый из обитателей Ясной Поляны, домашних и гостей, имеет право написать что ему угодно — рассказ, заметку, стихи, письмо, шутливую статью на

любую тему, — и бросить в ящик. По воскресеньям, вечером, ящик торжественно отпирается, все, накопившееся в нем за неделю, приносится в залу и читается вслух у круглого стола. Многие листки, которые находят в «Почтовом ящике», исписаны рукой Льва Николаевича.

Среди них — довольно большого объема «документ», названный: «Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя». В давнее время «скорбным листом» называли «историю болезни».

Душевнобольным № 1 значится в бумаге сам Л.Н.Толстой.

По объяснению сына, Сергея Львовича, Толстой написал здесь то, что, по его мнению, думают о нем другие. Ведь сам-то он прежде всего осуждает себя. Это, кстати, вычитывается и в «скорбном листе»: называя признаки «болезни», Лев Николаевич упоминает и такие, которые, без сомнения, вызывают собственное его неудовольствие.

Перечень средств лечения — упрек близким. Толстого тяжело ранит их отношение к тому, что сам он считает главным делом своей жизни. Именно равнодушия страшится он более всего. Он хочет говорить с Голгофы, хочет огонь свести на землю, он убежден — мир рухнет, если он замолчит. Оттого и трудится неустанно над своей проповедью исправления мира, часто отказываясь ради этого от работы художественной, которая, по мнению многих, и прежде всего домашних, по-настоящему поглощала бы переполняющие его духовные силы.

«Душевнобольной № 1»

№ 1. Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Weltverbesserungswahn» <*мания исправления мира*>. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всеми существующими порядками, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищенье и шитье сапог, кошение травы и т.п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

«Я не болен, но постоянно болею».
Лев Толстой

Глава 1
ОДНА ДУША ВО ВСЕХ

Расчеты

Родители Толстого долгожителями не были. Мать умерла сорока лет, отец — сорока трех.

Век деда по отцовской линии, Ильи Андреевича Толстого, — 63 года, по материнской, Николая Сергеевича Волконского, — 68. Бабушка, мать отца, Пелагея Николаевна Горчакова, единственная из предков, кого застал Лев Николаевич, протянула до 76-ти. А вот мать матери, Екатерина Дмитревна Трубецкая, как и ее дочь, ушла из жизни молодой, в 43 года.

Зато оба прадеда по отцу — молодцы: 82 и 86! Лев Николаевич в них, должно быть.

Сроки жизни, отпущенные Льву Николаевичу и трем его братьям, как бы поделены, «через одного»: старший брат, Николай, и третий, Дмитрий, умирают молодыми — 37-ми и 29-ти лет, второй брат, Сергей, и сам Лев Николаевич, младший, узнают возраст старости (Сергей Николаевич доживет до 78-ми, Лев Николаевич, как знаем, до 82-х).

Единственная сестра четырех братьев, Мария Николаевна, как и Лев Николаевич, успевает перешагнуть порог 82-летия.

Ломброзо и Катюша Маслова

В «Воскресении» Нехлюдов, обедая у Корчагиных, никак не в силах отделаться от неприятного впечатления, которое производит на него широкий ноготь большого пальца его невесты, напоминавший такой же ноготь ее отца. Но когда короткое время спустя заходит разговор о наследственности, он, на вопрос, верит ли в наследственность, решительно отвечает: «Нет, не верю».

Нехлюдов приезжает к Корчагиным прямо из судебного заседания, — там, после многолетнего перерыва, он вновь встретил Катюшу Маслову, девушку, некогда им совращенную. Теперь Маслову, уже проститутку, обвиняют в отравлении «гостя», богатого купца. Товарищ прокурора в своей речи помечает обвиняемых ярлыками наслед-

ственности. Главной движущей силой преступления он объявляет Катюшу. Хоть она и воспитанница, выросшая в интеллигентной дворянской семье, притом весьма образованна, она, по мысли прокурора, не в силах побороть «зародыши преступности», которые изначально, от рождения, несет в себе, не в силах не предаться «врожденным страстям». В речи прокурора упомянуты прирожденная преступность, теория Ломброзо...

Чезаре Ломброзо, итальянский криминолог, утверждал, что преступниками не становятся, а рождаются, что преступность — наследственно приобретенное свойство определенного типа личности.

В 1897 году («Воскресение» еще не завершено) Ломброзо, участник московского съезда криминалистов и психиатров, приезжает в Ясную Поляну познакомиться с Толстым. Шумно модный в ту пору ученый не вызывает у Толстого интереса: «ограниченный, наивный старичок» («старичок» семью годами младше Льва Николаевича). В нескольких письмах Толстой характеризует гостя как человека «малоинтересного», даже «не полного».

Для Нехлюдова «верить» в наследственность через час после всего, что он слышал в заседании суда, значит согласиться с виновностью Катюши уже по одному тому, что ее матерью была дворовая женщина, каждый год рожавшая от разных мужчин, а отцом случайно забредший в деревню цыган.

В дневнике 1891 года Толстой отмечает спор с сыном Львом, частым оппонентом отца. Сын не сомневается в существовании и важной роли наследственности. Толстой не в силах признать это. «Для меня признание того, что люди не равны по своей внутренней ценности, все равно, что для математика признать, что единицы не равны. Уничтожается вся наука о жизни».

Уничтожается вся наука о жизни, — если признать, что люди рождаются с неравными возможностями совершенствоваться, двигаться к нравственному идеалу.

Предки мои

Но Толстой, как никто другой, пристально всматривается в людей, вдумчиво изучает их, глубоко и пластично понимает их побуждения, замыслы, поступки, — ему ли не видеть, не знать, не убеждаться всякий день и час, что при той общности, которая роднит, объединяет самых несхожих, самых — по всем признаком — далеко один от другого отстоящих людей, они не математические единицы, что каждый человек — особый мир, и эту свою особость обретает не только в ходе воспитания и общения, но и получает от рождения, по наследству.

Ему довольно задуматься о четырех братьях Толстых, чтобы лишний раз убедиться в этом. Братья, за исключением Николая (он появился на свет в 1823-м, тремя годами старше следующего) — погодки (родились в 1826, 1827 и 1828 годах), росли и воспитывались, образно выражаясь, в одинаковых обстоятельствах места, времени и образа действий. В воспоминаниях Толстой напишет об особости, несхожести каждого из братьев. Но эта особость не мешает всем четверым быть *Толстыми*.

Он пишет родственнице и другу Александре Андреевне Толстой: «В вас есть общая нам *толстовская дикость*». Александра Андреевна — пожизненно фрейлина при императорском дворе, лавирует в сложнейшей придворной дипломатии, а вот разглядел нечто — *толстовское*.

Из письма ясно, что *дикость* для Льва Николаевича в том, что они, Толстые, сильно «одарены человеческими страстями». В «Анне Карениной» Левину, столь близкому автору, собеседник бросает: «Вы все, Левины, *дики*». И объясняет: «Ты всегда делаешь то, что никто не делает».

В дневниках все тем же общим словом *дикие* Толстой подчас определяет и своих сыновей, отлично сознавая их несходство между собою.

Даже общее знакомство с натурой каждого из четырех братьев Толстых, с путями, избираемыми каждым в жизни (это, подчас еще больше, относится к единственной сестре) выявляет в них людей, делающих то, «что никто не делает» — «самобытных, с особыми взглядами». Но, принимаясь рассказывать о себе, о братьях, Толстой видит всех в общей системе рода, носителями пусть меняющихся, обретающих в каждом свои индивидуальные черты, но определенных передаваемых потомству признаков.

Уже в поздние годы Толстой просит сделать для него складную настольную ширму — на ней, в указанном им самим порядке размещены некоторые из хранящихся в доме миниатюрных портретов его предков и родственников. Ширма стоит в кабинете, он любит ее рассматривать. Он собирает предания рода, интересуется деяниями предшественников, особостью личности каждого и судьбы. «Вспоминать предков — отцов, дедов, прадедов моих, мне... особенно радостно», — когда Толстой писал это, вряд ли думал лишь отстраненно о достоинствах отцов, дедов, прадедов, важно, что все — *предки мои!*..

«Что такое порода? — размышляет он. — Черты предков, повторяющиеся в потомках. Так что всякое живое существо носит в себе все черты (или возможность их) всех предков... и передает свои черты, которые будут бесконечно видоизменяться, всем последующим поколениям. Так что каждое существо, как и я сам, есть только частица какого-то одного, временем расчлененного — существа бесконечного. Каждый че-

ловек, каждое существо есть только одна точка среди бесконечного времени и бесконечного пространства. Так я, Лев Толстой, есть временное проявление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых и т.д. Я частица не только временного, но и пространственного существования. Я выделяю себя из этой бесконечности только потому, что сознаю себя».

Одна душа во всех

Пятью годами позже записи, где Лев Николаевич объявляет решительно, что принять наследственность значит для него уничтожить всю науку о жизни, в дневнике снова отмечен состоявшийся спор на ту же тему, взволновавший Толстого. Спор как раз о том, что не может принять Нехлюдов, слушая в речи товарища прокурора о Катюше. «Говорят: от алкоголика родятся порочные люди», — обозначает Толстой суть спора.

Он обрывает дневниковую запись: не может «ясно выразить своей мысли». Но в записной книжке, куда часто, «на ходу», заносится первая мысль, еще ждущая разработки, он продолжает незавершенный разговор: «Наследственность есть, но до каких пределов допускать ее действие? Так же, как влияние физического на духовное есть, но до каких пределов допускать действие физического?».

Скорее всего, спор возник в связи со статьей о пьянстве, против пьянства, которую писал в те дни Толстой. Рубеж между Толстым и теми, кому он возражает, видимо, в оценке понятия «порочные люди». Для Толстого порок, вызываемый пьянством, — физический недостаток: беда алкоголизма в появлении огромного количества больных людей. От потребления вина, пишет он, гибнет больше народу, чем от всех войн и заразных болезней вместе. Для спорящих с ним «порочный» — понятие нравственное, точнее — безнравственное.

Тут противоречие в том, что, как полагает Толстой, само пьянство вызвано потребностью забыть о пороке, о нравственных началах, о совести. По мысли Толстого, порочно жить без идеала, как живут сотни так называемых «порядочных», обеспеченных и не от алкоголиков родившихся господ, как живет его окружение, его собственные младшие сыновья (об этом — в соседней дневниковой записи). Порочно разбирать у рояля сонаты Бетховена, когда 80-летний крестьянин вынужден от зари до зари ходить с сохой, чтобы не помереть с голоду, когда в крестьянском дворе на все семейство один кафтан. Со временем, с *уяснением мысли* (как часто выражается Толстой) наследственность как таковая уже не отрицается. Она перестает мешать науке о жизни. Единство людей рассматривается в другой системе, Толстой обозначает ее — *одна душа во всех*. Родовая наследствен-

ность меркнет перед наследственностью общечеловеческой. «Мало сказать, что в каждом человеке такая же душа, как и во мне: в каждом человеке живет то же самое, что живет во мне. Все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены тем одним духовным началом, которое дает жизнь всему».

Мать

Мать Толстого, княжна Мария Николаевна Волконская, — женщина своеобычная. «Нехороша собой» (определение самого Льва Николаевича), «очень некрасива и неграциозна» (это Софья Андреевна, еще резче, со слов старшей родни), с тяжелой походкой, «на пятках», но одаренная высокой, всеми замечаемой духовностью. Княжна Марья в «Войне и мире» многое от нее возьмет, не одно лишь имя.

Богатая и знатная невеста, она засиделась в девушках и выходит замуж лишь после смерти отца, боевого генерала, опытного, умного вельможи екатерининского времени. Выйдя в отставку и овдовев, князь Николай Сергеевич Волконский живет в Ясной Поляне и отдает много времени и сил воспитанию единственной дочери.

Мария Николаевна явно отличается образованием от большинства дворянских барышень своего времени. Четыре языка, фортепьяно, «художество» — это подчас встретишь и у иных ее сверстниц, но она к тому же знакома с классической и современной литературой, европейской и всемирной историей, греческой и римской мифологией, а также, благодаря отцу, с точными — «положительными» — науками, интересуется самыми разнообразными сведениями из экономики и хозяйства. В Петербурге, куда привозит ее отец, она не только отдает дань признанным достопримечательностям, посещает картинную галерею Эрмитажа, в театре смотрит пьесы Корнеля и Бомарше, но совершает к тому же экскурсии, для светской девушки необычные — в литейную мастерскую, на стеклянный и фарфоровый заводы, ткацкую и шпалерную фабрики.

Она склонна к точности, подсчетам, систематизированию. Заносит в тетрадь данные о видах хлебных растений, их употреблении. Составляет опись яснополянского сада, где с точностью до одного дерева подсчитаны имеющиеся яблони всех сортов. На пути в Петербург последовательно отмечает проделанное от одного пункта до следующего расстояние, число крестьян в проезжаемых деревнях, состав почвы и урожаи на лежащих по дороге полях. Занимаясь со старшим сыном Николенькой, единственным, в воспитании которого успела, хотя и недолго, но деятельно участвовать, ведет подробнейший «журнал поведения», мальчику ежедневно выдаются особые билетики, где отмечаются его успехи в чтении.

Со слов близких, Толстой сообщает, что мать была «большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа».

Однажды, говоря об этой особенности матери, Лев Николаевич прибавляет: она «превосходно рассказывала сказки, если это происходило в темноте, при свете она стеснялась». Подробность для Толстого очень важная: «обдумывая» дорогой для него образ матери, знакомой ему лишь по ее бумагам, по устным рассказам и воспоминаниям людей, ее знавших, он выявляет как особую, присущую ей духовную ценность ее скромность: она старалась скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые имела перед другими людьми; она как будто стыдилась этих преимуществ.

Называя душевные достоинства матери, Толстой с особенным, восторженным уважением говорит о ее равнодушии к тому, как судят о ней другие, но вместе о ее нежелании, может быть, даже неспособности самой осуждать кого-либо. Черты для Льва Николаевича тем более дорогие, что он не находит их у себя (наследственность «не сработала»).

В церковной книге причина смерти Марии Николаевны — «горячка». Очевидица печального события уточняет: «нервная горячка» и указывает, что болезнь продолжалась всего несколько дней. Сам Лев Николаевич (на основании каких-то известных ему данных) пишет, что мать умерла вследствие родов.

Между рождением младшего ребенка, сестры Марии, и смертью матери — пять месяцев, вряд ли родильная горячка, в ту пору частая, тянется так долго. Софья Андреевна, наслышанная от тетушек мужа, сообщает, что после родов у Марии Николаевны сделалось душевное расстройство. Читая, она держала книгу верхним концом вниз. О том же, со слов своей няни, рассказывает и сестра Льва Николаевича: «Мать умерла от воспаления мозга. Она вдруг стала говорить Бог знает что, сидела — читала книгу — книга перевернута вверх ногами».

Некоторые полагали, что началом болезни послужил несчастный случай. Мария Николаевна любила качаться на качелях и просила, чтобы раскачивали как можно выше. Однажды доска качелей сорвалась и ударила ее по голове. Она долго стояла неподвижно, держась за ушибленное место. С той поры у нее постоянно болела голова.

Отец

По мнению самого Толстого, отец, Николай Ильич, духовно уступал матери, не отличался характерной для нее сложностью натуры. Шестилетним мальчиком он, как велось в то время, был записан на гражданскую службу; он еще предавался забавам детства и отрочества, а

ему шли чины. 1812 год все переменил. Увлеченный общим порывом он уходит в армию. Участвует в сражениях, попадает в плен, по окончании войны увольняется в отставку из-за необходимости заняться хозяйством, в котором долгов вдвое больше, чем имения, женится на богатой невесте (в «Войне и мире» — Николай Ростов и княжна Марья — снова сложная смесь страниц семейной истории).

Основные занятия Николая Ильича, вспоминает Толстой, «хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда». Кроме того, любимая помещичья забава, понимаемая как серьезное дело, — охота, ружейная и псовая. Но были и книги — библиотека, составленная в духе времени из сочинений французских классиков, трудов по истории общей и естественной истории. Отец, по мнению Льва Николаевича, «не имел склонности к наукам, но был на уровне образованья людей своего времени».

Толстой ценил в отце чувство собственного достоинства, благодаря которому тот «не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае».

Николай Ильич помнится Толстому как «среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами». У него бодрый быстрый шаг и «сангвиническая красная шея». Он склонен к неумеренному употреблению спиртных напитков. В обращении отец учтив и ласков. Грустные глаза не мешают ему быть сочинителем разных шуток и веселых рассказов.

При выходе в отставку (до смерти в 1837 году еще без малого два десятилетия) он получает свидетельство от главного лекаря Казанского военного госпиталя: «действительно болен слабостию груди со всеми ясными признаками к чахотке, простудным кашлем, сопряженным с кровохарканием, и застарелою простудною ломотою во всех членах». Похоже, военное прошлое, плен, тяготы походной жизни дают себя знать. С годами здоровье Николая Ильича окончательно расшатывается. При расследовании обстоятельств его внезапной смерти слуги показывают, что он был всегда нездоров, страдал кровохарканием и ездил лечиться в Москву. За год с небольшим до смерти он пишет соседу, своему приятелю: «Я недавно приехал из Москвы и с самого возвращения сижу на строгой диете и даже на лекарствах, а довело меня до этого горестного положения сильное кровотечение горлом, которое теперь хотя и прекратилось, но все еще мысленно меня тревожит. Ты знаешь, как я не труслив на болезни; но в этом случае признаюсь, что несколько заробел».

С весны 1837 года он ведет трудный судебный процесс, требующий от него большого напряжения душевных и физических сил. 20 июня он за один день (очень быстрая езда — видимо, серьезные причины) при-

езжает из Москвы в Тулу. 21-го весь день ходит по различным учреждениям. Вечером встречается с несколькими приятелями, среди них — два врача, его пользовавших, затем вновь отправляется по делам, на улице теряет сознание. Приятели-врачи, с которыми он только что расстался, пробуют спасти его, — безуспешно.

На другой день медики пишут для полицейского управления свидетельство, согласно которому «отставной подполковник граф Толстой, быв одержим с давнего времени кровохарканием и сильным приливом крови к легким и к голове, умер от кровяного удара, к чему способствовал менее суточный проезд из Москвы в Тулу и хождение его пешком по сему городу поутру, среди дня и наконец на гору вечером, произведшее сильное волнение крови». Ясность по тогдашним понятиям такого заключения делала вскрытие тела излишним.

Митенька

Первым из братьев Толстых и самым молодым (уже знаем — 29-ти лет) умирает Дмитрий Николаевич. В нем ярче, заметнее, чем во всех других выказывают себя странности натуры — «его особенности», по определению Толстого Льва.

В начатых на старости лет воспоминаниях Лев Николаевич успеет рассказать о брате Дмитрии — Митеньке — наиболее полно и законченно.

Митенька растет серьезным, вдумчивым, мужественным ребенком, очень вспыльчивым. Что бы он ни делал, особо отмечает Толстой, он «доводил до предела своих сил». Он велик ростом, худ, с сутулой спиной и длинными большими руками. Самое прекрасное в его лице — задумчивые, строгие, большие, карие глаза. Смолоду его отличает тик — «подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука» (это «судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его» перейдет к брату Левина, Николаю, в «Анне Карениной»).

В студенческие годы (Казанский университет, математический факультет) он с цельностью, ему свойственной, вдруг предается религиозной жизни, соблюдает все установленные обряды, посещает церковные службы, и молится не в модной университетской церкови, а в казематской, при остроге — за перегородкой стоят арестанты-колодники.

Он мало с кем общается, на людях остается тих и серьезен, исключая вспышки гнева — тогда он делается страшен, не помнит себя. Он не ездит в свет, не танцует, дурно одевается (один и тот же студенческий сюртук) и, в отличие от братьев, Сергея и Льва, водящих знакомство с молодыми людьми из своего круга, выбирает приятелей, заведомо пренебрегая их положением в обществе.

«В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке, и которой я был совершенно лишен — черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей», — пишет Лев Николаевич. И продолжает — в своем духе: «Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском».

Окончив курс, Митенька охвачен стремлением приносить пользу обществу. Он бросается в Петербург, ищет пусть самую скромную службу по гражданской части, но посещение вельмож, принимающих его как *графа Толстого,* и подчиненных им канцелярий, скромные попытки служить в провинции обнаруживают тщету его стремлений.

В 25 лет жизнь Дмитрия Николаевича непостижимо поворачивает на 180 градусов. Человек строгих правил, воздержанный во всем, до этой поры не знавший ни табака, ни вина, ни женщин, он вдруг начинает пить, кутить, мотать деньги, ездить в публичные дома. Толстой пишет, что и в этой новой жизни брат остается серьезным, религиозным человеком, каким был прежде. Он выкупает проститутку Машу, которую первую узнал, и поселяет у себя. Вскоре Дмитрий Николаевич заболевает чахоткой. Толстой убежден, «что не столько дурная, нездоровая жизнь, ... сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм». В январе 1856-го Толстой (после Севастополя) навещает тяжело больного брата в Орле: «Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо были — одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умирать, не хотел верить, что умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение лица, когда он молился на нее».

Все, что вспомнит Толстой в старости, уже написано им тремя десятилетиями раньше, в «Анне Карениной», в главах о смерти брата Левина, Николая. Там мы уже встречали и замеченную Левиным прежде всего, едва он вошел в дурной номер гостиницы губернского города, лежащую поверх одеяла руку брата — «огромная, как грабля, кисть этой руки была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке». Встречали и выкупленную рябую Машу, Марью Николаевну. И кашель. И плевки. И нежелание умирать. И страстную мольбу и надежду, с которыми устремлены на икону большие глаза больного. Кто знает, может быть, давнее впечатление от поездки в Орел к Митеньке и уже полузабытые им страницы романа слились в его памяти воедино.

В «Воспоминаниях» Толстой корит себя: «Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия». (Только что, прежде никому не известный, возвратился с войны, из Севастополя — и

принят как замечательный писатель, надежда нашей литературы.) «Мне было жалко Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней».

Уроки, укоры совести, не вполне справедливы — за Митенькой ухаживают сестра с мужем, тетенька, выкупленная Маша. Из воспоминаний Александры Андреевны уже знаем, как он мучил, терзал себя, чтобы проверить подлинность чувства, вызванного кончиной брата.

Но для Толстого главное, *как он сам себя* оценивает, «строки постыдные» необходимы ему, чтобы непрестанно идти вперед, вперед.

Уроки, укоры этой поры, наверно, много раз вспомнятся четыре года спустя, когда он будет ухаживать за умирающим братом Николаем Николаевичем, Николенькой.

Николенька

Между Николаем Николаевичем и следующим братом, Сергеем, три года разницы. Лев еще двумя годами младше.

В детстве три года, пять лет сильно заметны. Тем более, что смерть матери застает детей малолетними, смерть отца — на пороге отрочества, и Николеньке выпадает по-своему руководить братьями.

Все, знавшие Николая Николаевича Толстого, вспоминают его как замечательного рассказчика — способность, унаследованная от матери. Он рассказывал фантастические и юмористические истории «без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка», — читаем в толстовских «Воспоминаниях».

Но дело не только в том, *как* умел рассказывать Николенька, дело еще и в том, *что* он рассказывал. В памяти Льва Николаевича, как нечто особо значимое для всей его жизни, остаются слышанные от старшего брата в самом раннем детстве истории про «муравейных братьев», которыми сделаются люди, когда на свете не будет ни болезней, ни несчастий, когда никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга. «Главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа» <*лесной участок в Ясной Поляне*>.

Лев Николаевич будет до последнего дня жизни разгадывать для себя, для всего мира тайну «зеленой палочки» и похоронить себя попросит на том месте, где, по рассказам Николеньки, она зарыта: «...хотя это из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет, снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки»...

В зрелые годы Николай Николаевич попробует силы в литературе. Но, по врожденной особенной скромности, из всего написанного отдаст в печать только очерк «Охота на Кавказе». Очерк появится в некрасовском журнале «Современник» и вызовет восторженные отзывы. «Восхитительно поэтические страницы», — скажет о нем Тургенев. Сам Толстой высоко ценит литературное дарование брата, но всякий раз, говоря об этом, сочувственно, с пониманием приводит слова Тургенева, заметившего, что Николай Николаевич не имел недостатков, которые нужны, чтобы быть писателем: «Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия...» — разъясняет Толстой. Так же, как мать, он никого не осуждает: «Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой». Люди, знавшие братьев Толстых, скажут позже, что смирение, к которому стремился Лев Толстой, необходимость которого теоретически доказывал, была естественной чертой Толстого Николая и являла себя во всем его поведении.

Скромность, добродушие, тихость Николая Николаевича (он изменяет ей разве что в подпитии — к горячительным напиткам пристрастился в армии) не мешают ему быть человеком поразительной смелости. Окончив математический факультет, он переходит в военную службу, около десяти лет, неизменно выказывая достоинство и храбрость, участвует в боевых действиях на Кавказе. С ним и к нему бросается на Кавказ юный Лев Николаевич.

18 февраля 1855 года Николай Николаевич пишет брату Льву: «Помнишь ли, где мы были с тобой в день твоих именин, т.е. сегодня, 3 года тому назад? Сегодня утром у тебя подбили орудие, и мы тащились по Чечне под градом пуль и пр., как говорят в книжках» (в самом этом «как говорят в книжках» — характер!).

В тот памятный день братья были в походе. В завязавшемся бою неприятельское ядро ударило в обод пушки, которую наводил Лев, «раздробило обод и с ослабевшей силой помяло шину второго колеса, около которого я стоял, — будет рассказывать Лев Николаевич спустя полвека. — Не попади ядро в обод первого колеса, мне, вероятно, пришлось бы плохо. Сейчас же другое ядро убило лошадь... Убитую лошадь надо было бросить. Обыкновенно отрезывают постромки. Но брат Николай, — это был удивительного присутствия духа человек, — ни за что не хотел оставить неприятелю сбрую. Я начал его убеждать. Но тщетно. И пока не была снята с лошади сбруя, брат Николай продолжал отдавать распоряжения под выстрелами... Вдруг невдалеке от нас раздались неприятельские выстрелы. Тут я почувствовал такой страх, какого никогда не испытывал... Только уже к вечеру, обессиленные и голодные, добрались, наконец, до казачьей стоянки».

Возвратившись из похода, Толстой запишет в дневнике: «Я любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности. Но в делах 17 и 18 числа я не был таким... Это был единственный случай показать всю силу своей души. И я был слаб и поэтому собою недоволен».

Все, кто встречался с Толстым на Кавказе и позже в Крыму, в осажденном Севастополе, вспоминают его именно таким, каким он хотел быть — хладнокровным и спокойным в опасности. Похоже, первый пример и урок боевого мужества получен им от брата Николеньки.

Софья Андреевна в материалах для биографии мужа приводит его слова: «Мне говорил Л.Н., что брат и на талант его имел влияние тем, что он любил все настоящее, всегда вникал в жизни в самую суть всего, не терпел внешности, поверхностности и лжи».

В быстром портрете Николая Николаевича, который оставил Фет, находим: «Стоило взглянуть на его худые руки, большие умные глаза и ввалившиеся щеки, чтобы убедиться, что неумолимая чахотка беспощадно вцепилась в грудь этого добродушно-насмешливого человека».

В 1860 году состояние Николая Николаевича, резко ухудшается. Весной брат Сергей сообщает в письме к Толстому мнение известного петербургского врача, профессора Здекауэра: «Он плохо себя чувствует, затронуты легкие, особенно правая сторона, но его состояние не совсем безнадежное». Николенька тем не менее «еще стал слабее». Медики советуют ехать в Германию, в Соден, но, прибавляет Сергей Николаевич (сведения получены от писателя Григоровича), Соден «есть место, куда посылают самых безнадежных... туда ездить не следует, ибо уныние, скука невообразимые, с утра до вечера будто носят гроба». Он все же везет больного в Германию, тамошние доктора «находят его очень нехорошим». Да и курорт в самом деле производит тягостное впечатление: «больные все одного характера, чахоточные. Только и слышно, что кашель, и плеванье, и хрипенье».

В июле Лев Николаевич выезжает за границу и сменяет брата Сергея в заботах о Николеньке. 12 августа заносит в дневник: «Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет». В конце августа братья перебираются на юг Франции, в Гиер: «Здоровье Николеньки все в том же положении, но только здесь и можно надеяться на улучшение». Но чуда не случается. 20 сентября 1860-го Николай Николаевич умирает.

«Ты это знаешь, — пишет Толстой брату Сергею, — эгоистическое чувство, которое последнее время приходило, что чем скорей, тем лучше, а теперь страшно это писать и вспомнить, что это думал. До последнего дня он с своей необычайной силой характера и сосредоточенностью делал все, чтобы не быть мне в тягость. В день своей смерти

он сам оделся и умылся, и утром я его застал одетого на кресле. Это было часов за 9 до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть. Первое было в нужнике. Я вышел вниз и слышу, дверь его отворилась, вернулся — его нет нигде. Сначала я боялся войти, он не любил; но тут он сам сказал: "помоги мне". И он покорился, и стал другой, кроткий, добрый; этот день не стонал; про кого ни говорил, всех хвалил, и мне говорил: "благодарствуй, мой друг". Он умер совсем без страданий (наружных, по крайней мере), реже, реже дышал, и кончилось. На другой день я сошел к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет еще страдальческое, страшнее, чем во время болезни, и ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим, веселым и спокойным выражением... Два дня до смерти читал он мне свои записки об охоте...»

Сережа

Когда Тургенев познакомился с братьями Льва Николаевича, он тотчас распознал в Николае «существо поистине оригинальное», о Сергее же отозвался небрежно: «довольно бесцветен». Сам Лев Николаевич в воспоминаниях напишет: «Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, *хотел быть им»*.

Натура Сергея Николаевича и, соответственно, прожитая им жизнь в самом деле представляются, на первый взгляд, обыкновенными, «бесцветными» в сравнении с неординарностью личности и судеб трех его братьев. Окончил тот же математический факультет, что братья Николай и Дмитрий, но, как и Николай, пошел в военную службу. Мог сделать карьеру — не захотел. Вышел в отставку, поселился у себя в имении Пирогово и зажил обыкновенным помещиком, с хозяйственными заботами, денежными сложностями, охотой, упрямыми *дворянскими пристрастиями* (по слову Софьи Андреевны) и барским, на старинный лад, ведением дома, с долгими осенними и зимними вечерами, когда редко кто заезжает «на огонек», с чтением французских и английских романов.

А Лев Толстой признается, что с малолетства восхищался не только красивой наружностью брата или затаенными в нем дарованиями, но, «в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом». И разъясняет, что это за *эгоизм:* «Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться». Он — как механизм стеклянных часов, — говорит про брата Лев Николаевич: насквозь видно, что думает и чувствует. Для сравнения — о себе (с осуждением, понятно): сам он всегда себя помнил, всегда сознавал, ошибочно или нет думает, поступает.

В брате Сергее, каким рисует его Лев Николаевич, другие близкие, живет общая всем братьям, — *толстовская,* может быть, — потребность и способность самому для себя определять, что делать *должно*.

У Дмитрия Николаевича, Митеньки, — это вызывающе очевидная тяжкая душевная борьба монашеской строгости и разрушительных страстей («искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру» — будет сказано в «Анне Карениной» о Николае Левине). У Николая Николаевича, Николеньки, — добродушная насмешка над принятым мнением и поразительное умение не осуждать никого, кто мыслит и поступает иначе, нежели он сам. «Эгоизм» и «непосредственность» Сергея Николаевича — в упорном следовании однажды принятому или усвоенному образу мыслей, образу жизни, в верности собственным правилам и привычкам, даже в единообразии желаний, которых он не скрывает и которыми дорожит. Для Толстого Льва Николаевича, с его «путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать», эта особенность брата по-своему замечательна («от противного»): «Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная».

В молодости Сергей Николаевич — страстный поклонник цыганского пения. Он влюбляется в цыганку, увозит ее к себе в имение. Много лет они живут вместе, рождаются дети. Но вскоре после женитьбы брата Льва у Сергея Николаевича начинается серьезный роман со свояченицей, сестрой Софьи Андреевны, Татьяной. Чувство взаимное и сильное. Дело явно идет к свадьбе. И все же, когда Сергею Николаевичу (по словам племянника, Сергея Львовича), «может быть, в первый раз в жизни пришлось выбирать между исполнением своего долга и удовлетворением своей страсти», он, «как истинно благородный человек, избрал первое». С цыганкой Машей Шишкиной, превратившейся в графиню Марию Михайловну Толстую, брат Сергей проживет до самой смерти.

В поздние годы ему на долю выпадают тяжкие семейные «истории», оскорбившие самое для него дорогое — жизненные и житейские убеждения, которых он безраздельно держался. Сперва старшая дочь сходится с молодым башкиром, привезенным в усадьбу для изготовления кумыса, и рожает от него ребенка. Следом другая дочь убегает из дому с крестьянином (мужиком!) принадлежавшей отцу деревни. Иные объясняли случившееся влиянием дяди, Льва Николаевича, его проповедью братства людей, необходимости для всех простой трудовой жизни. Другие полагали, что «цыганская кровь взяла свое». Но не забудем и толстовскую *дикость*. Лучше же всего попробуем сопрячь воедино то, и другое, и третье и поразмыслим вдобавок о скучной, однообразной жизни молодых девушек в уединенном, угасающем имении, возведенном на камне отцовых старомодных «дворянских пристрастий».

Сергей Николаевич умирает 23 августа 1904 года 78-ми лет от рака лица.

Десять дней, с 11 по 21 августа, Лев Николаевич возле умирающего брата. Перед отъездом к нему заносит в дневник: «Как всегда, смерть застает неготовым, заставляет все внимательнее и внимательнее вникать в жизнь и смерть». Уже в Пирогове пишет другу и единомышленнику Черткову: «Брат мой умирает от рака в щеке, ухе, внутри где-то. Он очень страдает и духовно очень слаб. Не верит в близость смерти и раздражителен и капризен. Хотелось бы помочь ему, но до сих пор не могу найти как». В дневнике отмечает: «У Сережи было очень тяжело. Он жестоко страдает и физически, и нравственно, не смиряясь. Я ничего не мог ему сделать, сказать хорошего, полезного». О том же — в дневнике Софьи Андреевны: «Он, бедный, очень страдает, но хуже всего его душевное состояние: ни терпенья, ни веры, ни любви к людям... Спаси всякого от такого умиранья!» В дневнике Толстого 18 августа: «Ходил к Сереже. Все то же... Может быть, я хуже буду, но жалко и больно». 22 августа он навсегда расстается с братом: «Вчера вернулся из Пирогова. Сережа кончается. Я был не нужен ему...»

Сестра Маша

Снова — своеобычный характер и судьба.

17-летняя сирота (еще в куклы играет) выдана замуж за дальнего родственника, тоже Толстого. Брак изначально неудачен, у мужа связи на стороне, но она, не искушенная в семейной жизни, не понимает этого, честно исполняет обязанности жены: за четыре года замужества — четверо детей. Постепенно Мария Николаевна входит в возраст зрелости и, обладая острым, живым умом, начинает оглядываться, точнее разбираться в людях и обстоятельствах.

Осенью 1854 года она знакомится с соседом по имению Иваном Сергеевичем Тургеневым, в ту пору, по общему суждению, первым русским писателем. Тургенев сообщает другу об этом знакомстве: встретил «одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить! Мила, умна, проста, — глаз бы не отвел! На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) я едва ли не влюбился... Не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния...» Чувство Марии Николаевны несравнимо более сильно, свежо, сосредоточенно, нежели влюбленность Тургенева, обремененного изрядным любовным опытом и роковыми неразрывными отношениями с Полиной Виардо. Платонический, но достаточно серьезный по отношениям роман длится несколько лет. Мы обязаны ему появлением одной из лучших повестей Тургенева «Фауст», посвященной М.Н.Толстой.

Мария Николаевна в эти годы разрывает, разъезжается с мужем — поступок по-тогдашнему неординарный (несколько лет спустя, стараниями братьев, она получает развод; вскоре муж умирает). Не прояви тут Иван Сергеевич обычной «тургеневской» нерешительности, может быть, будущее получило бы не только чудесную повесть — еще и тургеневско-толстовское потомство. Но в жизни Тургенева, как известно, многое схоже с любовными ситуациями его сочинений (в том же «Фаусте»: «Я смутился и торопливо, глухим голосом, отвечал, что намерен исполнить долг честного человека — удалиться»).

Мария Николаевна уезжает за границу, путешествует, постоянно лечится. У нее головные боли, боли в конечностях, кашель, зубная боль. Выздоровление душевное и физическое приносит ей новая, поначалу счастливая любовь — она встречает молодого шведского аристократа, рожает от него дочь. Но семья молодого человека противится браку и в конце концов разрушает их отношения. Братья привозят сестру домой, в Россию.

Характер у Марии Николаевны по-толстовски сложный. Доброжелательность и простота обращения сопрягаются с капризами и своеволием, живость и остроумие с приступами раздражительности, тяжелого настроения, ясность суждений со склонностью к мистицизму. Ей нестерпимо трудно оставаться одной, тогда как близким часто приходится трудно вместе с нею. Потребность в религии, общение с духовными наставниками, побуждают ее порвать с прежней жизнью. Она уходит от мира и становится монахиней в Шамординском монастыре — 12 верст от Оптиной Пустыни.

Пребывание в монастыре многое изменяет в ее отношении к происходящим вокруг событиям, но внутренне не отдаляет от близких людей, от Толстых, от брата Левочки. Она, испрашивая дозволение монастырского начальства, по-прежнему навещает Ясную Поляну. И, конечно, неслучайно Лев Николаевич в тревожную октябрьскую ночь 1910 года, навсегда покинув свой дом, семью, прошлое, бросается прежде всего именно к ней, к сестре, в надежде неподалеку от нее доживать оставшиеся дни.

В своем поколении Толстых Мария Николаевна родилась последней — в 1830-м — и умерла позже четверых своих братьев — 6 апреля 1912 года. Как и брат Лев — 82-х лет, как и он — от воспаления легких. И все же Лев Николаевич оказался самым долговечным — прожил на 35 дней больше.

Еще расчеты

«Разброс» продолжительности жизни детей Льва Николаевича Толстого — огромен: почти столетие. Младшая дочь, Александра Львов-

на (1884–1979), прожила 95 лет. Дочь, которую назвали Варварой, преждевременно родилась у тяжело больной (воспаление брюшины) Софьи Андреевны 30 октября 1875 года и умерла примерно через час после родов.

Два сына, Николай (1874–1875) и Петр (1872–1873), умерли в младенчестве. Первый — 10 месяцев от «головной водянки», второй — 1 года и 5 месяцев от «болезни горла».

Еще два сына умерли в детском возрасте: Алексей (1881–1886) — от «жабы» и Иван, Ванечка (1888–1895), не дожив месяца до семи лет, от скарлатины.

На четвертом десятке умерли: дочь Мария, Маша — 35 лет (1871–1906) и сын Андрей — 39 лет (1877–1916).

Не дожили до семидесяти сыновья Михаил (1879–1944) и Илья (1866–1933). Век их, соответственно, 65 и 67 лет.

76-ти лет умер сын Лев (1869–1945).

80-летний рубеж перешагнули самые старшие дети: Сергею Львовичу оказалось отпущено 84 года (1863–1947), Татьяне Львовне — 86 лет (1864–1950).

Отца таким образом по продолжительности жизни «перегнали» трое из тринадцати — двое старших и самая младшая.

Мать, Софью Андреевну, — четверо. Она прожила 75 лет (1844–1919).

Глава 2
ПОДРОБНОСТИ УЖАСНОЙ МИНУТЫ

Градусников еще не было

Первый официальный документ о состоянии здоровья Л.Н. Толстого — медицинское свидетельство, выданное ему при поступлении в Казанский университет:

«Дано сие студенту Казанского ун-та Льву Толстому в том, что он действительно корь и оспу имел натуральную, болезней заразительных и прилипчивых не имел и не имеет; в чем свидетельствую 1844, ноябрь 10 дня. Адъюнкт Иван Дмитриевский».

Про детские болезни Льва Николаевича ничего не знаем. В справке, видимо, со слов самого Толстого, упоминаются корь и оспа, самые тяжелые, наверно, но, конечно, не обходилось и без иных хворей.

Средства лечения в пору толстовского детства, особенно те, которые употреблялись в обиходе, — самые немудреные, перенятые в крестьянской среде. Сын писателя, Илья Львович, вспоминает, как пользовал своих детей сам Лев Николаевич: «Бывало, в детстве ушибешься — не плачь, ноги озябли — слезай, беги за экипажем, живот болит — вот тебе квасу с солью — пройдет...» Скорей всего, точно так же обходились в детские годы и с самим Львом Николаевичем.

Татьяна Львовна Толстая рассказывает, как трое старших детей, она сама и братья Сергей и Илья, одновременно заболели скарлатиной.

«Мы заразились от крестьянских детей, которые были позваны к нам на елку. В ту зиму в деревне была сильная эпидемия скарлатины, и многие дети пришли на елку не вполне выздоровевшими. У некоторых детей кожа, как перчатка отставала от тела, и мы трое забавлялись тем, что у ребят сдирали эту отставшую кожу от рук.

Немудрено, что мы все заразились...

В то время градусников для измерения температуры тела еще не было и о каких-либо исследованиях никто и не слыхивал. И докторов было меньше, и поэтому реже их звали. Ждали, чтобы болезнь прошла, вытирали тело теплым прованским маслом, давали питье — а в остальном полагались на волю Бога».

Подробности ужасной минуты

Болезни настолько неотъемлемая часть жизни, что описание их не могло не занять подобающего места в творчестве Толстого.

Уже в «Детстве» — главы о болезни и смерти матери.

В одной из них мать в письме к мужу сама рассказывает о начале болезни и своем состоянии. Замерзла на прогулке, промочила ноги, после обеда почувствовала озноб и жар, но продолжала ходить и даже села за рояль играть с дочерью в четыре руки. «Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать и главное — видела, что вру и никак не могла поправиться...»

В середине письма тон его резко меняется. Рассказчик (Николенька, сын), от лица которого написана повесть, особо помечает, что эта часть письма написана по-французски, неровным почерком, на другом клочке бумаге. «Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одно знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей... Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, чтобы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю — и знаю потому, что Богу было угодно открыть мне это, — мне осталось жить очень недолго...

Я не могу писать больше от слез»...

В следующей главе отец с детьми спешно приезжает в деревню. Но Николенька застает мать уже в беспамятстве.

«Налево от двери стояли ширмы, за ширмами — кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор...

Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что, не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глаза maman были открыты, но она ничего не видела... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!..

Нас увели».

Здесь замечательно передано особое психическое состояние человека, когда он, казалось бы, весь, целиком сосредоточенный на одном — главном — впечатлении, целиком охваченный одним — главным — чувством, тем не менее с неожиданной остротой «невольно» схватывает и запоминает всякую подробность вокруг. И какое точное, на себе, конечно, проверенное (пусть в других обстоятельствах) наблюдение, когда из всех этих подробностей, «мелочей», одна — в данном случае особенный запах, стоящий в душной комнате — остается в памяти как некий ключ, отмыкающий «ящик» и воссоздающий минувшее событие во всей его полноте. (Несколькими страницами позже это же состояние будет вновь воспроизведено в главе о прощании с уже умершей матерью.)

Наконец, о минутах кончины рассказывает Николеньке старая служанка: маменька страшно металась, манила отца, охала, было видно, что у нее давит в груди, боль подступила под самое сердце, боль такая мучительная, что она закусила зубами простыню, а по лицу ее текли слезы. «Maman скончалась в ужасных страданиях».

В «Детстве», в главах о болезни матери, впервые появляется у Толстого и доктор, «наш добрый, старый Иван Васильич, как аттестует его maman.

По общему и в целом весьма справедливому суждению, врачам в сочинениях Толстого досталось не слишком много авторской симпатии. Но первый толстовский врач, хотя отведено ему всего несколько строк, написан с любовным и благодарным чувством. В трогательной доброте старика есть что-то роднящее его с учителем Карлом Иванычем.

«Чудесный старик этот Иван Васильич! — читаем в письме maman. — Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как он им рассказывает немецкие сказки и как они, слушая его, помирают со смеху».

Горе не убивает

Не знаем всей совокупности впечатлений, переработанных в памяти и воображении Толстого, когда он пишет в «Детстве» эти главы. Конечно же, здесь взято и объединено многое из увиденного и пережитого в детские и отроческие годы, наверно, и слышанные им от близких рассказы о смерти матери.

Но в описании состояния бабушки, узнавшей про кончину дочери, претворен собственный жизненный опыт. После смерти отца девятилетний Лев Николаевич стал свидетелем того, как пережила страшное событие бабушка, мать умершего. Страница «Детства» — несколько аб-

зацев всего — отмечена поразительной психологической убедительностью, тем более учитывая молодость автора, еще и впервые пробующего силы.

Целую неделю, — рассказывает Толстой, — бабушка ни с кем не говорила, не спала, отказывалась от пищи и не хотела принимать никаких лекарств. Иногда, оставшись одна, в своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она выкрикивала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. «Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств».

Повествователь, Николенька, вспоминает: однажды он вошел к ней в комнату, бабушка смотрела прямо на него, но, должно быть, не видела. «...Меня поразил ее взгляд. Глаза были очень открыты, но взор неопределенен и туп. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом...» Но говорила она не с Николенькой, а с умершей дочерью. «А мне сказали, что тебя нет, — продолжала она, нахмурившись, — вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» — и она захохотала страшным истерическим голосом». А далее идет одно из тех сделанных «по дороге» психологических отступлений, которые мы будем постоянно встречать в творениях Толстого, примерять к собственному душевному опыту, дивиться их проницательной верности.

«Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает».

Горе никогда не убивает человека, способного сильно любить, — позволим себе слегка расшифровать мысль Толстого. Любовь есть потребность отдавать себя другим. Это чувство принадлежит жизни, удерживает человека в ней.

И следом — снова психологически очень точно: «Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше». Недаром человеку в горе окружающие советуют: поплачь — легче станет.

Чувство религиозного ужаса

Бабушка Льва Николаевича пережила сына всего на год. Несмотря на тяжко перенесенную потерю, она оставалась по-прежнему барственно-важной, не признававшей возражений, капризной, — кажется, эти черты ее характера еще усилились после внезапного ухода Николая

Ильича. В ее доме, где жили оставшиеся сиротами внуки, продолжал соблюдаться раз и навсегда заведенный строгий порядок. Но при всем том бабушка с каждым днем заметно слабела. Одолевавшие ее хвори разрешились «водянкой» (проявление болезни было тогда ее обозначением), от которой она уже не оправилась. Толстой вспоминал ужас, который испытал, когда его ввели к ней прощаться: лежа на высокой белой постели, вся в белом, она с трудом оглянулась на вошедших внуков и неподвижно предоставила им целовать белую, как подушка, руку.

Отрок Лев Николаевич не видел мертвого отца. Дети жили в Москве, хоронить отца взяли в Ясную Поляну только старшего, Николеньку. В старости, оглядывая прошлое, Толстой скажет, что смерть отца — одно из самых сильных впечатлений детства. Она «в первый раз вызвала в нем чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти». Он долго не мог поверить, что отца в самом деле нет, и, гуляя по улицам Москвы, почти был уверен, что вот-вот встретит его.

Бабушка в трилогии пережила maman на пять лет — умирает уже в «Отрочестве». От реальной бабушки к умирающей бабушке в повести переходит лишь эта произведшая особое впечатление на мальчика рука, — здороваясь, Николенька замечает на руке бабушки бледно-желтоватую глянцевую опухоль.

Три раза в день у бабушки бывает доктор: маленький рябоватый, с немецким именем — Блюменталь. В минуту дурного настроения бабушки он делает глазами и головой «таинственные миротворные знаки» ее любимой горничной, единственной в доме, которая не потакает капризам госпожи и вступает в пререкания с нею. Доктор производит комическое впечатление, но, кажется, заведомо прав, объясняя поведение бабушки незамысловатым на вид «нервы, нервы!» и стараясь возможными средствами снять возникшее напряжение.

В повести передано сильнейшее впечатление, впервые пережитое мальчиком Толстым, — встреча с мертвым телом.

«Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью». Снова наблюдению образному сопутствует тонкое психологическое наблюдение.

Глава 3
НИ ХОРОШО, НИ ПЛОХО

Малые причины — большие действия

Первую запись, сделанную самим Толстым о своей болезни, находим в дневнике 17 марта 1847 года: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику... Я получил гонорею, понимается, от того, от чего она обыкновенно получается...»

Как правило, при публикации дневника эти строки опускаются. Мы бы тоже не рискнули их привести, если бы не разрешение Льва Николаевича, который, после серьезных раздумий, согласился с тем, чтобы, коли явится необходимость, были полностью напечатаны дневники его молодости: в них и «пошлость и дрянность» собственной жизни, как она видится Толстому (все те же «строки постыдные»), и постоянное, зовущее к совершенствованию чувство, что он тем не менее «не оставлен Богом».

Приведенные строки замечательны во многих отношениях. И не только тем, что именно с них вообще начинается известный нам дневник Толстого, дневник, который он, правда, порой с перерывами на месяцы и годы, будет вести на протяжении шести с лишним десятилетий.

Ценность записи неисчислимо возрастает, когда читаем сказанное в дневнике целиком, в контексте, — только в этом случае становится понятно, почему, приняв решение вести дневник, Толстой упоминает в нем, того более — начинает его с признания, казалось бы, не слишком для него приятного. Целиком, в контексте, запись, как ни странно, обретает противоположный, чем можно ожидать, *положительный* смысл (тут-то — пусть Льву Николаевичу едва перевалило за восемнадцать — вся особость и глубина толстовского мышления).

«Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, — заносит в тетрадь Толстой и продолжает: — и вот шесть дней, как я почти доволен собою...» Следом французская поговорка, до которых он всю жизнь любитель, — по-русски она звучит: «Малые причины производят большие действия». Малая причина — болезнь, тут же упомянутая, а большие действия — в том, что «это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которую я уже давно поставил ногу, но никак не мог перевалить туловище». Больничное одиночество оказыва-

ется необходимо ему, чтобы оглядеться, вдуматься в себя и для этого на какое-то время выбраться из потока привычного существования, который, подхватив, увлекает его.

«Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи», ему даже непонятно будет, «как не видал он всего того прежде». Здесь целый план жизни и прозрение того, что станет главным его содержанием. Малая причина в самом деле вызвала огромные последствия, как сорвавшийся с места камень приводит к обвалу в горах. До писателя Льва Толстого еще годы, казанский студент, попавший в госпиталь со своей «малой причиной», не предполагает, конечно, своего будущего, но, по существу, в приведенном отрывке вся творческая программа Толстого-писателя, ее нравственное и художественное направление.

Но если и поуже взглянуть, остаться в пределах размышлений об отношении Льва Толстого к медицине, а, следовательно, и, может быть, прежде всего к собственным болезням, — и в таком случае первая дневниковая запись окажется для нас очень важной. Прежде всего уже потому, что вызвана — болезнью. Болезнь вносит серьезные изменения во внешнюю и внутреннюю жизнь Толстого, открывает перед ним простор для серьезных раздумий, оценок и переоценок. Толстой, как видим, не только ощущает, но сознает это — и навсегда усваивает. На протяжении всей жизни в нем, в период всякой болезни, будут сплетаться, смешиваться, противоборствовать обычное для всякого больного внимание к своим страданиям, тревога, огорчение, усталость — и убеждение или желание убедить себя (часто не слишком успешное), что болезнь необходима, идет ему на пользу, помогает совершенствовать себя.

Необходимое отступление

Болезни, подобные той, что привела его в клинику Казанского университета, еще не раз омрачат дни молодости Льва Николаевича, потребуют мучительных и, что еще важнее, нравственно унизительных лечебных процедур, будут угнетать осложнениями — осложнениями от болезни и осложнениями от лечения.

Микробы, являющиеся возбудителями венерических заболеваний, откроют десятилетия спустя. До полноценно действенных лекарственных средств — тоже целые эпохи в медицине. Обильно применяемые препараты ртути вызывают отравление, аллергические реакции, проявления которых и больные, и врачи часто считают продолжением болезни.

Умолчания о венерических заболеваниях в жизнеописаниях людей, одаривших человечество своими творческими открытиями, как,

впрочем, и в обычном разговоре, касающемся лица, ничем «не выдающегося», — следствие предубеждения, издавна поселенного в нас религиозным воспитанием и принятыми бытовыми устоями. Между тем, если обратимся лишь к биографиям выдающихся наших писателей, то не только в дневниках молодого Льва Николаевича, но, к примеру, в переписке Пушкина, Некрасова, Тургенева также обнаружим откровенные признания на этот счет. Оно и понятно. Даже самый поверхностный исторический взгляд на жизнь молодого человека времен толстовской молодости должен бы изменить наше отношение к явлению. Мужчина, желавший до или вне брака удовлетворить половую потребность, шел в публичный дом, к женщинам легкого поведения или, если социальное положение давало ему на это право, к более разборчивым в выборе клиентов «дамам полусвета». Число таких женщин было не безгранично, а в небольших городах, местечках, станицах, где располагались воинские подразделения, и вовсе ограничено. К тому же люди определенного круга посещали, как правило, лишь небольшое число известных им заведений.

В дневнике Толстого после первого — казанского — свидетельства, большинство записей о венерических заболеваниях или, куда чаще, подозрений, что они у него есть или могут появиться, относится как раз к периоду военной службы и скитаний, с ней связанных.

«До» и «после»

В той же первой дневниковой записи, объясняя, что болезнь, которая заперла его, 18-летнего, в палате казанского госпиталя получена им «от того, от чего она обыкновенно получается», Толстой не вполне обыкновенно определяет эту «обыкновенную» причину: «беспорядочная жизнь, которую большинство светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души».

Придет время, он, вызывая полемики, осуждение, насмешки, будет энергично проповедовать целомудрие, до этой поры еще четыре десятилетия, но глубинную связь между утратой целомудрия и какими-то серьезными душевными потерями он ощущает, сознает с молодых лет.

Максим Горький рассказывает: Лев Николаевич однажды признался ему и Чехову, что был в молодости «неутомимый...» — «он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово». Еще бы не сокрушенно! Мало того, что говорил это старый Толстой, каявшийся перед самим собой в прошлой своей жизни и во многом ее отвергавший. Горький, когда написал это, не читал дневников толстовской молодости. Иначе узнал бы, как мучительна была для «неутомимого» каждая встреча с женщиной, мучительна «до» и «после», как он, человек огромной физической силы, мощных чувственных желаний, постоянно стремится подавить в себе страсть, терзается страда-

ниями совести, когда не умеет совладать с естественными порывами — «мне совестно так жить». Он и в ежедневной молитве просит Бога избавить его от сладострастия, в поденных записях, отмечая свои промахи, ругает себя за употребление горячительной пищи, возбуждающей плоть, ищет воздержания и радуется всякой помехе его чувственным стремлениям («не пустила», «помешал прохожий»), хотя иной раз полагает воздержание причиной разных недомоганий.

Дневники молодого Толстого хранят признания в победах плоти, сожаления, раскаяния. «Не могу преодолеть сладострастия»... «Спал с женщиной; все это дурно и сильно меня мучает»... Здесь же — ограничения: «У себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая некоторых случаев, которые не буду искать, но не буду и упускать»... И — суровые, монашеские правила, заведомо неисполнимые, вроде: «Отдаляйся от женщин. Убивай трудами свои похоти»... Или: «Сообразно закону религии, женщин не иметь» (записано, увы, через неделю после пометки: «Вечером к девкам»).

Чувственность, желания молодости вступают в противоборство с жесткими нравственными задачами, перед собой поставленными. Он то огорчается своей неловкости, застенчивости с женщинами и «девками», то радуется, что стыдливость спасает его от разврата.

«Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которое в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. — Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам... Чувство долга и отвращение говорили против, похоть и совесть говорили за. Последние одолели...»

А вскоре он пишет о сладости чувства, которое испытал на молитве: «Как страшно было мне смотреть на всю мелочную — порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня... Я не чувствовал плоти, я был один дух...» Но: «Но нет! плотская — мелочная сторона опять взяла свое... Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог. — Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы».

«Посвящение» — просвещение

Тема целомудрия, утрата которого решительно меняет нравственный облик человека, занимает важное (пусть не всегда явное, нередко затаенное) место в духовных поисках Толстого и, соответственно, в его творческих замыслах. Указание на это встречаем в планах романа «Четыре эпохи развития». Мы хорошо знаем трилогию, начатую первой толстовской повестью «Детство», но за «Отрочеством» и «Юностью» предполагалась еще «Молодость». В наметках к роману находим: «Я узнаю различие полов, порывы сладострастия», «потеря невинности».

В начале 1853 года, между «Детством» и «Отрочеством», Толстой занят рассказом «Святочная ночь», который остается незавершенным. В рукописях название несколько раз сменяется: от прямолинейно ударного «Бал и бордель» до несколько назидательного «Как гибнет любовь». Определение «святочная» несет оттенки понятий «праздничная», «радостная», даже «умиленная» (святки — праздник, «святочный рассказ» — как литературный жанр). Но для героя толстовского повествования, прекрасного мальчика с светлыми мечтами и благородными побуждениями, «совершенного ребенка душою и телом», святочная ночь оборачивается трагедией: бывалые светские люди везут его с бала в бордель, где их стараниями и к их удовольствию «мальчуган потерял свою невинность».

То, что для светских приятелей — привычное житейское дело, ощущается юношей как утрата лучшего своего я, прощание со светлыми мечтами: «Он вспомнил чувство невинной любви, которое наполняло его грудь волнением и неясными желаниями, и понял, что время этой любви невозвратимо прошло для него».

В «Записках маркера» — они пишутся почти следом за «Святочной ночью» — снова сцена, когда героя рассказа, доныне невинного, приятели везут к женщине, а, возвратившись, весело поздравляют (по выражению рассказчика-маркера) «с посвящением ли, с просвещением ли, не помню уж хорошенько». Не радуется произошедшему лишь сам «посвященный»:

« — Вам, — говорит, — смешно, а мне грустно. Зачем, — говорит, — я это сделал...

Да как зальется, заплачет».

И десятилетия спустя, в «Крейцеровой сонате», где Толстой во всю мощь своего голоса выскажет свое отношение к тому, что когда-то, в первой дневниковой записи обозначил как «следствие раннего разврата души», герой повести Позднышев, убийца жены, поведает о первом падении: «Помню, мне... сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине».

Рассказ «Святочная ночь», кажется, не автобиографичен. Но потрясение, вызванное «посвящением», потрясение именно такое, какое переживают герои его рассказов, пережито самим Толстым. Известно его исповедальное признание в беседе с близким другом: «Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом, и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал!..»

Илья Львович Толстой, сын, вспоминает:

«Я не забуду того, как один раз в Москве он сидел и писал в моей комнате за моим столом, а я невзначай забежал туда, чтобы переодеться.

Моя кровать стояла за ширмами, и оттуда я не мог видеть отца.

Услыхав мои шаги, он, не оборачиваясь, спросил:

— Илья, это ты?

— Я.

— Ты один? Затвори дверь. Теперь нас никто не услышит, и мы не видим друг друга, так что нам не будет стыдно. Скажи мне, ты когда-нибудь имел дело с женщинами?

Когда я ему сказал, что нет, я вдруг услыхал, как он начал всхлипывать и рыдать, как маленький ребенок. Я тоже разревелся, и мы оба долго плакали хорошими слезами, разделенные ширмами, и нам не было стыдно... Такие слезы шестидесятилетнего отца не забываются даже в минуты самых сильных искушений».

Отрывок повествует как раз о времени создания «Крейцеровой сонаты». «Рассказ о любви плотской», — обозначит автор тему повести.

Вспоминая о своем падении, герой повести объясняет: «Я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека».

Потеря целомудрия — одно из самых ранних и потому самых значимых разрушений, которое вносит в душу человека общество, безнравственное по ложным убеждениям и привычкам. С потери целомудрия начинается цепная реакция разрушения нравственности вообще (падение — «не шутка, а великое дело», отныне он «испорченный навсегда человек», говорит о себе герой «Крейцеровой сонаты»). Эта мысль, завязавшись на первой странице толстовского дневника, в пробах раннего рассказа, уже не оставляет творчество Толстого.

В искреннейшей его «Исповеди» читаем: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего... Добрая тетушка моя *<Т.А.Ергольская>*, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut» *<«ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной»>*.

В дневнике 1900 года, через 53 года после первой записи, Толстой снова возвращается к теме (томит!): «Вспомнил свое отрочество, главное юность и молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал — никаких; а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали)... И многое дурное я делал, не желая делать — только из подражания большим».

Рассказ о любви плотской

«Крейцерову сонату», написанную в 1880-е, разрешат напечатать в 1891 году, но рукописные экземпляры, списки широко читаются, множатся, передаются от одного другому тотчас по завершении писателем работы над повестью, двумя годами раньше, в 1889-м.

«Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой», — вспоминает современник о первом появлении «Крейцеровой сонаты».

«Рассказ о любви плотской», поведанный миру с толстовской беспощадной искренностью, побуждает людей заглянуть в себя, в глубины своего *я*, куда мы менее всего склонны заглядывать.

Герой повести Позднышев (он и рассказывает автору, нам свою историю) убивает жену. Убеждает себя, что из ревности, но Толстой тонко показывает, что ревность лишь повод, что Позднышев сам возбуждает в себе это чувство и одновременно сам подталкивает жену к измене, создает улики для подозрений. Подлинная же причина убийства не измена, которой, похоже, и вовсе не было, а скопившаяся и восставшая в нем ненависть к жене, к себе, к воплощенному в них, в их отношениях «всему строю жизни», при котором животное начало подавляет в людях их высшую человеческую природу.

Отказ от физического труда, праздность, изобильная пища, одежда, оголяющая тело, напоминающая о любовных отношениях, танцы, зрелища, «вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм», — все это разжигает чувственность, которая высвобождается из-под руководства людей, начинает своевольно руководить ими. Половые отношения без связи с «мыслью семейной», с рождением детей превращаются лишь в средство добычи физического удовольствия. Такое не остается безнаказанным, жестоко мстит людям, убивая в них величие и красоту духа.

Не предписание — идеал

Первые же читатели «Крейцеровой сонаты» задаются вопросом: как изменить отношения в семье, в обществе, как уйти из страшного тупика, куда забрели герои повести. В письмах к Толстому читатели задают ему этот вопрос. И он пишет «Послесловие» к «Крейцеровой сонате».

Размышляя об исправлении жизни Толстой (его слова), «ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было».

Против распространенного мнения о необходимости и полезности полового общения он выдвигает идеал целомудрия. Он понимает: прийти к нему не просто, для этого необходимо изменить нынешнее

общественное устройство, само мышление нынешнего человека. Труднее всего, наверно, переменить взгляд на плотскую любовь, не «как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унизительное для человека животное состояние».

«Послесловие» смутило многих читателей. Одни увидели в нем предписания, правила, реально неисполнимые; другие не соглашались с самым смыслом того, что вычитали в «Послесловии». Но Толстой стоит на своем: «Мысли, высказанные там, верны, искренни, и я с величайшим напряжением и радостью открывал их». Открывал!.. Упорная, напряженная работа над «Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» тем и отличается, что на каждом шагу дарит самому автору поразительные, неожиданные открытия: «Мне... открылся идеал, столь далекий от действительности моей, что сначала я ужаснулся и не поверил».

Он просит не смешивать разнородные вещи: правила (предписания) и идеал: «Идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему — бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли бы представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом».

В письме к другу он рисует прямую линию, а поверх нее — ломаную: искренний, настояще живой человек никогда не может идти по прямой, отступление от идеала в приложении к действительности неизбежно. Пусть линия ломаная, лишь бы человек продолжал идти «так» (в направлении прямой), а «не ходил так» — он рисует ломаную линию, уходящую под углом вниз от прямой.

Мы живем в разладе мысли, слова и дела — все человечество и каждый человек в отдельности. Улучшить общую жизнь на земле каждый человек может лишь начиная с усовершенствования себя самого. Есть области жизни, в которых самоусовершенствование наиболее доступно человеку, — хватило бы решимости. Область половых отношений — одна из них. Можно идти ломаной линией, путаться, биться, ошибаться, но помнить о направлении прямой, о стрелке компаса, который несешь с собой. Толстой проповедует неосуществимые идеалы, радея о нашей сегодняшней земной жизни.

Он слышит упреки: предлагая свой идеал целомудренной жизни не только до брака, но и в браке, вообще, он ради иллюзии готов ограничить деторождение. А он как раз и предлагает свой идеал, противопоставляя деторождение простому удовлетворению страсти.

Он говорит задорно: если «конец света» так или иначе неизбежен, не лучше ли всего, если он наступит, когда совершенные люди соединятся воедино чистой любовью — тогда ведь и жить дальше будет незачем? Но, заботясь об исправлении сегодняшнего мира, объявляет реши-

тельно: «Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими, свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее».

«Люди лунного света»

Разобщенность, «сшибка» сексуального начала и нравственной его оценки заявляет о себе в Толстом смолоду, с первых шагов на поприще физической любви.

Он «боролся с соблазном похоти в продолжение всей своей жизни и знал всю силу этого соблазна», — размышляет об этой стороне жизни отца Александра Львовна Толстая.

Сам же он на седьмом десятке кается: «Совокупление есть мерзость... о которой можно думать без отвращения только под влиянием похоти... Пишу это в то время, как сам одержим похотью, с которой не могу бороться».

Василий Васильевич Розанов, один из интереснейших наших писателей-публицистов, в начале только что минувшего века издал книгу со странным названием «Люди лунного света». На страницах книги Розанов, по обыкновению горячий, парадоксальный, спорит с людьми, которые «и вообразить себе не могут этот <*половой*> акт иначе, как позорным, глупым, скверным, грязным, обобщенно и отдаленно — греховным, противным Богу, безнравственным». Это-то и есть «люди лунного света». Люди же иного типа, «супруги» (именует их Розанов), «любят солнышко», полно и радостно отдаются «нормальной любви», сексуальной жизни.

Луна, толкует Розанов, «запрещает очень любиться»: «Полюбуйтесь, помечтайте, но — и довольно». Это — монашеская любовь... В мечтах, под лунным светом, родится идеал; а идеал всегда ощущает себя оскорбленным действительностью. Солнце — сама действительность. Луна — вечное «обещание», греза, томление: «что-то совершенно *противоположное действительному*» <*Курсив автора — В.П.*>. Солнце — живое, горячее супружество, совокупление.

Розанов с самого начала книги спорит с Толстым. Он не читал дневников Толстого, но тотчас схватил то, что вызывает у него отторжение, многое угадал в закромах душевной жизни писателя, цепко пройдя по его романам, рассказам, статьям.

Толстой для Розанова — завершенный человек «лунного света» (такое впечатление даже, будто то ли «вычислил», то ли интуитивно почувствовал действие, которое оказывал лунный свет на Толстого). «Какое-то органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и не внушенное, отвращение к совокуплению», «ощущение гнусности по-

лового акта», которое он находит в толстовских сочинениях, Розанов связывает с «христианским гнушением к полу». Эту особенность христианства он противопоставляет ветхозаветному признанию святости пола, полового общения: «Та самая “святость”, которая отнесена была потом к девству, она ранее принадлежала совокуплениям».

Мысль Розанова, во многом спорная, не вбирающая всей широты толстовской проповеди, но по-своему увлекательная и увлекательно выстроенная, горячо, гневно даже, не желает соглашаться с тем, что смолоду исповедует и убежденно проповедует Толстой.

«Грех и пол для нас тождественны, пол есть первый грех, источник греха, — пишет Розанов. — Откуда мы это взяли? Еще невинные и в раю мы были благословлены к рождению». Розанову чудится здесь «мировое извращение», «поворот земной оси на другой градус».

Понятие сексуальности включает в себя не только половую жизнь человека — в неменьшей степени его отношение к ней. Но и то, и другое выходит далеко за рамки только лишь сексуальности, помогает вообще глубже понять физическое и душевное здоровье человека.

По разным ведомствам

Естественная чувственность Толстого, чувственность мощная, требовательная — ему все отпущено природой в обилии — заставляет его искать возможности ее удовлетворения. Нравственные начала, с юных лет настолько сильно и будто интуитивно, вне осознания, им владеющие, что кажутся врожденными, удерживают его, противодействуют «похоти», им в себе ненавидимой.

Эта изнуряющая его внутренняя борьба отягощается к тому же постоянным страхом венерической болезни. Едва не всякое расстройство здоровья кажется ему признаком заражения. Боль в горле, малейшее поражение на коже повергает его в панику. Что греха таить, несколько раз, мы об этом уже говорили, предположения Толстого оправдываются. Но дневники свидетельствуют о почти постоянном напряжении страха, в котором он пребывает. Он подчас понимает необоснованность своих опасений, называет свое состояние — «моральная венерическая», то есть болезни нет, только страх ее. Но поделать с собой ничего не может.

Страх болезни возникает внезапно: «Пил дома воду и убедился, что у меня снова <...>» На другое день он у доктора: «сказал, что у меня нет <...>» Но страх не отпускает. Через неделю: «Кажется, я ужасно болен физически». Еще через неделю: «доктор меня успокоил». Но не тут-то было. Еще через неделю: «Горло болит. Я подумываю о <...>» Здоровье все хуже. Ему, по его просьбе, пускают кровь. И — назавтра: «Поправляюсь, и морально очень свеж».

Толстой — очень смелый человек. Приведенные записи — военного времени, когда смелость его особенно очевидна и всеми признана. В Севастополе он на знаменитом четвертом бастионе — самый опасный пункт осажденного города: «Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самим образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме...» Но рядом в дневнике — про какие-то ранки, которые кажутся ему, конечно же, определенной болезнью, признание в том, что все смотрит на них, что из-за них ничего не может делать, не может писать. А день спустя: «Здоровье кажется хорошо».

Похоже, что мнительность и смелость проходят «по разным ведомствам».

Размышляя (непомерно) о возможности болезни, он ищет в ней положительные стороны: «Все болезни мои приносили мне явную моральную пользу, поэтому и за это благодарю Его». Ему представляется, что физические тяготы, унижение, отказ от многих радостей жизни, доступных здоровому человеку, пренебрежение многими сиюминутными стремлениями, условностями помогут ему усовершенствоваться нравственно: «Вчера при мысли, что у меня может провалиться нос, я вообразил себе, какой огромный благой толчок это дало бы мне на пути нравственного развития. Я так живо представил себе, как бы я был благороден, предан благу общему и полезен ему, что мне почти захотелось испытать то, что я называл несчастьем, извиняющим самоубийство». Но на той же странице читаем: «беспокойство о болезни» так велико, что он два дня провел в тумане, у него «дрожание в глазах», сильная головная боль.

Похоже, что мнительность и доводы разума — также «по разным ведомствам».

С таким несовпадением будем встречаться до последних дней жизни Толстого. Речь уже не о венерических болезнях — вообще о мнительности.

В 1897 году, за 13 лет до окончательного ухода из Ясной Поляны, он напишет письмо жене о желании уйти: «меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями». Как старые индейцы уходят умирать в леса, так и он хотел бы дожить в уединении согласно своим убеждениям.

Нет никаких оснований не верить хоть одному слову в этом горячем, искреннем письме. Но несколько недель спустя «Лев Николаевич, — по свидетельству жены, — угнетен прыщиком, вскочившем у него на щеке, и много говорит о смерти. Как он боится ее, меня это пугает». На месте прыщика развивается большой нарыв. Через десять дней Лев Николаевич помечает: «Страшный чирей на щеке. Я думал, что рак, и рад, что не очень неприятно было думать это». Но думать об

этом Льву Николаевичу, видимо, все же очень неприятно. Софья Андреевна настроена в отношении мужа заведомо критически, но в данном случае ее запись вряд ли можно опровергнуть: «У него чирей на щеке, он такой жалкий, подвязанный платком, мнителен он ужасно. Без меня ездил два раза к доктору, и на третий его уже сюда привозили. Все твердил, что у него рак и он скоро умрет; был мрачен, плохо спал. Теперь ему лучше».

Софья Андреевна не знает про письмо, которое он ей написал, — Толстой решил на этот раз его не передавать, — но запись в дневнике жены продолжается так: «Ах, бедный, как ему трудно будет расстаться с жизнью и выносить страдания! Помоги ему Бог! Желала бы не видеть его конца и не переживать его». Через две недели она заносит в дневник: «Нарыв его прошел, но теперь нос чего-то заболел, и Лев Николаевич ужасно струсил». В то, что из Льва Николаевича получится старый индус, который, почуяв конец, уйдет один умирать в леса, Софья Андреевна не верит.

Настанет пора — уйдет. Об этом разговор впереди. Пока же нас интересует мнительность как одна из особенностей личности Толстого. Мнительность, которая являет себя в молодости, может быть, особенно заметно в связи со страхом заразиться венерической болезнью, но которая не оставит его вместе с молодостью.

За четыре года до смерти Толстого, его зять, Михаил Сергеевич Сухотин, муж Татьяны Львовны, отмечает в дневнике: «Второй день Л.Н. хворает: жар, слабость, хрипота. Советуется с Душаном Петровичем <*Маковицким*> ...и задает ему все те же вопросы, которые задает доктору самый обыкновенный мнительный человек и которые всегда возбуждают иронию Л.Н., когда он слышит эти вопросы в устах других людей. Говорит о смерти, о том, что он чувствует, что это начинается серьезная болезнь, что он умрет теперь, что все это очень хорошо. Но это *очень хорошо* <*курсив Сухотина В.П*> звучит как-то слабо и неуверенно».

Ни хорошо, ни плохо

Мы начали с разговора о венерических заболеваниях, потому что с них начинается дневник Толстого и потому также, что этот разговор помогает нам обнаружить некоторые значимые черты его натуры. Но Толстой в своих поденных записях упоминает не только об этих болезнях. Упоминаний о болезнях самых разных очень много, и они несколько меняют привычный образ, который сложился в нашем воображении. В самом деле, Лев Толстой — это сила, смелость, энергия, решительность, наконец, или прежде всего, постоянная напряженная работа мысли. Со всем этим как-то не вяжется посто-

янное пристальное вглядывание в состояние своего организма и его отправления. А ведь это у него смолоду, когда он еще «здоровый малый», как себя аттестует.

Читаем дневник молодого Толстого — сколько интересных тонких наблюдений, неожиданных сведений, глубоких раздумий! На страницах тетрадей молодой, ищущий себя, проникновенно умный человек размышляет о своем пути, о людях вокруг, о человечестве вообще, о правилах жизни, совершенствовании, идеале...

А рядом: о прыще на носу, ревматизмах (во множественном числе), боли в ногах, поносе, изжоге, чесотке, расширении жил, маленьком жаре, ломоте скул, крови носом, насморке, и ко всему — «тоска страшная», «тоска неодолимая».

Сильное беспокойство насчет насморка «усиливает ежели не физическую, то моральную болезнь (мнительность)». Знает, что — мнительность, но «нос все еще не чист, и я не спокоен». На другой день: «Все болен и боюсь». Наконец: «Убил зайца и фазана», но — «здоровье моральное и физическое еще не совсем хорошо».

«Я крепкого сложения, но слабого здоровья». Примечательно, однако, что слабое здоровье не мешает ему жить жизнью человека крепкого сложенья: участвовать в походах, охотиться, писать книги, обдумывать планы совершенствования себя и устройства своей судьбы на многие годы вперед.

Поражает скорость, с какой возникает болезненное состояние и затем сменяется здоровьем. Это и в поздние годы будет ставить в тупик окружающих, часто врачей. Только что страдал от тяжелого недомогания, едва не при смерти — и, не успевают оглянуться, снова уже на коне, в фигуральном смысле слова и в буквальном.

Записи на протяжении десяти дней на Кавказе: «Болезнь моя все усиливается» — «беспокойство о болезни» — «здоровье мое совершенно хорошо». Или — тоже на протяжении десяти дней — уже в Дунайской армии: «Здоровье мое нехорошо. Расположение духа самое черное. Чрезвычайно слаб и при малейшей слабости чувствую лихорадочные припадки» — «я очень болен» — «здоровье очень дурно» — «здоровье лучше» — «здоровье и расположение духа хорошо».

Эту свою особенность Толстой, может быть, наиболее точно обозначил словами: *«Здоровье мое по обыкновению ни хорошо, ни плохо»*.

Глава 4
ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

Дожидались доктора

Но Кавказ, армейская жизнь, жизнь на войне не могли не одарить Толстого обилием новых, необычных впечатлений, которые он тянется закрепить на бумаге и которые еще долго будут питать его замыслы («Хаджи-Муратом», «кавказской историей», по собственному его определению, писатель будет заниматься в последние годы жизни, «на краю гроба»).

Война — это физические тяготы, которые в благополучную пору и представить себе невозможно, это неизбежность ранений, увечий здорового человеческого тела, увечья, которому в мирных условиях редко найдешь подобие и которое на войне становится обыденностью, это зрелище смерти, постоянно рыскающей вокруг. Все это частью жизни, им проживаемой и воспроизводимой, приходит на страницы сочинений Толстого.

Ранение и смерть венчают первый же военный — кавказский — его рассказ «Набег».

Смертельно ранен юноша-прапорщик, только что выпущенный из корпуса и впервые участвующий в деле. Война была знакома ему лишь по мечтам, рождаемым его воображением. В мечтах он видел себя героем и в схватке непременно желал быть им. «Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его разрешения броситься *на ура»*. В конце концов он, выхватив шашку, и бросается без разрешения, когда надо было отступить, — и вот уже два солдата, держа под мышки, выносят его из леса. «Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который воодушевлял его за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко».

Сколько меткой, беспощадной наблюдательности в этой *страшно углубившейся между плеч* голове раненого.

Следом — небольшая, но емкая картинка из военной медицины.

«...Солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого...

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

— Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, — сказал он шутливо-небрежным тоном, — покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, было удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

— Оставьте меня, — сказал он чуть слышным голосом, — все равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «Что прапорщик?», мне отвечали: *«Отходит»*.

Портрет военного доктора написан не слишком доброжелательно. По мысли автора, он не находит правильного тона ни в разговоре с больным, ни в своих действиях подле него. Между тем, его действия, может быть, не заслуживают серьезных упреков. Еще не осмотрев раны, он пытается прежде всего успокоить пациента. Затем знакомится с характером ранения. Когда же видит, что дело безнадежно, отступает, не приносит раненому дополнительных страданий.

Но для Толстого суть эпизода — смерть. Человек живой, полный земных помыслов и стремлений, вдруг оказывается на рубеже перехода в иной, неведомый мир, на рубеже, где жива лишь душа, а тело, если напоминает о себе, то одной только болью. В эту серьезную минуту меняются многие основные понятия, представления, доводы «за» и «против», — приободряющие шутки доктора, бессмысленное медицинское вмешательство ложатся на душу умирающего лишним грузом уже оставляемого ею мира, приносят ей новые страдания, мешают в покое и прозрении совершить решающий шаг.

Без лишних слов

Представление Толстого о военной медицине откроется нам позже, когда окажемся с Львом Николаевичем в осажденном Севастополе. Здесь, в «Набеге», для писателя в центре эпизода, над которым мы задумались, не врач, а умирающий.

Рассказу о ранении прапорщика предшествует рассуждение автора о русском героизме, которому не свойственны громкие слова и эффектные жесты. Вот так же, без лишних слов и жестов, должен человек, по мысли Толстого, совершить великое дело смерти.

Через несколько лет он возьмется за рассказ (не закончит), который так и назовет — «Как умирают русские солдаты».

Чеченцы ранят в бою доброго, общительного солдата, известного в роте шорника.

« — Разве тяжело ранен?

— Вот же, навылет, — сказал он <*ротный командир*>, указывая на живот.

В это время за ротой показалась группа солдат, которые на носилках несли раненого.

— Подержи-ка конец, Филипыч, — сказал один из них, — пойду напьюсь.

Раненый тоже попросил воды. Носилки остановились. Из-за краев носилок виднелись только поднятые колена и бледный лоб из-под старенькой шапки...

Мы подошли взглянуть на раненого... Он, казалось, похудел и постарел несколькими годами, и в выражении его глаз и склада губ было что-то новое, особенное. Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, величественно-спокойные черты.

— Как ты себя чувствуешь? — спросили его.

— Плохо, ваше благородие, — сказал он, с трудом поворачивая к нам отяжелевшие, но блестящие зрачки.

— Бог даст, поправишься.

— Все одно когда-нибудь умирать, — отвечал он, закрывая глаза.

Носилки тронулись; но умирающий хотел еще сказать что-то. Мы подошли к нему.

— Ваше благородие, — сказал он моему знакомому. — Я стремена купил, они у меня под наром лежат — ваших денег ничего не осталось.

На другое утро мы пришли в госпиталь наведать раненого.

— Где тут солдат восьмой роты? — спросили мы...

— Вынесли.

— Что, он говорил что-нибудь перед смертью? — спросили мы.

— Никак нет, только дыхал тяжко, — отвечал голос с койки, — он со мной рядом лежал, так дурно пахло, ваше благородие, что беда...»

И после этого заведомого снижения великой темы, Толстой говорит о спокойной силе души народа.

В написанном вскоре после «Набега» кавказском рассказе «Рубка леса» — снова та же неизбежная страница военной жизни. Здесь

зорко схваченные подробности отношения к событию окружающих, поведения людей, каждый из которых эту минуту мог быть точно так же унесен войной.

«В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. “Кажется, кого-то из наших задело”, — подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и “о-о-о-ой” — раздирающий стон раненого. “Задело, братцы мои!” — проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием... Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова... но по всему видно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с, большей деятельностью принялись за дело».

Далее — любопытное и несколько неожиданное психологическое отступление:

«Каждый бывший в деле, верно, испытал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь».

И следом:

«Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усиливавшийся крик его, взял под мышки и поднял его. “Что стали! берись!” — крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять даже ненужных помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

— Что кричишь, как заяц! — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу, — а не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом».

И снова — психологическая подробность: «В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудию...»

Но раненый подзывает к себе рассказчика: он хочет отдать имеющиеся при нем деньги.

«Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок с деньгами».

Черес, — поясняет Толстой, — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом.

И еще нечто — очень значимое: «Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес»...

Белое тело (отступление)

В «Набеге» Толстой рассказывает про удалого офицера — в крепости, когда выпадает перерыв между походами и набегами, он любит ходить под окнами женщин в чувяках на босу ногу, чтобы показать, какие у него прекрасные белые ноги.

В «Рубке леса» белая здоровая нога раненого солдата поражает рассказчика совершенной несовместимостью с быстрым процессом умирания: «задетый» пулей Веленчук в несколько сехунд похудел и постарел, в глазах его появился какой-то ясный, спокойный блеск, а на лице уже лежали черты смерти.

Скоро в одном из севастопольских рассказов, заглянув в госпиталь, увидим, как острый кривой нож доктора с окровавленными по локти руками «входит в белое здоровое тело».

Белое тело человека, обреченное на растерзание, — образ, постоянно встречаемый в военной прозе Толстого.

В «Войне и мире» князь Андрей на пути от Смоленска к Бородину догонит свой полк у небольшого мутного пруда. В тинистой зеленой воде с хохотом и гиканьем барахтается множество белых солдатских тел. Князь Андрей заметит красно-кирпичные загоревшие руки, лица и шеи, — от этого белизна тел словно еще ярче. «Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно». Картина вдруг встанет перед князем Андреем образом войны. «Белые тела» увидятся ему «белым человеческим мясом». Затем в тексте появится и вовсе ясное — «пушечное мясо».

На перевязочном пункте, куда после Бородинского сражения доставят тяжело раненого князя Андрея, перед его глазами «больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди»: «Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий августовский день это же тело наполняло грязный пруд на Смоленской дороге».

Замечательно слияние этого «огромного количества тел» в единое — «тело».

«Да, это было то самое тело, та самая chair'a canon <*пушечное мясо*>, вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас».

Когда врачи положат князя Андрея на стол, он увидит на соседнем раненого Анатоля Курагина, человека, доставившего ему в прежней, другой жизни неисчислимые страдания. Несколько врачей, навалившись на него, будут возиться над его красной, окровавленной ногой, отрезая ее, тогда как другая нога — здоровая, ясно видная князю Андрею, — белая большая полная нога будет быстро и часто дергаться на столе.

Видел что-то другое

Но мы пока на Кавказе. Веленчук снял с белой здоровой ноги кошелек-черес.

« — Тут три монеты и полтинник, — сказал он мне в то время, как я брал в руки черес, — уж вы их сберегёте...

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение».

Смерть Веленчука в «Рубке леса» не описана. Рассказчик сообщает лишь, что последние его минуты были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. «Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту».

Но через полвека в «Хаджи-Мурате» Толстой доскажет последние часы жизни раненого солдата, которого здесь назовет Авдеевым. Заодно узнаем кое-какие черты кавказской военной медицины, в свое время им не запечатленные. Наверно, не только медик — каждый читатель не пройдет мимо точных наблюдений Толстого, придающих выразительную силу создаваемой картине и, быть может, говорящих врачу нечто весьма существенное.

«Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещающийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — *бледный с синевой под глазами,* лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и *непрестанно зевавший,* и еще два раненых в набеге три недели тому назад...

— Ох, — громко крикнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. *Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.*

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — кряхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельшера, но *он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.*

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них»...

Как будто очнувшись, он просит грамотного солдата сообщить о его смерти родным в деревню.

« — ...Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий <*офицер*> проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился».

Севастополь. Перевязочный пункт

Толстой приезжает в осажденный Севастополь в ноябре 1854 года.

Тотчас по приезде пишет брату: «Дух в войсках свыше всякого описания. В времена Древней Греции не было столько геройства... Я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время».

В письме он сообщает, что беседовал с раненым солдатом, от которого узнал подробности недавнего сражения.

Про беседу с солдатом читаем и в первом же из трех «севастопольских рассказов» — «Севастополь в декабре месяце».

« — Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе...

— В ногу, — отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена...

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие... Как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем пхнули меня в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, не думать много: как не думаешь, оно тебе и ничего...»

Толстой беседует с солдатом на Главном перевязочном пункте. Сюда, на перевязочный пункт, он прежде всего приводит читателей, когда знакомит их с Севастополем. Рассказ «Севастополь в декабре месяце» начинается описанием города, живущего буднями войны, — каждый спокойно и привычно исполняет свое дело. Но Толстой просит читателей не разочароваться при виде этих, ставших уже повседневным бытом, картин войны. Чтобы не усомниться даже немного в справедливости того понятия о геройстве защитников Севастополя, которое заранее составилось у них по рассказам и описаниям, он предлагает читателям прежде всего зайти в большой дом бывшего Дворянского Собрания. Там и помещается ныне перевязочный пункт.

«Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас». Толстой просит не стыдиться, подойти, поговорить со страдальцами — «несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия».

Он ведет нас от одного раненого к другому. От солдата с ампутированной ногой — к умирающему: «Он лежит навзничь, закинув

назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и в вас». От умирающего — к солдату, одной рукой он переменяет белье. Другой руки у него нет, она вылущена в плече. «Он сидит бодро, он поправился». А на соседней койке бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец. Молодой матроске отрезали ногу выше колена, она была ранена, когда несла обед на бастион.

Толстой, конечно же, открывает нам то, что видел, что пережил сам. Точно так же, как на улицах города солдаты и матросы исполняют любую будничную работу — запрягают лошадей, таскают на плечах ящики и мешки, налегают на весла, перевозя на другую сторону бухты людей и грузы, точно так же, привычно и спокойно, «с бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством», защитники Севастополя стоят под обстрелом на бастионах, делают вылазки, сражаются врукопашную.

С этими героями, постоянно жертвующими жизнью (подсчитано: во время бомбардировок неприятель обрушивает на город 36 400 выстрелов в сутки), Толстой хочет прежде всего познакомить нас именно на перевязочном пункте. Здесь цена их героизма, по-своему, всего нагляднее.

Но и сам перевязочный пункт под пером Толстого — тот же бастион, место подвига. Здесь героически действуют, сражаются за жизнь раненых бойцов военные медики — врачи и сестры.

«Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища...»

И того более — вот какого размаха обобщение приходит на ум Толстому, когда он продолжает свое путешествие по комнатам и залам перевязочного пункта! — «...увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...»

Сестры милосердия

Именно поэтому, догадываемся без труда, перевязочный пункт как важнейший образ, примета героического Севастополя появляется во всех трех «севастопольских рассказах». Никогда прежде и никогда после, на всем громадном пространстве грядущего творчества Льва Толстого, медицина не занимает такого важного и высокого места.

Случайным знакомством с перевязочным пунктом начинает свою недолгую севастопольскую жизнь (его убьют в первом же бою) молодой офицер Володя Козельцов в рассказе «Севастополь в августе 1855 года».

«Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным госпитальным воздухом, они <*Володя и его старший брат, тоже офицер*> встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу.

Одна женщина, лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее..

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

— Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

— Боже мой, Боже мой! Когда все это кончится! — сказала она с отчаянием в голосе».

Мы можем не угадать в этой сцене важного отличительного признака обороняющегося Севастополя, который тотчас бросался в глаза первым читателям рассказа. Именно в пору Крымской войны в госпиталях появляются медицинские сестры.

Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, отправляющийся из Петербурга в Крым для организации там медицинской помощи, создает первую в России группу сестер милосердия — ее назы-

вают Крестовоздвиженской общиной. Сестры вслед за Пироговым направляются в Севастополь. Их деятельность привлекает к себе заинтересованное внимание россиян. И появление сестер на страницах «севастопольских рассказов» Толстого неслучайно.

Деятельное участие

В рассказе «Севастополь в мае» — писатель приводит на перевязочный пункт князя Гальцина, петербургского аристократа, адъютанта, прибывшего в город из столицы с каким-то поручением. Князю непременно хочется посмотреть войну и прослыть храбрецом: во время начавшегося обстрела он отправляется в сторону бастионов. Навстречу ему солдаты несут на носилках и ведут под руки раненых. Князю кажется, что *много лишнего народа* уходит с места боя, он останавливает встречного солдата и строго допрашивает, куда он идет и зачем. «Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя». Солдат ранен в руку пулей, еще и — «не могу знать, чем голову-то прошибло, — и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке». Солдат при этом еще и оправдывается, что нипочем не ушел бы с бастиона, если бы не пришлось вести раненого в ногу товарища. Князю становится стыдно. Он следует за солдатами на перевязочный пункт. «С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!»

Петербургский аристократ бросается прочь, но Толстой остается на месте, внимательно всматриваясь в происходящее вокруг. Он дает своеобразную вводную главку-отступление — широко написанную в целом и точно схваченную в подробностях картину перевязочного пункта. В ней не действует ни один из героев рассказа — она необходима автору сама по себе. Любопытно, что даже геометрически эта маленькая, одна страничка всего, главка-картина поставлена в центр повествования — срединная по счету и по количеству текста, бывшему перед ней и следующему после.

«Большая, высокая темная зала — освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, — была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с

носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и... записывал уже пятьсот тридцать второго.

— Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, fractura femoris complicata <*осложненное раздробление бедра*>, — кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. — Переверни-ка его.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

— Perforatio capitis <*прободение черепа*>.

— Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

— А, не надо! Ой, ради Бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

— Perforatio pectoris <*прободение грудной полости*>... Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите: moritur <*умирает*>. Несите его, — сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...»

Сортировка

Конец главки, где доктора выкрикивают имена увечных и сообщают о характере ранения тоже очень примечателен. Среди новшеств военно-полевой хирургии, предложенных Пироговым в Севастополе, — гениальная в своей простоте идея «сортировки».

В дни сражений и обстрелов, когда раненые поступают десятками и сотнями (доктор в рассказе записывает — 532-го!), на перевязочном пункте неизбежно возникает хаос. Носильщики кладут раненых впо-

валку по всему помещению, без разбору, одного возле другого, суетятся врачи, мечутся фельдшера, сестры, служители берут для оказания помощи первого попавшегося под руку («что с краю»).

Хаос — это потраченные зря силы, дополнительный персонал, ошибки в диагнозе и лечении. Пироговская «сортировка» устраняет хаос, определяет направление действий, «уравновешивает» голову и руку — врач не хватается за нож, не обозначив умом порядок предстоящей работы.

Пирогов приказывает сортировать доставляемых раненых по четырем категориям. Первые — безнадежные. Им — средства для успокоения последних страданий, заботливая сестра, священник. Вторые — неотложные. Этих — на стол, чтобы не оказались в первой категории. Третьи — те, что могут повременить с операцией или вовсе без нее обойтись. Таким — хороший уход, а спадет напряжение первых часов и дней, внимательный осмотр, тщательное лечение. Четвертые — легкораненые. Тут просто — к фельдшерам на перевязку.

Пироговская «сортировка» — вот что выхватил приметливый взгляд Толстого на перевязочном пункте. Впрочем, может быть, здесь — не одна наблюдательность. Не исключено, что писатель узнал о «сортировке» от самого Пирогова.

Я его знал

Лев Толстой и Николай Пирогов прибывают в Севастополь почти одновременно (Пирогов пятью днями позже). Пирогов к этому времени — всероссийская знаменитость. Его добровольный отъезд на войну, его подвижнический труд в Севастополе — событие не в одной медицине: в духовной жизни общества.

«Это подвиг не только медика, но человека... — пишет Некрасов в своем журнале «Современник», том самом, где до этого времени печатается все, написанное Львом Толстым. — Нет солдата под Севастополем (не говорим уже об офицерах), нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением».

В том же номере журнала — заметка севастопольского очевидца, и в ней: «Вы сходите на перевязочный пункт в город. Там Пирогов; когда он делает операцию, надо стать на колени...»

Мог ли Толстой, будучи в Севастополе, рядом, пренебречь, не сходить!

«Я его знал. В Севастополе он читал лекции по анатомии врачам, — через полвека после Крымской кампании записывает доктор Маковицкий крупицы воспоминаний, оброненные Толстым в беседе. — Долгору-

кий — один из 300 <*офицеров*> назначенных Николаем Павловичем изучать медицину — облокотился на мышку трупа, чтобы меня удивить...» (Значит, не только ходил, но и лекции слушал вместе с назначенными царем изучать медицину, и операции смотрел.) «Пирогов — умное лицо — секцировал <*рассекал*> труп и показывал операцию, которую врачам приходилось делать. Пирогов много доброго сделал».

Для многих мыслящих россиян Крымская война важнейшее — переломное событие в отечественной истории.

«Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней», — заносит в дневник Толстой на пути в Севастополь.

«Перед нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем», — пишет Пирогов из Крыма в письме к жене. «Севастопольские письма» Пирогова (такое они получают название), которые предназначены, по его признанию и просьбе, не только для жены, но и «для других добрых людей», читает вся образованная Россия.

Замечательно сходство суждений! Замечательно также, что после войны, полагая за грех сидеть сложа руки, оба попробуют свои силы в педагогике, захотят готовить людей для того будущего, которое видится им из Севастополя.

Глава 5
«КОШМАР ЧАХОТКИ»

...Но все подозрительно

Из Севастополя, где он на самых опасных участках, Толстой пишет брату Сергею: позади остался скверный период жизни, тяжелый душевно и физически — «был болен», а здесь, в Севастополе, период жизни приятный — и здоров.

Прежде чем попасть в Крым, Толстой в Дунайской армии — туда его переводят с Кавказа. На Дунайском театре своя военная кампания, и он, хоть и не всегда на передовой (служит «по особым поручениям») в ней участвует. Его томит, что не всегда — на передовой: «Вы полагаете, будто я подвергался всем опасностям войны, а я... преспокойно живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мороженое».

В жизни Толстого пора, которую Нехлюдов в «Воскресении» назовет «чисткой души» — время от времени наступает потребность вытряхнуть из души весь накопившийся сор. Дневник полнится резкими критическими оценками своего характера, помыслов, поступков. Тягостному душевному состоянию сопутствуют физические недомогания: «Здоровье мое нехорошо. Расположение духа самое черное. Чрезвычайно слаб и при малейшей усталости чувствую лихорадочные припадки».

В севастопольском дневнике тоже постоянно встречаются упоминания о мучающих его недугах, и все же общая оценка — здоров.

Однажды на Дунае, то ли и вправду хворая, то ли будучи не в духе, заносит в дневник: «Я очень болен. Кажется, чахотка. Ничего не писал». (Обратим внимание на стоящие рядом *чахотку* и *ничего не писал.)*

Мысль о чахотке возникает у него не впервые. Страх болезни, похоже, издавна таится в нем. Двумя годами раньше, на Кавказе, простудившись на охоте, он тоже «подумывает» о чахотке.

Видимо, «ясные признаки к чахотке», которые обнаруживались у отца, не стираются из памяти сына. Что говорить об отцовских кровохарканиях, если до глубокой старости не забывается, того более — заносится в стариковские воспоминания как одно из памятных детских впечатлений: родственник-гость, появившийся в гостиной в халате, — у него была последняя стадия чахотки.

По дороге с Кавказа в Дунайскую армию Толстой, используя отпуск, заезжает в Ясную Поляну. Все четверо братьев сходятся вместе (обстановка в имении самая простая — спят в общей комнате на полу). Не исключено, что возникают разговоры о здоровье — в их переписке тема наличествует. Возможно, у Дмитрия и Николая Николаевичей уже заметны приметы заболевания, которое на протяжении ближайших шести лет сведет обоих в могилу.

Знаем, что Лев Николаевич после смерти брата Митеньки (в январе 1856-го) корит себя за недостаток чувства, которое якобы вызвало в нем это событие. Знаем также, что укоры несправедливы: событие пережито им сильно и остро. И, видимо, не только душевно.

Недели три он — «в тумане», нездоров: «приливы к сердцу, которые меня было напугали, но теперь доктор сказал, что это геморроидальное, я перестал пить кофе и водку, и мне стало гораздо лучше».

Лучше становится ненадолго. Весной и летом его донимают самые разнообразные недомогания: сердцебиение, которое мешает ходить, боль в горле, привычная зубная боль, расстройство желудка, ревматизм (неловко повернулся, делая гимнастику). В начале сентября «колотье в боку», но... едет на охоту. По возвращении ему все хуже и хуже. Доктора пускают кровь, ставят пиявки — «кажется, я умру». Через три дня: «Здоровье мое и поправилось и нет. Боли той нет, и воспаления нет, но какая-то тяжесть в груди, покалывает и к вечеру болит». Еще через три дня: «Здоровье очень худо, морально ослаб, работал нынче без охоты. Кажется, чахотка». (Снова чахотка оказывается рядом с неудачной работой.) И еще три дня спустя: «Здоровье поправилось, приезжал Троицкий». Видимо, Троицкий, тульский врач, приехавший в Ясную, его успокаивает. Но он все же прислушивается к себе: «Здоровье лучше, но все подозрительно».

Свидетельство

В это время появляется официальное медицинское свидетельство, которое нужно Толстому в связи с прошением об отставке. Общая картина в документе выявляется достаточно ясно. Отмечены заболевания, которые останутся при Толстом, обнаруживая себя с большей или меньшей степенью тяжести, на протяжении всей его жизни — склонность к воспалению легких, страдания печени, расстройства пищеварения. Но поскольку первое прошение, поданное несколько раньше, удовлетворено не было, возможно, знакомый врач, тот же Троицкий, выдавая свидетельство, по просьбе Толстого, несколько усилил описание отдельных болезненных проявлений.

Дано сие прикомандированному к С-Петербургскому Ракетному заведению г. поручику 12-й артиллерийской бригады графу Льву Николаевичу Толстому в том, что от роду ему 27 лет, телосложения среднего, сухощав, — находясь во время военных действий против неприятеля на Кавказе и под Севастополем при бивачной жизни, подвергался влиянию сырой и холодной погоды, несколько раз был болен воспалением легких с ревматическим страданием в руках и ногах, при врачебном пособии и обильном кровопускании болезнь уничтожалась; кроме сего, был одержим крымскою лихорадкою, после коей осталось отвердение печени, обнаруживающееся тупою болью в правом боку с расстройствами пищеварения. В сентябре месяце текущего года возобновилось жестокое воспаление легких с поражением сердечной сумки, каковое болезненное состояние обнаружилось сильным жаром в теле, тяжким дыханием с стреляющей болью по преимуществу в левом боку груди, кашлем, беспокойством, тоскою, обмороками и сухим треском, маскирующим дыхание; при принятом мною деятельном медицинском пособии, как то: обильным кровопусканием, пиявками и врачебными внутренними и наружными средствами, скоротечная его болезнь была побеждена, но осталось биение сердца, сопровождаемое одышкою, особенно ожесточающееся при возмущении и движении; сверх сего, вследствие отверделости печени, оставшейся после крымской лихорадки — аппетит его слабый, пищеварение неправильное с упорными запорами, сопровождаемыми приливами крови к голове и кружением в оной; при сырой же погоде появляются летучие ревматические боли в конечностях. Для поправления расстроенного здоровья необходимо продолжительное лечение при покойном образе жизни и употребление натуральных минеральных вод; почему он при настоящем болезненном состоянии не может продолжать службы. — В чем сим удостоверяю моим подписом с приложением печати. Город Тула. Октября 19 дня 1856 г.

Врачебному совету относительно покойного образа жизни и продолжительного лечения Лев Николаевич не следует (видимо, не чувствует необходимости следовать). До конца октября охотится, затем отправляется в Москву, оттуда в Петербург, живет насыщенно, горячо. В Петербурге обращается к известному врачу Шипулинскому: «Хорошо только то, что здоровье мое хорошо и что Шипулинский сказал, что у меня грудь здоровешенька».

«Кошемар чахотки»

Весной 1857 года, путешествуя по Европе, в Париже, Толстой едет смотреть публичную смертную казнь. «Имел глупость и жестокость смотреть», — обозначит он свой поступок. Но — человек, испытываю-

щий себя. Казнят преступника, убийцу. Зрелище привлекает множество народа. На площади, где установлена гильотина, еще с ночи собирается 12–15 тысяч человек. В толпе женщины, дети.

«Это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь», — напишет он в тот же день. Годы спустя он с ужасом будет вспоминать: когда голова и тело разделились и со стуком упали в ящик, он не умом, не сердцем, а всем существом своим понял, что это не нужно, что это дурно, что все рассуждения о смертной казни — злая чепуха. «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека».

Ночью после казни он долго не в силах заснуть («гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться»). Когда же наконец засыпает, гильотина является ему во сне — ему снится, что его самого казнят. Утром он встает больным — и вдруг решает немедленно бежать из Парижа. Назавтра он отправляется в Женеву. По приезде тотчас свидетельствует: «Чувствую себя здоровым и почти веселым».

В Швейцарии у него прекрасное дружеское общество, во главе с Александрой Андреевной Толстой, он интересно, весело, проводит время, путешествует по горам. Недуги, конечно, тоже его донимают, принося с собой дурное настроение, подчас это «страдания потешные и забавные» — вроде ячменя на глазу, о котором Толстой пишет, что мучает так, что он лишился всех чувств: «Плохо вижу, плохо слышу, плохо нюхаю и даже очень еще поглупел».

Но спустя некоторое время его начинают донимать головные боли. «Голова болит, и мрак на меня нашел ужасный»... «Боль головы и спины, и какая-то нашла мерехлюндия»... «Голова болит хуже и хуже».

На фоне головных болей возвращается затаенная, панически пугающая мысль о чахотке: «Дурно спал. Кошемар чахотки» (пишет через «е» на французский манер: от cauchemar).

И на другую ночь: «Опять кошемар чахотки». От этого кошмара он избавляется так же, как от кошмара гильотины: укладывает чемодан и тут же уезжает — на сей раз в Люцерн. О чахотке больше не упоминает, да и головные боли быстро утихают. «С тех пор, как я перестал пить вино, чай, кофе и меньше ем мяса, чувствую себя хорошо». Нездоровье в разном виде («колит», «руки, ноги болят») временами по-прежнему дает о себе знать, а с ним — мрачные мысли («Скоро ночь вечная. Мне все кажется, что я скоро умру»), «кошемары битые всю ночь». Но — не чахотка.

Навязчивая идея чахотки снова возникает три года спустя, осенью 1860-го, после смерти брата Николая Николаевича. Знаем, как тяжело пережил это «самое сильное впечатление» в жизни Толстой. Он почти на два месяца остается в Гиере, где похоронил Николеньку: его держит на месте начавшийся у него сильный кашель. На вопрос брата Сергея о здоровье, шутливо отвечает: «Один доктор весьма умно мне сказал, когда я говорил, что два брата потерял чахоткой, raison de plus pour que vous n'en mouriez pas *<большое основание, что вы от этого не умрете>*. Против закона вероятия».

Кашель стихает, Толстой, несмотря на приступы бессонницы с жаром (лихорадкой), полгода — до весны 1861-го — энергично путешествует по Европе (второе и последнее заграничное путешествие). Возвратившись в Россию, помечает вскоре: «Чахотка есть, но я к ней привыкаю».

Но это он бодрится. В письме к А.А.Толстой зимой 1862-го подводит итог минувшим после возвращения месяцам: «Я провел дурное, тяжелое лето. Я кашлял и думал — был уверен — что скоро умру. Я доживал, но не жил. В октябре я был в Москве и ожил, принялся за работу... почти влюбился».

Это он опять бодрится. Как раз в эту пору Лев Николаевич, по свидетельству одного из учителей открытой Толстым сельской школы, «что-то *заскучал*». На его настроение действуют самые разнообразные обстоятельства. Почти влюбился, но не полюбил, не женился, а он тяготится одиночеством, неустроенностью, испытывает потребность в семье. Задуманный им педагогический журнал требует постоянной борьбы с цензурными придирками. После крестьянской реформы 1861 года его назначают мировым посредником, но он не имеет возможности решать крестьянские дела по справедливости, ссорится с другими посредниками, соседями-помещиками, чиновниками, в итоге, в знак протеста, «по болезни» оставляет должность. Собственные хозяйственные дела также оставляют желать лучшего.

«Лев Николаевич стал жаловаться на недомогание, *на хандру,* — вспоминает другой сельский учитель (Толстой со своими учителями в это время особенно близок). — *Открыл у себя присутствие чахотки.* Хотя болезнь мало соответствовала его крепкой фигуре и здоровому цвету лица, тем не менее, *помня смерть брата* (!), он становился и мнительнее и беспокойнее, и стал страдать бессонницей. И *затосковал* он до того, что решил под каким-нибудь предлогом сбежать куда-нибудь...» Снова — *сбежать.*

«Болезнь мало соответствует», но — открыл, сделался мнительным, тоскует. *Душевная подавленность вызвала и физическое недомогание,* — формулирует проницательный биограф Н.Н.Гусев: усилился кашель.

Он едет в Москву посоветоваться с врачами. Среди них — давний приятель Андрей Евстафьевич Берс, его жена, Любовь Александровна, — подруга детства Толстого (ее отец, Александр Михайлович Исленьев — прототип отца в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности»). Дочери Берса, Софье Андреевне, предстоит вскоре стать женой Льва Николаевича. Ни он, ни она об этом пока не знают.

Младшая сестра Софьи Андреевны, Татьяна будет вспоминать:

«Шел великий пост 1862 года. Лев Николаевич *захандрил*. Он чувствовал себя плохо, кашлял и хирел, *воображая себе,* что у него чахотка, как у его двух покойных братьев... Доктора посылали его на кумыс... Отец успокаивал его, утверждая, что у него нет чахотки, нет ничего серьезного, но что кумыс будет ему вообще полезен».

В мае, захватив с собой двух любимых учеников яснополянской школы, Толстой отправляется «к башкирцам», в самарские степи: «Не буду ни газет, ни писем получать, забуду, что такое книга, буду валяться на солнце брюхом вверх, пить кумыс да баранину жрать! Сам в барана обращусь — вот тогда выздоровлю!»

По дороге на кумыс, в Москве, снова навещает Берсов: «Он сильно кашлял, похудел с тех пор, как мы не видели его, и, как нам казалось, был раздражителен и чем-то озабочен». Ночью Татьяна спрашивает сестру о ее любви к Льву Николаевичу.

— Ах, Таня... у него два брата умерли чахоткой.

— Так что же, он совсем другого сложения, чем они. Поверь, что папа лучше нас знает.

В самарских степях он почти два месяца, до середины июля. Кумыс помогает — «Я совсем не так болен, даже совсем не болен». Он привозит нескольких башкирских кобыл в Ясную Поляну — изготавливать кумыс на месте. Но в конце лета жизнь его поворачивает в иное русло. Он «влюблен, как не верил, чтобы можно было любить». Решение жениться на Софье Андреевне окончательно овладевает им.

В Ясную Поляну сообщает: «Кумыс и кобыл прекратить... Здоровье мое хорошо».

Еще долго будут и поездки на самарский хутор, и кумыс, даже изготовление кумыса в Ясной Поляне. Но тому причиной, по большей части, другие болезни. О чахотке, правда, нет-нет да и вспомнит, но «кошмар чахотки», кажется, его оставляет.

Цена подробностей

Уже вспоминали об умершем от чахотки Николае Левине в «Анне Карениной». Но описание чахоточного больного появляется у Толстого почти двумя десятилетиями раньше, в рассказе «Три смерти», созданном в 1858 году. Три смерти — это смерть барыни, мужика и дерева. «Барыня гадка и жалка, потому что лгала всю жизнь... Мужик умирает спокойно... Дерево умирает спокойно, честно и красиво», — объясняет Толстой мысль рассказа, внутреннюю связь, соединяющую в нем эти три смерти.

Но нам сейчас интересна наблюдательность Толстого в описании болезни, точность его взгляда. На первой же странице — портрет больной барыни, и в нем метко, просто-таки «врачебным» взглядом схваченные подробности.

«Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно *плоские* напомаженные волосы, и было что-то *сухое, мертвенное в белизне кожи* этого просторного ряда. *Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала* тонкие и красивые очертания лица и *краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились,* и дорожный суконный капот делал *прямые складки на впалой груди.* Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье и привычное страданье».

Нигде не «пережато», всего взято в меру, ни единой черточки, в которой чувствовалось бы желание напугать, устрашить читателя, но именно в этой умеренности, внешнем спокойствии описания — какой страшный образ приближающейся смерти.

Мужик, ямщик, видимо, страдает тою же болезнью, что и барыня. Рассказывая о нем, Толстой замечает *худое лицо, широкую, исхудалую и побледневшую руку, острое плечо, впалые тусклые глаза, слабый голос.* Бессилие больного передано в одном движении: напившись воды, он хочет поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не может, и отирается о рукав армяка. Он молча и тяжело дышит носом, собираясь с силами заговорить. Но: «В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться *горловым, неразрешавшимся кашлем».*

Трудно поверить, что такие подробности не увидены, не пережиты.

И когда через четыре десятилетия, в «Воскресении» прочитаем про чахоточного революционера Крыльцова: во время жаркого спора с товарищами по тюремной камере он закашлялся, «его стало тянуть как бы на рвоту», отплевавшись, весь красный, закашлялся еще сильнее, и кровь хлынула у него из рта, — когда прочитаем это, невольно обратимся мыслью к «одержимому с давнего времени кровохарканьем» Николаю Ильичу, отцу писателя, — не являлись ли в памяти Толстого картины, подсмотренные еще в раннем детстве?

Глава 6
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В ожидании волшебницы

«Любовь душит меня, любовь плотская и идеальная», — записывает Толстой в дневник. Известный писатель, севастопольский герой, он ждет и все не может дождаться волшебницы — о ней, юный и безвестный, он писал с Кавказа тетеньке, мечтая о семейном счастье, которое его ожидает.

Без семьи — в этом он убежден — он не в силах получить от жизни всего, чтобы почувствовать, постигнуть ее полноту, и сам не в силах дать жизни, людям всего, что способен дать. Волшебница то ли появится, то ли нет, а ему под тридцать, тридцать, за тридцать, время уходит... Едва не каждую девушку, встреченную в обществе и увлекшую его, он «исследует» как возможную избранницу, которой предстоит даровать ему давно ожидаемое счастье.

Поиски подруги жизни — то от неловкости и стыдливости, то от излишеств аналитического подхода — затягиваются, плотская же потребность настойчиво заявляет о себе. Пока *мысль семейная* остается не более как мыслью, рядом с ними занимают место в жизни обитательницы борделей, дамы полусвета.

Любовь плотская и любовь идеальная мучают его каждая сама по себе, плотская потребность и потребность в подруге жизни не сливаются воедино, — от того и волшебница медлит, не появляется.

Самая сильная, точнее — единственно подлинная любовь Толстого до женитьбы — к замужней яснополянской крестьянке Аксинье Базыкиной. О ней несколько дневниковых записей 1858–1860 годов:

«Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках... Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно... Красный загар шеи... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы».

«Имел Аксинью... но она мне постыла». Не постыла! Тургенев, заезжавший тем летом в Ясную Поляну, сообщает приятелю, что Толстой «влюбился в крестьянку».

27 мая 1860-го (два года со времени первой встречи): «Ее не видал. Но вчера... мне даже страшно становится, как она мне близка». И

назавтра — еще одно поразительное признание: «Ее нигде нет — искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенья и не могу». Стариком, вспоминая «ужасную грязь» молодости, Лев Николаевич прибавит: «И так до связи с крестьянкой Аксиньей — она жива. Потом женитьба...»

Два года перед женитьбой в дневнике (очень скудном) упоминаний об Аксинье нет. Но нет и записей, позволяющих предположить какие-либо, пусть даже случайные связи Толстого. Дело не в том, соблюдает ли он в течение этого времени полное воздержание, такое трудно себе представить, главное, что для самого Толстого, с его придирчивостью к «постыдным строкам» своего прошлого, отношения с Аксиньей означают конец «разврата», «грязи», после нее — только женитьба.

Признание о чувстве мужа к жене, испытываемое им к Аксинье, — свидетельство особой полноты чувства, соединения любви плотской и идеальной, пусть по-иному, чем виделось Льву Николаевичу в его умственных построениях. Известный исследователь жизни и творчества Толстого, Владимир Александрович Жданов, в увидевшей свет три четверти века назад, но ни одним словом не увядшей книге «Любовь в жизни Льва Толстого», касаясь любви к Аксинье, замечает: «Прекратилось мучительное раздвоение инстинкта на две силы: силу любви и силу чувственности. Наконец, и в непосредственном проявлении, а не только в сознании, сладострастие потеряло свое преобладающее значение». И тут же: «Сама природа, помимо сознания, придает этой связи повышенную ценность и теплоту».

Мысль об особой роли природы, природного, естественного начала, скажем даже — начала *крестьянского,* в этой любви очень проницательна. Особенное, мощное, вместе восторженное и чувственное отношение Толстого к природе сливается в его душе с таким же любовным и исполненным любования чувством к крестьянину, «естественному» человеку, который, благодаря постоянной связи с природой, единственный из всего разнообразия человеческих особей, является как бы целой и полноправной ее частью.

Бабы и барышни

О духовных и физических преимуществах крестьянина по сравнению с оторванным от природы горожанином Лев Николаевич как раз в годы перед женитьбой охотно беседует с молодыми учителями создаваемых им сельских школ. Будущие успехи страны, общества, по мысли Толстого, зависят от создания здорового человека, здорового поколения. А для этого прежде всего необходимо нормальное устройство се-

мейной жизни. Такая семейная жизнь возможна с женой из здоровой крестьянской среды. Он горячо советует своим молодым помощникам выбирать в жены баб, а не барышень.

«Взгляните на наших городских барышень, — говорил он, — этих жалких, хилых, анемичных созданий, — стянутые с утра до ночи в узкие корсеты, как бабочки, порхающие в своих уродливых, дорогостоящих костюмах, на балах, вечерах, собраниях, обратившие ради собственных удовольствий ночь в день, а временем сна, отдыха избравшие день. — Это ли жизнь?.. Посмотрите на их условное, уродливое воспитание, на их привычки, извращенный вкус, на их оторванность и отчужденность от природы, вслушайтесь в их разговоры, слова; для них пребывание в деревне было бы истинным наказанием, равносильным заточению или ссылке. Сравните теперь этих городских барышень, боящихся всего: и денного света, и солнца, и дуновения ветерка, и рева коровы, и жужжащего насекомого, сравните с нашими краснощекими, жизнерадостными Еленами, Матренами, Прасковьями, Евгениями, — чем же эти хуже первых? На мой взгляд, спора быть не может, все говорит в пользу последних; привычка к труду, крепкое телосложение, цвет лица, груди, бедра, упругие голени, — выбрав любую из них себе в жены, вы можете смело рассчитывать на безболезненные роды, на здоровое потомство и будете уверены, что навсегда вы гарантировали себя от медицинского шарлатанства, от этих докторов, лекарств, рецептов, аптек...»

Толстой, как с ним бывает, увлекается, забывает, или хочет забыть, о бедности, грязи, невежестве деревенской жизни, о бабах, умирающих от родильной горячки, от простейших страданий, от непосильного труда и недостатка пищи, от нехватки докторов и отсутствия медицинских пособий. Забывает о детях-уродцах, изувеченных голодом, духотой курных изб, детскими болезнями, — много позже он страшно опишет таких детей в «Воскресении».

Толстой увлекается, думает об идеале, думает, наверно, и о том, что умные, интеллигентные молодые люди, такие, как эти его учителя, женившись на бабах, могли бы принести в деревню те знания, ту культуру, которых ей недостает. Но, похоже, в этом увлеченно набросанном устном портрете крестьянской женщины — с ее цветом лица, грудями, бедрами, упругими голенями — таится для него и манящая интимная прелесть, тот чувственный образ, который бы хотелось ему обрести вместе с любовью идеальной.

Противореча собственным теориям, Лев Николаевич женится на барышне. Но волнующая память об Аксинье (пусть соседствующая с раскаяниями), крепкие босые ноги крестьянской женщины, как мощный импульс вызывающие в нем воспоминания, — это в нем навсегда останется. «Посмотрел на босые ноги, вспомнил Аксинью», — запись за год до смерти.

Мечтал и мучился

Первое упоминание о Софье Андреевне в его дневнике — 26 мая 1856 года: «Обедали у Любочки Берс. Дети нам прислуживали, что за милые, веселые девочки». Девочек — три. Соне, средней, в эту пору 12 лет. Сестра Лиза годом старше. Таня двумя годами младше.

Любочка Берс, она же Любовь Александровна Ислави́на, мать девочек, — подруга его детских лет. Говорят, мальчиком Лев Николаевич был влюблен в Любочку и однажды из ревности столкнул ее с террасы. Уже тещей, она говаривала ему, смеясь: «Видно ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери». Шутка не безобидна — он мог жениться и на матери: она всего двумя годами старше Льва Николаевича.

Андрей Евстафьевич Берс, муж Любови Александровны, — гофмедик, врач Московской придворной конторы. Семья занимает квартиру в Кремле. До женитьбы молодой доктор был близок с семьей И.С.Тургенева; у матери писателя, Варвары Петровны, от него дочь. Андрей Евстафьевич — москвич по рождению. Среди его добрых знакомых и старших возрастом пациентов немало людей, помнящих 1812-й год. Когда Толстой возьмется за «Войну и мир», Берс достанет для него бумаги некоторых свидетелей славного времени, познакомит его с врачами, участвовавшими в Отечественной войне.

В начале 1860-х годов, наезжая в Москву, Лев Николаевич часто посещает семью Берсов. В доме на него начинают смотреть, как на жениха. Но в невесты ему прочат старшую дочь — Лизу, ждут предложения. Он медлит, наконец, делает предложение, но — неожиданно для родителей — средней, Соне. Для самой Сони неожиданности тут нет, хотя она, возможно, не ожидала такого скорого поворота событий. В августе 1862-го, вскоре после возвращения Льва Николаевича с кумыса, он, пусть пока не до конца определенно, объясняется с Софьей Андреевной: пишет мелком на зеленом сукне ломберного стола начальные буквы слов, а она, непостижимо быстро и верно угадывая по первой букве все слово, читает несколько важных фраз — он говорит о себе, о ней, о сестре Лизе, о потребности счастья. Позже, в «Анне Карениной», так будут объясняться Левин и Кити.

Конечно, сомнения мучают Толстого. Разница в возрасте (34 и 18), в жизненном опыте, в опыте интимном, неуверенность в том, сумеет ли городская барышня, из тех самых барышень, о воспитании и привычках которых он с отчужденностью и недоброжелательством разглагольствовал с молодыми учителями, освоиться в сельской жизни, стать его помощницей и в литературной работе, и в хозяйстве. Но никогда прежде

сомнения, доводы рассудка не отступали так быстро и безропотно перед охватившим его устремлением к цели, перед уверенностью в необходимости сделанного выбора.

Дневниковые записи этих дней отличаются стремительностью, скорописью, с которой он жаждет запечатлеть охватившее его чувство. «До 3-х часов ночи не спал. Как 16-летний мальчик мечтал и мучился»... «Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь»... «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится»... «Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь»... «4-й час ночи *<14 сентября>*. Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче 14. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне»...

Он делает предложение 16-го: «Сказал. Она — да. Она как птица подстреленная. Нечего писать. Это все не забудется и не напишется».

23 сентября 1862 года, по его настоянию, уже свадьба. После обряда он спешит увезти молодую жену к себе в Ясную Поляну.

Все знает и просто

24 сентября, уже в Ясной, записывает коротко главное последних дней: «Я ничего не помню, только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны *<сатана, дьявол = чувственность?>*, потом ревность к прошедшему, сомнения в ее любви и мысль, что она себя обманывает... В день свадьбы страх, недоверие и желание бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она всё знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна».

В очерке «Женитьба Л.Н.Толстого» Софья Андреевна позже расскажет, как плакала, впервые расставшись с родными, в уголке большой темной кареты, как остановились переночевать в Бирюлеве (первая станция на пути в Тулу). Им, титулованным (граф и графиня Толстые), открыли царские комнаты, большие, неуютные: «Я забилась в угол дивана и сидела, как приговоренная».

В неопубликованной главе «Моей жизни» читаем: «После Бирюлева, да еще и на станции началось то мучение, через которое проходит всякая молодая жена. Не говоря про ужасные физические боли, один стыд чего стоил!.. Какое вдруг проснулось новое, безумное, хотя и безотчетное чувство страсти, спавшее в молодой, не сложившейся еще девочке». Софья Андреевна пишет о разочаровании (ей так кажется), пережитом Львом Николаевичем. Привыкший к опытным женщинам, он смотрел на половые отношения «как на удовлетворение потребности и

больше ничего, а иногда как на удовольствие». — «И вдруг испуганная, невинная девочка, сначала бесстрастная, страдающая и физически, и нравственно, и только впоследствии зараженная страстью мужа, не успевшей проснуться раньше в такой девочке, какой я была тогда».

То, что для него — «она все знает и просто», для нее, на самом деле, совсем не просто. Только 15-ти лет Соня Берс узнает от приятельницы «тайны брачных отношений». Открытие ее настолько ужасает, что с ней делается истерика. Она умоляет подбежавшую мать: «Мама, сделайте так, чтоб я забыла...» И снова хочется ей все забыть, когда Лев Николаевич, «от излишней добросовестности», по ее замечанию, дает ей перед свадьбой прочитать свои дневники. 18-летняя, даже воображением невинная девушка — и обличающие себя исповеди дожившего до 34-х холостого мужчины с приступами половой похоти, продажными и случайными женщинами, любострастными болезнями.

«Я очень плакала, заглянув в его прошлое». Это — на всю жизнь страдание. «Все его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним». И — не помирится.

Через полмесяца после свадьбы она признается: «Так противны все физические проявления». В неприятии физической близости среди прочего — осознанно или нет — и неприятие его прошлого. «Он целует меня, а я думаю: «не в первый раз ему увлекаться». И так оскорбительно, больно становится за свое чувство... которое так мне дорого, потому что оно последнее и первое». Иногда ей хочется убить его, а потом создать нового, точно такого же, но без прошлого; всю жизнь она будет горько жалеть о том, что к общей жизни они не пришли одинаково чистыми — тогда все могло бы сложиться иначе.

Через несколько десятилетий Толстой будет много размышлять о браке, о соотношении духовного и физического в нем, писать об этом. Но и в начальную пору их общей жизни Софья Андреевна недооценивает его нравственное чувство. «Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным... Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее».

На все времена

В «Моей жизни» Софья Андреевна напишет о развитии их интимных отношений: «Сам Л.Н. где-то говорит устами своего героя, что в женщине надо воспитать чувство страсти, разврата и ответа на него». Через полгода после свадьбы Лев Николаевич посылает свояченице, Татьяне Андреевне, странное письмо, внешне шутливое, в котором изо-

бражает подходящую к супружеской постели жену в виде фарфоровой куклы. Руки и ноги у нее из цельного куска фарфора, тело тоже фарфоровое, холодное, в него не вдавливаются пальцы, когда муж хочет перенести ее на постель.

Софье Андреевне не нравится, что муж любит ее «страстно», но молодая жена привыкает, что интимная жизнь по-своему отражает согласие их жизни вообще. «Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно — у меня никакой, напротив». Это тоже в первые месяцы брака.

Приученная им к близости, она воспринимает перерывы любви физической как конец его любви вообще, в лучшем случае как временный «сон» любви.

Темпераменту Толстого свойственна цикличность. Семейные радости забываются в работе творческой, хозяйственная деятельность оставляется ради «злой забавы», охоты. Да и сами хозяйственные увлечения часто меняются, и какое бы ни приманило его — пасека, лошади, сад, разведение новой породы скота — он отдается делу со всей силой своего физического и душевного темперамента. Софья Андреевна сама же рассказывает: «Он накупал скотину, пчел, кур, все заводил в огромном количестве, пускал телят под коров, чтобы воспитать их крупными и красивыми, целыми днями летом пропадал на пчельнике, в лесу, за рекой, сидя в избушке в полном одиночестве... и забывал весь мир». Но для Софьи Андреевны всякая полоса его интимной успокоенности — страдание и страх: холоден, скучен, неестественен, не в духе, «меня не любит».

Беременность тоже вызывает перерывы близости. «А если бы он только знал, как он переменился... — ее запись во время первой беременности. — А помочь тут нельзя никак. Он проснется еще раз, когда я рожу... Эта та ужасная колея, которую все проходят и которую мы прежде так боялись». И вскоре: «Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и физическое наслаждение — гадко. А он подумает — любовь вернулась».

Софья Андреевна целиком переносит на мужа выработавшийся в ней самой с первых дней совместной жизни «брачный рефлекс». Минет два десятилетия. Новые взгляды Толстого, его желание жить по-новому проведут между супругами глубокий, неодолимый разлом. Но «рефлекс», своего рода «знак брака», останется. Однажды после острой ссоры Лев Николаевич впервые в жизни «убежит» из супружеской постели ночевать в кабинет. «Он как бы отрезал от меня сердце... — отзовется на случившееся Софья Андреевна (это при уже существующем духовном разладе). — Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель». Она загадает: любит — не любит, придет — не придет. Он приходит.

Уже написана «Крейцерова соната», Льву Николаевичу за шестьдесят, но интимные супружеские отношения продолжаются, хотя он старается избежать их, корит себя, мучается. Софья Андреевна иронически заносит в дневник: «А Саша мне утром говорит: «А папа какой сегодня веселый, и все оттого веселые!» А если б она знала, что папа всегда веселый от той же любви, которую он отрицает». Саша, дочь Александра Львовна, напишет в книге «Отец»: «Он презирал себя за то, что, идейно разойдясь с женой, он все еще тянулся к ней, как к женщине, и он ненавидел и упрекал себя, когда поддавался физическому влечению».

Спальня будет даровать Софье Андреевне ощущение победы в семейном разладе, но каждая ее победа в спальне ведет к еще большему отчуждению. Она пишет об одном из таких примирений-отчуждений поздних лет супружества: «И все стало нужно: и теплая шапка, которую я догадалась взять, и фрукты, и финики, и мое тело, и мой труд переписывания... Боже мой! Помоги мне до конца жизни Льва Николаевича исполнять мой долг перед мужем, т.е. служить ему терпеливо и кротко».

Горький припомнит произнесенные однажды слова Толстого: «Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной была, есть и будет трагедия спальни».

Мир детской

Появление ребенка в доме — событие для всякой молодой семьи. Лев Николаевич взволнованно ждет рождения сына, радуется ему и... не знает, что с ним делать. «Лев Николаевич никогда не брал на руки Сережу, — вспоминает Софья Андреевна. — Он радовался, что у него сын, любил его по-своему, но относился к нему с каким-то робким недоумением». В единственной короткой дневниковой записи 1864 года Толстой огорченно признается: «Сын очень мало близок мне».

Он (что весьма типично для многих мужеского душевного склада, в особенности чувственных мужчин) больше муж, чем отец. В письме к жене, ненадолго с нею расставшись, он в ответ на ее упрек, что не любит детей, объясняет: понос у ребенка его тоже очень тревожит, но — «я не люблю их в сравнении с тем, как тебя люблю».

Подрастая, сын все более привлекает Льва Николаевича: «Я его очень начинаю любить. Совсем новое чувство». Толстой скажет однажды, что маленькие дети не вызывают у него интереса: ему дорого видеть, чувствовать, что он в силах воздействовать на ребенка, что ребенок его понимает.

В эпилоге «Войны и мира» графиня (прежняя княжна) Марья будет переживать, что муж, Николай Ростов, не ощущает прелести грудных детей.

« — Не понимаю, не могу, — сказал Николай, холодным взглядом глядя на ребенка. — Кусок мяса...

— Ведь главное, он такой нежный отец, — сказала графиня Марья, оправдывая своего мужа, — но только, когда уже год или этак...»

Годом позже первенца-сына, у Толстых рождается и первая дочь — Таня. Софья Андреевна опять печалится: с сыном Лев Николаевич стал очень нежен, все с ним занимается, а на Таню даже никогда не глядит. Скоро Таня сделается его любимицей. Толстой до старости вообще будет особенно близок с дочерями, так же, как и они будут не только душевно привязаны к отцу куда более, нежели сыновья, но окажутся несравнимо восприимчивее к его внутренней работе, убеждениям, учению, станут его духовными друзьями и помощницами.

«Какой-то совсем особенный мир в детской», — определяет Софья Андреевна. Пусть Толстой и не в силах принять этот мир вполне — тем не менее и для него, как для Софьи Андреевны, мир детской — необходимая и важная часть мира семьи, о котором он с юных лет мечтал, как о счастье, которое его ожидает.

«Материалы, из которых построено это счастье, — рассказывает он теперь, когда оно возводится на деле, — самые некрасивые — дети, которые (виноват) мараются и кричат, жена, которая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством которых я описываю события и чувства людей, которых никогда не было».

Известно, что Наташа Ростова во многом написана «с Тани», младшей сестры Софьи Андреевны, но сам писатель неслучайно, конечно, прибавляет, что «перемешал Таню с Соней». В заключительных главах «Войны и мира», о семейной жизни Наташи, воспроизводится этот мир детской, — до него несколько шагов от кабинета, где Лев Николаевич пишет свою книгу. В добрую минуту он весело докладывает приятелю: в Ясной Поляне, и в детской, и в кабинете, хорошая погода.

Детей кормила сама

«Иду на жертву к сыну», — через месяц после первых родов пишет в дневнике Софья Андреевна. Она пытается кормить его сама. Это соответствует желанию, даже настоянию Льва Николаевича. Он шутит, что жена «погружена в сиски, соски и соски», но представить себе не может (и не хочет), что детей кормит не мать, а чужая женщина.

Грудь у Софьи Андреевны плохо устроена для кормления. У нее сразу же начинаются боли, возникает грудница (такое повторится всякий раз, со всяким ребенком). Но, записывает она, «бросить кормить — огромное несчастие, отравит жизнь».

После, в пору семейного разлада, она упрекнет мужа, что не жалел ее, юную мать, а она должна была осуществлять его идеал «здоровой бабы». И все же, хотя первая причина здесь, скорее всего, упорное убеждение Льва Николаевича, сама Софья Андреевна, несмотря на неизбежные страдания, тоже чувствует особую потребность кормления собственного ребенка. Когда приходит пора отнять от груди дочь Таню, она делает это «с большим горем и даже слезами». Через несколько лет она объяснит свое чувство, рассказывая о сыне Льве: «Сегодня 4-й день, как я отняла Левушку. Мне его было жаль почти больше всех других. Я его благословляла, и прощалась с ним, и плакала, и молилась. Это очень тяжело этот первый полный разрыв с своим ребенком».

Наташа Ростова, несмотря на противодействие близких и докторов, «восставших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной... всех детей кормила сама».

Из любви к младенцам

Толстой считает нравственно важным, чтобы мать сама кормила своих детей. Со временем он, знакомясь с врачебными исследованиями, удостоверится, что это полезно и по медицинским соображениям.

В 1888–1889 годах он отдаст много сил работе над книгой главного доктора Московской детской больницы Е.А.Покровского «Об уходе за малыми детьми». Книга выйдет в созданном по почину Толстого издательстве «Посредник» — издательство выпускает литературу для народного чтения.

Редактируя рукопись, Толстой будет стараться сделать ее язык понятнее простому читателю, крестьянам, внесет в текст дополнения, которые почерпнет из других источников. Больше всего толстовских поправок окажется в главе о кормлении детей, — похоже, тема его особенно интересует.

«При материнском кормлении ребенок правильно возрастает и редко болеет и редко умирает. Дознано, что больше всего мрут дети, воспитываемые на коровьем молоке, меньше мрут дети, воспитываемые не материнским, а чужим молоком у кормилиц, и меньше всего мрут дети, когда их кормит мать», — определяет Толстой главную мысль главы.

Занимаясь книгой, Лев Николаевич напишет от себя несколько страниц о кормлении ребенка соской. Соской в отличие от рожка, рого-

вого, глиняного или стеклянного сосуда, налитого молоком, в те времена по большей части называли тряпицу с завязанным в ней жеваным хлебом или кашей. Сперва Толстой подумывает напечатать заметку под своим именем в какой-нибудь газете или журнале, но затем вставляет ее целиком в книгу доктора Покровского.

Заметка Толстого написана страстно, может быть, даже с некоторыми преувеличениями. Но, наверно, именно так, горячо, целенаправленно, без уступок, и следует бороться с вредными обычаями, невежеством, косностью.

О соске

За границей, в Англии и в других странах, где всякая мать кормит своего ребенка только грудью и не знает никаких сосок и не употребляет их, в этих странах из 100 новорожденных не доживает до года только 9, 10, 12 человек, а у нас в России из 100 новорожденных не доживает до года 33, а местами даже 60 человек. Что губит этих 20 и больше лишних детей, умирающих на каждую сотню? Страшно сказать. Но это так. Погубила миллионы детей и еще губит тысячи и тысячи — ничто иное, как соска, как дурацкий обычай давать детям соску. Мало того, что за границей меньше мрет детей, чем у нас, у нас в России среди татар детей мрет вполовину, а то втрое меньше, чем у нас. А отчего? Только оттого, что у татар, по закону Магомета, каждая мать должна кормить ребенка ничем иным, как только своей грудью. Пора бросить этот дурацкий и жестокий обычай, губящий миллионы детей. Нечего ссылаться на дедов и прадедов, на бабок и прабабок. Что они не глупее нас были и что так велось веками, а мы станем переменять. Пора перестать говорить так: мудрость людская как была, так и есть не в том, чтобы делать то, что предки делали. Если бы было так, то мы бы до сих пор людей ели, как наши предки. Мудрость в том, чтобы из того, что делают люди, выбирать хорошее и следовать ему и откидывать дурное и переставать его делать.

Соска. Пустое дело, кажется. «Как делали бабки, так и мы взяли тряпочки, наклали каши, пососали и сунули в рот ребенку. Что же тут плохого? И мы так росли, сосали соску. Отчего же и нашему ребенку не сделать? Бабы-старухи там как знают, так и делают». Так скажут отец и мать про своего ребенка. Но так они могут говорить, пока не читали, не слыхали того, что написано здесь не для обмана, не для своей выгоды, а из жалости и любви к людям, к святым младенцам, которых посылает нам Бог и которых мы губим по невежеству. Мы могли так говорить, пока не знали, но теперь, когда знаем и знаем верно, тут спора быть не

может: записано, сколько мрут детей при сосках и сколько без сосок. Оказывается, что при сосках втрое больше. Спора нет, дело ясно. И не может ни мать сунуть соску своему детищу, если она не хочет его смерти, ни отец допустить то, чтобы его ребенок лежал в зыбке с тряпкой во рту, с той тряпкой, от которой половина детей должна умереть. Не то отец, всякий добрый человек, войдя в дом и увидя ребенка с соской, должен вынуть ее изо рта младенца и сказать матери про то зло, которое делает эта соска.

Соска убила на Руси людей больше, чем чума и холера и все болезни. Надо вооружаться против нее и помогать друг другу уничтожить ее.

Спячка душевная

Проходит неделя всего после женитьбы — Толстой записывает в дневнике: «Я себя не узнаю». На другой день: «С студентами и народом распростился». Это о том, что прекращает занятия в Яснополянской школе, издание педагогического журнала. Еще через полмесяца: «Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими, только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать... Мне все досадно и на мою жизнь, и даже на нее. Необходимо работать» (подчеркивает).

Через два месяца после свадьбы и в дневнике Софьи Андреевны важные строки: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т.е. я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же...»

Но на протяжении всей его жизни Софья Андреевна не выиграет соревнования с народом за место в душе Толстого.

Конечно, женитьба повлияла на образ жизни и настроение Толстого, но, кажется, не столько тем, что переменила его, сколько тем, что выявила то, что в нем накопилось исподволь и ждало лишь повода, чтобы себя обнаружить.

Через полтора десятилетия в «Исповеди», рассказывая свою жизнь, Толстой определит хронологию происходившего. Сперва не столько даже сознание, сколько ощущение, что общественная деятельность, которую он на себя взвалил, измучила его, внесла в его душу смуту, путаницу, он «заболел более духовно, чем физически» <*мысль о чахотке*>, поехал в степь на кумыс, по возвращении женился, сосредоточил свою жизнь в семье, в жене, в детях, в хозяйстве.

Оказывается, всего этого недостаточно для счастья, которое, по мысли Толстого, должно было ожидать его с появлением семейного гнезда. В итоге «странное *состояние сна*», в котором он пребывает, — «отсутствие мечтаний, надежд, самосознания».

Для Толстого понятия «сон», «пробуждение» смолоду и до старости важное обозначение душевного, нравственного состояния. Он пишет о себе: «Во мне есть отличный человек, который иногда спит». Или: «Очень сонен умственно и даже духовно». Или: «Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется».

«Спать» для Толстого значит отойти от жизни, соответствующей тем нравственным, религиозным началам, которым он непременно должен следовать. «Нравственный упадок, готовность подпасть соблазну — пасть — это большей частью... такое состояние, в котором бездействуют, спят высшие центры, душевные силы... Надо понять, что спишь, и постараться проснуться... Надо сделать то, что делаешь во время кошмара: спросить себя: не сплю ли я? И тогда очнешься».

Пробуждение — новый цикл, новая полоса, новая эпоха жизни, новые задачи и предельное сосредоточение сил, чтобы решить их. «Нынче пробудился. Хорошо на душе». И — снова: «Да, жизнь есть радость пробуждения... И так хорошо, легко тогда».

Пробуждение: творчество

В 1864 году, после долгого перерыва, Толстой снова берется за дневник, но делает единственную запись: «Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман, написал листов десять печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания...»

Семейные отношения не всегда безоблачны, случаются порой ссоры, и «каждый такой раздор, как ни ничтожен, есть надрез — любви», с горечью сознает Лев Николаевич. И страстные, супружеские примирения часто его не радуют: «особенно поцелуями, это ложная замазка». И все же после первой поры приноровления друг к другу, приноровления всей своей жизни к жизни семейной наступают счастливые годы.

Он пробуждается. Конечно, остаются и хозяйственные заботы, и охота, и интимные охлаждения и сближения, и дети, беременность, кормление, запачканные пеленки, но весь этот воздух семейной жизни с ее отношениями, укладом, разговорами, праздниками, святочными катаниями и охотой в отъезжем поле, с воспоминаниями о прошлом, мыслями о настоящем и будущем, весь этот яснополянский воздух, перевоплощенный творчески, становится воздухом романа, который он пишет.

«Запой хозяйства», как он называет свое увлеченное строительство домашнего гнезда, мысль, что семейный мирок, где он удобно расположился с любимой женой, может заменить ему огромный мир, который ему необходим, все это — время тяжелого, безнадежного физического и нравственного сна. Между тем, выбор давно сделан. И в этом выборе на первое место поставлена литература — творчество.

Пробуждение, по образному его сравнению, началось, когда он хозяйство перепрег на пристяжку, а мысль и художество — в оглобли, в корень.

Пробуждение, с которым жизнь обретает смысл, устанавливается в ее естественном порядке, радует убеждением и чувством, что делаешь, что должно, такое пробуждение начинается, когда в центр жизни поставлена литература.

Счастливые семейные годы после перепадов отношений, взаимных, порой мучительных исканий — годы, начатые работой над «Войной и миром».

Глава 7
КАЖДЫЙ БОЛЕЕТ ПО-СВОЕМУ

Шестой удар. Граф Безухов

«Война и мир» — вселенная, в которой по-своему уместилась вся наша жизнь. На страницах великой книги соседствует высокое и будничное, описание кровавого сражения сменяется картиной веселого праздника, чередуются смерть и рождение, любовь и неприязнь, радость и печаль, избыток жизненных сил и разрушительная болезнь. Разные, часто противоположные стороны жизни соединяются в неразрывное целое, которое и есть жизнь.

Уже в самом начале книги главка о веселом танце на именинах графини Ростовой сменяется новой: «В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез, ...с графом Безуховым сделался шестой уже удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет...»

К болезни, этой важнейшей части человеческого быта и бытия, Толстой относится с сосредоточенным вниманием.

В спальню к умирающему графу Безухову писатель входит вместе с его сыном, Пьером. Первое впечатление — только внешнее: большое кресло, обложенное снежно-белыми подушками, ярко-зеленое одеяло, которым укрыто до пояса тело отца, седая грива волос, красивое *красно-желтое* лицо, толстые, большие руки, *выпростанные* из-под одеяла и лежавшие на нем. Как точно это — выпростанные: бездействующие, высвобожденные кем-то и уложенные. Тут же добавляется выразительная подробность, подтверждающая немощь рук, — видимо, самое заметное, что бросается в глаза при первом взгляде на больного: «В правую руку, *лежавшую ладонью книзу,* между большим и указательными пальцами *вставлена была* восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга».

Чуть позже, когда графа с кресла перенесли на кровать, Толстой снова замечает: руки были *симметрично выложены* на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Больного переворачивают на бок: «одна рука его беспомощно *завалилась* назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее». Кажется, именно эта безжизненная, непослушная рука всего более вызывает ужас Пьера.

Еще один «объект» наблюдения — голова и взгляд умирающего. Когда его, мимо вошедшего в комнату Пьера, переносят с кресла на постель, тот видит высокую, жирную грудь отца, тучные плечи и львиную голову. Голова, с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, не обезображена близостью смерти, — продолжает вместе с Пьером свои наблюдения Толстой. Пьеру кажется, что голова точно такая, какой была три месяца назад, когда он перед отъездом в Петербург последний раз видел отца. Но уже в следующее мгновение Пьер понимает, что первое впечатление ошибочно: он видит, что голова *беспомощно покачивается* от неровных шагов несущих больного, а холодный, безучастный взгляд графа *не знает, на чем остановиться*.

Когда Пьер подходит к постели, отец глядит прямо на него, но глядит, по замечанию писателя, тем взглядом, смысл и значение которого нельзя понять: то ли этот взгляд ровно ничего не говорит, как только то, что, покуда есть глаза, надо куда-нибудь смотреть, то ли говорит слишком многое. Пьер садится рядом с постелью, но граф продолжает смотреть на то место, где находилось лицо Пьера, когда он стоял. «Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился *(тут только Пьер понял, до какой степени отец был близок к смерти),* из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук».

Опять же примечательно: впечатление близости смерти рождается не столько от беспомощности тела, сколько от неспособности говорить — утраты речи, возможности общения.

Люди, стоящие вокруг, безуспешно пытаются вникнуть в смысл невнятного хрипа, угадать желание больного. Но понять нетерпение, выказанное в его лице и глазах способен лишь старый слуга, неотступно ухаживающий за графом. Все слишком просто, чтобы быть понятым остальными: «На другой бочок перевернуться хотят»...

И лишь в последнюю минуту прощального свидания с сыном, когда граф вроде бы схватывает взглядом свою непослушную, завалившуюся, руку, а также и выражение ужаса, которое не в силах скрыть Пьер, в эту минуту на лице больного появляется «так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием».

Второй удар. Старый князь Болконский

Удар уводит из жизни и старого князя Болконского.

В отличие от графа Безухова, которого мы, вместе с Пьером, видим лишь за несколько минут до кончины, старый князь на наших глазах неспешно и даже, как будто, неприметно, движется к концу.

Вначале вроде бы никаких признаков болезни — только быстро появившиеся резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забываемые ближайшие по времени события и удерживаемые памятью события давнишние, детское тщеславие. Человек трудного характера, князь Болконский, будто назло себе и ближним, становится вовсе нестерпимым. Одаренный исключительным умом, острым пониманием людей, железной самодисциплиной, он, точно охваченный какой-то страстью разрушения, делает общую жизнь в доме невыносимой. Жестоко унижает и преследует горячо его любящую и горячо (пусть внешне невысказываемо) им любимую дочь, княжну Марью, и приближает к себе ничтожную, притом весьма практичную кокетку, компаньонку, которой отлично знает цену, капризно тиранит всех, кто живет с ним рядом. Но чуткая сердцем княжна Марья тотчас забывает обиды, когда видит, как отец ищет очки, ощупывая подле них и их не видя, или забывает то, что случилось минуту назад, или делает слабеющими ногами неверный шаг и оглядывается, не заметил ли кто его слабости, или вдруг задремывает за обедом, выпуская из руки салфетку и склоняясь над тарелкой трясущейся головой.

Спустя некоторое время старый князь вновь чрезвычайно деятелен, оживлен. Закладывает в имении новый сад и новый корпус, строение для дворовых, следит за ходом работ. Но хлопотлив он, пожалуй, чересчур. В отличие от принятого им бережного отношения к сну — известное число ночных часов и непременно днем, перед обедом (его поговорка: после обеда серебряный сон, а до обеда — золотой), старый князь спит теперь мало. У него к тому же появляется непонятная странность: изменив давней привычке спать в кабинете, он теперь каждый день меняет место ночлега. То приказывает разбить походную кровать в галерее, то остается на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремлет, не раздеваясь, то ночует в столовой. Почти каждую ночь, когда он ложится, постель, замечает Толстой, начинает равномерно ходить под ним вперед и назад, будто тяжело дыша и толкаясь.

Князь по-прежнему много думает о событиях в мире (настает лето 1812 года), но собственный — предполагаемый план развития начавшейся военной кампании заслоняет от него реальность. Получив письмо от князя Андрея о быстром продвижении наполеоновской армии, он продолжает рассуждать о том, что неприятель не проникнет дальше Немана, что вражеская армия разбита где-то в Польше. И только ночью, выбрав для ночлега место за фортопьяно, где он еще никогда не спал, он *вспоминает* про письмо сына, заново его перечитывает и на мгновенье понимает, что французы около Смоленска, может быть, уже там.

Через несколько дней он узнает, что Смоленск оставлен русскими войсками, и чувствует потребность решительно вмешаться в дело. Удар

настигает его, когда, одетый по полной форме, он садится в коляску, направляясь к главнокомандующему. Княжна Марья, выбежав на крыльцо, видит, как несколько человек ополченцев и дворовых волокут маленького старичка в мундире и орденах. «Прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел».

Князь, парализованный с правой стороны, три недели лежит в беспамятстве, «как изуродованный труп». Нельзя определить, понимает ли он, что делается вокруг, но видно, что он страдает. Он, не переставая *непонятно бормочет, дергая бровями и губами*. По мнению доктора, беспокойство больного вызвано физическими причинами, но княжна Марья убеждена, что отец страдает нравственно и хотел бы сказать ей что-то.

Через три недели ему нежданно становится немного лучше. Князь приходит в сознание, зовет дочь.

«Он лежал высоко на спине, с своими маленькими, костлявыми, покрытыми лиловыми узловатыми жилками ручками на одеяле, *с уставленным прямо левым глазом и скосившимся правым глазом, с неподвижными бровями и губами*. Он весь был такой худенький, маленький и жалкий. Лицо его, казалось, ссохлось или растаяло, измельчало чертами. Княжна Марья подошла и поцеловала его руку. Левая рука сжала ее руку так, что видно было, что он уже давно ждал ее. Он задергал ее руку, и брови и губы его сердито зашевелились».

Старый князь говорит дочери всю жизнь ожидаемые ею слова любви, и силою своей любви к нему она угадывает произносимые им невнятные звуки. В какой-то момент он умолкает, долго молчит, закрыв глаза, кивает головой, как бы в подтверждение того, что теперь все вспомнил и понял, снова говорит, волнуясь, о сыне, о войне, о России, сердито дергает бровями, возвышая хриплый голос, — «и с ним сделался второй и последний удар».

Каждый болеет по-своему. Наташа

В «Войне и мире» мы впервые находим серьезное размышление Толстого, своего рода небольшую статью о медицине и его отношении к ней. «Статья» упрятана в главу про болезнь Наташи Ростовой.

После безумной попытки бежать с Анатолем Курагиным и разрыва с князем Андреем, ее женихом, Наташа не ест, не спит, заметно худеет, кашляет. Доктора — не без иронии сообщает Толстой — постоянно ездят в дом, и отдельно и консилиумами, говорят по-немецки, по-французски, по-латыни и прописывают самые разнообразные лекарства от всех известных им болезней.

И следом — самое главное. Уже без иронии. «Но ни одному из них <*докторов*> не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек; ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь...»

Здесь высказана очень серьезная мысль. Наверно, она особенно близка Толстому из-за его пристального интереса к каждому отдельному человеку. Толстой убежден, что нет болезни *вообще,* что у каждого человека *своя* болезнь, что каждый человек болеет по-своему. Он увлекается, конечно. Трудно себе представить, будто он не понимает, что существует определенный набор, соединение признаков, симптомов, характерных именно для той или иной болезни. Но для него важнее, что эти признаки, симптомы всякий раз сопрягаются с особенностями организма данного человека, картина болезни всякий раз меняется, иногда до неузнаваемости.

Толстой приходит к известному правилу, ставшему аксиомой мыслящего врача: лечить надо не болезнь, а больного. Но, утверждая, что в каждом случае врач имеет дело с чем-то новым, неведомым, даже непознаваемым, он, по существу, отказывает медицине в возможности принести исцеление.

Толстой именно так и развивает тему: врачи полезны, необходимы, неизбежны не потому, что прописанные ими средства оказывают целебное действие. Польза их лечения — нравственная. Они удовлетворяют «той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания». И одновременно нравственной потребности людей, любящих больного.

Когда доктора говорят: «сейчас пройдет», если кучер съездит в аптеку, возьмет на рубль и семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке и если порошки эти принимать в отварной воде, непременно через два часа, не больше и не меньше, — то это и есть, приносимая медициной польза. И для ближних исполнять предписания докторов и заставлять больного исполнять эти предписания — важное занятие, утешение, ощущение оказываемой помощи.

Наверно, Лев Николаевич по-своему прав. Прав, когда размышляет о нравственном значении медицины. Когда видит это значение в том, что она сострадает, хлопочет, вселяет надежду, — но он опять увлекается, доказывая себе и нам, что значение ее только в этом.

Толстой — искусный врач для своих героев. Он все, до малейшей черточки, знает о каждом из них. Он поставил Наташе точный диагноз и назначил ей правильное лечение, увидев, что порошки и пилюли в красивых коробочках исцеления не приносят. «Не было никакой радо-

сти в жизни, а жизнь проходила», — определил он заболевание Наташи. После счастливого времени, когда всё перед ней было открыто и она была открыта для всех, — раскаяние, тоска, досада, что она сама погубила лучшие, счастливейшие годы.

Исцеление Наташе приносит молитва. Не просто участие в церковной службе, а обособление во время службы, уход в себя, внутренний разговор с собой, поиски нового пути. Ее раскаяние — не в слезах и отчаянии, а в «чувстве возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастия». Молитва для нее — не повторение некоторых слов и действий, а сложная душевная работа, попытка понять себя, надежда, что, поняв, можно себя улучшить, значит, всю жизнь свою сделать лучше.

Толстой особенное внимание обращает и на внешние условия молитвы, исцелившей Наташу. Это не обычные церковные службы прямо на дому в богатом особняке Ростовых. Наташа всякий день поднимается теперь в три часа утра, надевает самое дурное свое платье, спешит, содрогаясь от свежести, по едва освещенным зарей улицам в темную, почти пустую церковь, становится на привычное место перед иконой Божией Матери. Она слышит и повторяет, понимая или не понимая их, слова молитв, и у нее является чувство, что она всецело отдается Богу, Который в эти минуты управляет ее душою. Это чувство и приносит ей спокойствие и уверенность в предстоящей жизни.

Глава завершается иронической сценой. Доктор, осмотрев Наташу и принимая деньги, очень доволен, что новое прописанное им лекарство, так хорошо действует...

Десять лет спустя. Кити

Болезнь Наташи через десять лет по-своему повторяется в «Анне Карениной». Юная Кити Щербацкая убеждается в измене Вронского, которого предполагала своим женихом. Девушка чувствует себя несчастной, она в отчаянии. Она больна физически, слабеет день ото дня, здоровье ее все хуже. Мать поручает ее попечению врачей. «Домашний доктор давал ей рыбий жир, потом железо, потом лапис, но так как ни то, ни другое, ни третье не помогало и так как он советовал от весны уехать за границу, то приглашен был знаменитый доктор... Несмотря на то, что все доктора учились в одной школе, по одним и тем же книгам, знали одну науку, и, несмотря на то, что некоторые говорили, что этот знаменитый доктор был дурной доктор, в доме княгини и в ее кругу было признано почему-то, что этот знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может спасти Кити».

Врачебный осмотр девушки и консилиум знаменитого доктора и домашнего Толстой описывает насмешливо и сердито. Мы, читатели,

отлично понимаем, что происходит с Кити, а доктора, не вдумываясь в причины ее душевного недомогания, заняты лишь ее недомоганием телесным, важно ведут бессмысленный ученый разговор — после ухода знаменитого доктора оказывается, что, хотя говорил он очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. «То-то пустобрех», — думает о нем отец Кити, князь Щербацкий, «применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери». Старый князь, «как поживший, не глупый и не больной человек, не верил в медицину и в душе злился на всю эту комедию», — поясняет Толстой.

На заграничном курорте Кити вылечат не воды, не воздух, — целительным окажется сочувствие к страданиям действительно безнадежных больных, угасающих на ее глазах, знакомство с людьми, самоотверженно ухаживающими за ними. «Она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна».

Беседуя однажды о работе скульптора, Толстой выводит (употребив грубое словцо): трудность состоит в том, что скульптор должен передать душу, а приходится лепить задницу. Медицина, какой она видится Толстому, слишком занята телом, слишком доверяет общим — телесным — признакам, симптомам болезни; ей не хватает вдумчивого внимания к душевной жизни больного, к личности каждого отдельного человека. Он записывает в дневнике: «Работа докторов могла бы быть хорошая, коли бы была одухотворена».

Щепотка кремортартара

Духовностью, глубиной понимания того, что происходит с больным, даром сопереживания не отличаются, как правило, врачи, которых мы встречаем в приемных, спальнях и кабинетах вельможных домов (часто это приглашенные из-за границы немцы и французы). Они подмечают лишь отдельные внешние признаки болезни, не схватывая за ними целого, выписывают затверженные из книг лекарства, ведут долгие пустые разговоры, — и вся их «деятельность» оборачивается под пером Толстого чем-то пустым, ненужным, бессмысленным, подчас — до смешного.

Первые врачи на страницах «Войны и мира» появляются в приемной умирающего графа Безухова, где толпа посетителей, родственников, официальных лиц, просто любопытных, более всего желающих узнать завещание, болтая о пустяках, ждет таинственного рокового часа. Доктор Лоррен, француз, судя по всему пользующийся известностью в высшем обществе, сидит в грациозной позе на почетном месте, под портретом императрицы, и беседует о погоде. На вопрос, можно ли дать больному пить, он многозначительно задумывается, смотрит на часы,

наконец, велит взять стакан отварной воды и положить в него щепотку (своими тонкими пальцами он показывает, что значит «щепотка») кремортартара, или попросту говоря, винного камня.

Тут же присутствует и не названный по имени немец-доктор, этот, видимо, попроще, — он ведет с адъютантом разговор о наследстве. Когда в комнату больного относят стакан отварной воды со щепоткой порошка, предписанный Лорреном, немец-доктор подходит к нему как к старшему:

« — Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

— Сегодня ночью, не позже, — сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного...»

Три госпиталя на одного

Как светскому обществу противостоят в «Войне и мире» люди дела и долга, люди внимательного, серьезного отношения к жизни, так и врачам «светским», обслуживающим богатых, именитых пациентов, противостоят военные врачи, действующие на полях сражений.

Военные врачи появляются на страницах «Войны и мира» в госпитале, устроенном после Фридландского сражения в маленьком, разоренном войной прусском местечке. Сюда, в госпиталь, Николай Ростов приезжает навестить раненого друга и командира Василия Денисова.

Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встречает русского доктора с сигарой во рту, за которым следует фельдшер.

« — Вы зачем, ваше благородие? — сказал доктор. — Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных.

— Отчего? — спросил Ростов.

— Тиф, батюшка. Кто ни взойдет — смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут треплемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло... Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши... Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, четыреста больных с лишком!»

В солдатских палатах Ростов видит больных и раненых, которые лежат на полу, на соломе и шинелях; их укладывают в два ряда, головами к стенам, оставляя проход посредине. Многие из них в забытьи, некоторые и вовсе уже умерли — недостает ни времени ни обслуги убрать.

Крымская — Отечественная

Военная часть книги, конечно же, напитана впечатлениями, вывезенными автором из Крыма, из осажденного Севастополя.

Незадолго до приезда Толстого на театр военных действий русская армия потеряла в Инкерманском сражении убитыми и ранеными 12 тысяч человек. Перед этим в битве на реке Альме ранено 3 тысячи. Госпитали Крымского полуострова были рассчитаны на 1950 кроватей. Раненых укладывали во дворах, без крова и пищи. В переполненных госпиталях они лежали на полу, хватали за ноги проходивших мимо врачей и фельдшеров. Матрацы были пропитаны гноем и кровью: менять их — не хватало мешков и соломы. Неслучайно Пирогов, появившись в Крыму, начал с того, что, по собственному его определению, «отделил нечистые раны от чистых».

Между Фридландским сражением и Севастополем почти полвека. Пирогов родится через три года после Фридландского сражения.

Точно так же и перевязочный пункт на Бородинском поле, куда приносят раненого князя Андрея, хотя написан иначе, чем перевязочный пункт в «Севастопольских рассказах», навеян воспоминаниями войны, увиденной Толстым «изнутри».

Перевязочный пункт под Бородином состоит из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березняка. Вокруг палаток, на просторе поля, лежат, сидят, стоят окровавленные люди. В палатке, куда попадает князь Андрей, три стола. Врачи в окровавленных фартуках с окровавленными руками работают сразу на всех трех. (Ларрей, главный врач наполеоновской армии, вспоминает, что после Бородинской битвы сделал за сутки двести ампутаций!)

На ближнем столе доктор в очках режет что-то в коричневато-мускулистой спине сидящего татарина, вероятно, казака, судя по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держат раненого, который, оскалив белые зубы, рвется, дергается, протяжно кричит. (Не забудем: до первой операции под наркозом еще 34 года!)

Этот доктор — о нем дальше несколько строк всего — написан выразительно и любовно. В этих нескольких строках нам открывается его опыт, умение, душевность, его сочувствие больному.

«Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею.

Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.

— Раздеть! Что стоите? — крикнул он сердито на фельдшеров.

Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому-то. И мучительная

боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел».

Насморк Наполеона. Ход болезни — ход истории

«Война и мир» начинается описанием вечера у фрейлины Анны Павловны Шерер. В ее великосветском салоне много толкуют о политике, сообщают и обсуждают последние политические новости.

Но вот маленькая подробность, порой незамечаемая. Хозяйка салона, Анна Павловна, не вполне здорова — кашляет несколько дней.

«У нее был *грипп,* как она говорила», — название болезни Толстой дает курсивом и прибавляет в скобках: «грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими».

Владимир Иванович Даль (а он, напомним, не только составитель знаменитого Словаря, но и дипломированный врач) объясняет: *грипп* — «повальное поражение слизистых оболочек, насморк и кашель с лихорадкой».

Фрейлина Анна Павловна с великим умением устраивает свои разговорные вечера. Как хозяин прядильной мастерской прохаживается по заведению, прислушиваясь к звуку веретен, так и она, прохаживаясь по своей гостиной, тут и там пускает в ход разговорные машины. В тот вечер, который открывает книгу Толстого (июль 1805-го), речь идет о неизбежной войне с Наполеоном. Здесь же, в салоне Шерер, на первых страницах книги появляются некоторые из главных ее героев, другие упоминаются, завязываются сюжетные ходы, определяющие их судьбу...

Решающее событие войны с Наполеоном — семь лет спустя: Бородинское сражение. В «Войне и мире», размышляя о сражении и его исходе, Толстой спорит с учеными, которые преувеличивают роль случайности в исторических событиях. Он строит свое рассуждение вокруг мнения многих историков, убежденных, что выиграть Бородинскую битву французам помешал сильный насморк у Наполеона. Не будь насморка, его распоряжения были бы еще гениальнее, Россия погибла бы и облик мира изменился.

Но для Толстого ход истории, движение народов определяют многие составляющие — гений (великий человек), а тем более случай, играют подчиненную роль. Широко известен образ, которым Толстой обозначает Наполеона: мальчик, сидящий внутри кареты и дергающий за тесемочку, полагает, что правит лошадьми. Если насморк полковод-

ца — причина спасения России, пишет Толстой, то спасителем России оказывается тот камердинер, который за два дня до сражения забыл подать императору французов непромокаемые сапоги. На исход Бородинской битвы насморк Наполеона повлиял не больше, чем насморк Анны Павловны Шерер на расстановку сил в Европе, о которой весь вечер жужжали в ее салоне.

Примечателен еще один образ, который находит для Наполеона Толстой, описывая ночь перед битвой: он небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывают к койке.

Между тем насморк, усилившийся от вечерней сырости, донимает его — он громко сморкается, сосет прописанные ему врачом пастилки, запивая их пуншем. « У меня нет ни вкуса, ни обоняния, — сказал он, принюхиваясь к стакану. — Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Корвизар <*французский врач-терапевт*> дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается, она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время; часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими».

Наполеон не верит, что врачи способны с достаточной ясностью постигнуть устройство человеческого тела, что они в силах даже вылечить насморк, сам же (пусть образ подсказан Толстым — тут суть важна) мнит себя гениальным оператором, способным перекроить по-своему всю историю человечества.

Но слова, вложенные им в уста Наполеона, подчас оказываются нужны — уже не в романе, а в жизни — самому Толстому. Так, он опасается худшего, когда узнает, что Софья Андреевна при лечении женского заболевания применяет прописанные ей сильные средства: «Только могут они, доктора, портить, а пройдет болезнь только от того, что пройдет ее время и организм преодолеет ее».

Можем увидеть в этих словах выпад против врачей, обидеться за них. Но можем увидеть и разумное понимание ограниченности, несовершенства той медицины, которую знал и наблюдал Толстой. Более того — ограниченности всякой медицины, стоящей лишь на уровне развития своего времени и к тому же во всякое время имеющей перед собой неизвестное, предлагаемое индивидуальными особенностями данного больного. Ход болезни, как ход истории, определяется многими составляющими, и Толстой по-своему повторяет известную заповедь, обращенную ко всякому врачу: «Не навреди!»

Пишется — чувствуется

Время «Войны и мира» — не только годы семейного лада: похоже, и здоровье Льва Николаевича в эти годы отличается весьма устойчивым благополучием. Все взаимосвязано, конечно.

Толстой почти не ведет дневник, но из дневника Софьи Андреевны, тогда, правда, тоже редко заполняемого, из писем, воспоминаний, знаем, что на болезни Лев Николаевич жалуется реже, чем прежде.

Самое заметное событие — тяжелая травма правой руки, полученная при падении с лошади осенью 1864 года. Тульские врачи не сумели хорошо вправить поврежденную руку. Лев Николаевич не может свободно, без боли владеть ею. Движения ограниченны. Он едет в Москву, его пользуют ваннами, лечебной гимнастикой, но улучшения не настает. Тогда он решается на операцию.

Ее, как часто водится в то время, делают в домашних условиях, на квартире А.Е.Берса, тестя Толстого. Оперировать приглашен профессор Московского университета Александр Петрович Попов с ассистентами. Описание того, как это происходило, находим в воспоминаниях Татьяны Андреевны Кузминской:

> Операцию делали в спальне матери, предварительно очистив комнату... Рядом в комнате стояли уже наши два служащих: они должны были тянуть больную руку, чтобы сместить ее с прежнего места. Это был самый трудный и тяжелый период операции...
>
> Лев Николаевич очень спокойно приступил к операции, но не мог заснуть от хлороформа. Возились долго. Наконец, он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату:
>
> — Друзья мои, жить так нельзя... Я думаю... Я решил...
>
> Он не договорил. Его посадили в кресло, подливая еще хлороформ.
>
> Он стал окончательно засыпать.
>
> Сидел передо мной мертвец, а не Лев Николаевич.
>
> Вдруг он страшно изменился в лице и затих.
>
> Двое служащих, по указанию Попова, тянули изо всех сил руку Льва Николаевича, пока не выломали неправильно сросшуюся кость. Это было очень страшно. Мне казалось, что без хлороформа операция эта была бы немыслима. Меня охватил страх, что вот он сейчас проснется.
>
> Но нет, — когда рука безжизненно повисла, Попов ловко и сильно как бы вдвинул ее в плечо... Мама подавала лекарства, поддерживала его голову, и после наложенной повязки его стали приводить в чувство. Но это было почти так же трудно, как и усыпить

его. Он долго не приходил в себя. Когда он очнулся, то пожаловался на боль в руке. Я просидела с ним весь вечер. Он страдал от тошноты — следствие хлороформа — и долго мучился ею.

Когда же он через два-три дня писал Соне про операцию, он не упоминал о своих страданиях...

Прошло несколько дней. Лев Николаевич видимо поправлялся. Он принимал к себе всех, кто приезжал навещать его...

Первое время после операции я писала под его диктовку письма к Соне и роман «1805 год», т.е. «Войну и мир». Я как сейчас вижу его: с сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух:

— Нет, пошло, не годится!

Или просто говорил:

— Вычеркни.

Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение... Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша...

Немногие сведения о недомоганиях Толстого во время работы над «Войной и миром» заметно связаны с ходом самой работы, с «пишется — не пишется», с тем, как пишется.

Ранней весной 1865 года, например, головные боли, желчное расположение духа совпадают с характерным творческим периодом, когда обилие нахлынувших мыслей еще не приведено в порядок, мысли не отстоялись, не нашли нужного воплощения в образах, в слове.

«Теперь не пишется, слишком много думается».

«Все ясно, но количество предстоящей работы ужасает».

«Все это время мысли нового, более важного, и недовольство старым»...

Характерные заметки в дневнике: «Был болен... Три дня писал с большим трудом, но все подвигаюсь». Или: «Был нездоров — желчь... Все писал, но неохотно и безнадежно». Или: «Вчера и нынче поработал с напряжением, хотя бесплодно, и уже нынче <!> у меня болит печень и мрачно на душе».

Толстой сам чувствует зависимость своего физического состояния от работоспособности. «Я неспокоен. Я не знаю, болен ли я и от болезни не могу думать правильно и работать, или я распустился так, что не могу работать». И назавтра: «Утро не мог писать. Спал дурно... Все то же лихорадочное состояние».

Много думал и мучительно думал. Завершение эпопеи

Годы работы над «Войной и миром» сам Толстой определяет как годы непрестанного и исключительного труда, который приносил ему

«мучительное и радостное упорство и волнение». Он говорит про себя, что думает не «умом ума», а «умом сердца». Непрестанный, исключительный труд волнует его, дарует удовлетворение, но, близясь к завершению, требует все большего умственного и душевного напряжения (напряжения *ума* и *сердца)*.

«Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет», — отмечает в дневнике зимой 1867 года Софья Андреевна. «Раздражение» в языке того времени означало «возбуждение», «впечатлительность», «подъем», «страсть».

Раздражение приносит Льву Николаевичу головные боли: «У меня недели две, как сделались приливы к голове, и боль в ней такая странная, что я боюсь удара».

Софья Андреевна в письме к племяннице подтверждает: «У Левы все болит голова, такая досада, а всё пишет, так много пишет, думает и утомляется».

Он обращается к врачу, просит поставить ему пиявки или пустить кровь, тот взамен предлагает какие-то «лекарства от нервной боли», которые вызывают у больного лишь повышенную раздражимость. Он начинает лечиться по-своему: назначает себе строгую диету и воздерживается от писания. Тесть, доктор Берс, укрепляет его в таком решении: если бы Лев Николаевич «забыл о войне и мире и занялся охотой, маслобойками, овцами, поросятами и другими подобными поэтическими предметами», его здоровье было бы в совершенно цветущем состоянии.

Но без «Войны и мира» Толстой долго не может. Завершение работы, когда сводятся воедино мысли, образы, сюжетные линии великой эпопеи, требует невероятных усилий духа, но всякий отход от творческого труда несет с собой нездоровье, стократ более мучительное: «Теперь я ничего не могу делать, кроме окончания моего романа». Брату Сергею сообщает: «Я много пишу, оканчивая, и голова все болит, но я не боюсь теперь этой боли».

Все же, приехав в Москву для переговоров с типографией о печатании «Войны и мира», Толстой обращается к известному терапевту Григорию Антоновичу Захарьину («и, как на беду или на счастье, по дороге к нему почувствовал начинающуюся головную боль»). «Захарьин до смешного был внимателен и педантичен; рассматривая меня, заставлял и ходить с закрытыми глазами, и лежать, и дышать как-то, и ощупал, и остукал со всех сторон».

Знаменитый врач находит у Толстого нервное расстройство и камни в желчном пузыре; не исключает «сахарное мочеизнурение» (диабет), но после анализа этот диагноз отпадает. Захарьин прописывает пациенту лечение карлсбадскими водами, холодными купаниями и строгим режимом. Толстой соглашается на все при одном — главном — условии: жить в деревне.

Подробно изложив жене обстоятельства визита, Толстой заканчивает письмо словами: «Я нынче совсем здоров».

В автобиографии Софья Андреевна сообщает об этой поре жизни мужа: он жил весь в мире мысли, творчества и отвлеченных занятий.

Но и «о физическом своем здоровье Лев Николаевич очень заботился, упражняясь гимнастикой, поднимая гири, соблюдая пищеварение и стараясь быть как можно более на воздухе. А главное, страшно дорожил своим сном и достаточным количеством часов сна».

После встречи с Захарьиным головная боль его отпускает. Лишь несколько месяцев спустя в письме к жене, уехавшей из Ясной Поляны в Москву, он сообщает, что со времени ее отъезда не выспался ни одной ночи, и голова болит, *«не мигренно, а нервно»*.

Таким образом, он различает у себя отдельные виды головной боли — *мигренную, нервную...*

Кроме физических недомоганий (точнее, наверно, — одновременно с ними), Толстого настигают порой резкие спады настроения. Возвращаются мучительные думы о бессмысленности жизни перед неизбежностью смерти. Овладев им, они рождают страх надвигающегося, скорого конца: «Мрачные мысли не дают покоя. У меня мало <*осталось жизни?*> — нет надежды. Как будто я не надеюсь на будущее. Предчувствие это или распущенность?»

Тяжелое настроение возвращается с новой, еще большей силой летом 1869-го, после завершения «Войны и мира».

«Он сам много думал и мучительно думал, — рассказывает Софья Андреевна про это первое после «Войны и мира» лето, — говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа; что для него все кончено, умирать пора...»

Арзамасский ужас

В начале осени того же 1869 года, по дороге в Пензенскую губернию, где намеревался прикупить имение, Толстой останавливается на ночлег в Арзамасе.

«Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал, — пишет он жене.

— Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать».

Подробностям чувства Толстой много позже посвятит рассказ «Записки сумасшедшего». В рассказе упомянет чисто *выбеленную квад-*

ратную комнатку, в которой должен был ночевать, *красный* огонь свечи. Эти незначительные, кажется, подробности отзовутся вдруг во «внешнем облике» охватившего его ужаса.

«Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно... Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе... Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе... «Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь». — «Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть... Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно... Я пробовал думать о том, что занимало меня: об покупке, об жене... Но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь... И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать... Все тот же ужас красный, белый, квадратный... Мучительно и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало... Молиться: вспомнил я. Я давно, лет двадцать не молился и не верил ни во что... Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят... Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег, но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть... велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне в душу и отравило всю прежнюю жизнь».

Со слов Толстого, пережитое им в ту осеннюю ночь получит выразительное наименование «арзамасский ужас». Среди полного благополучия — болезненный приступ страха, отчаяния, пылающие, как раскаленные угли, вопросы, на которые смятенный ум не в силах ответить.

«Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь?..»

А он заботится о прибавлении имения, когда не ведает, зачем живет!..

Знаем: такие мысли мучили Толстого и прежде. За десять лет до ночлега в Арзамасе смерть брата так же привела его в отчаяние от непонимания смысла жизни перед лицом неизбежной смерти. Но тогда эти мысли не были так сфокусированы во времени, в «ужасе», как в

памятную арзамасскую ночь. Тогда они как бы растворились в исканиях еще не вполне определившегося Толстого на литературном, семейном, хозяйственном поприщах. А про «арзамасский ужас» Толстой скажет: «это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем».

«Арзамасский ужас» — потрясение, но, быть может, необходимое потрясение. Настигая человека, он открывает перед ним иную, чем прежде, систему мышления, иную систему оценок, преображает прежний, привычный образ мира, представления о том, *что* и *как* должно происходить в нем. В «арзамасском ужасе» фокусируется «страшная» (определит Толстой) внутренняя работа «перестановки всех оценок доброго и злого». Потрясение это дается не каждому: большинство из нас благополучно проживает жизнь, не задумываясь над вопросом, который, полагает Толстой, должен ставить перед собой постоянно, из дня в день, во всяком своем замысле и поступке решать каждый человек на земле: «Зачем я живу?» (и, соответственно: «Как мне жить?»).

Через десять лет после арзамасской ночи Толстой расскажет в «Исповеди», как, имея «со всех сторон то, что считается совершенным счастьем», прятал шнурок, чтобы не повеситься, и не ходил с ружьем на охоту, чтобы не застрелиться.

Прежде чем встретить это в «Исповеди» и про шнурок, и про ружье прочитаем в «Анне Карениной» — в смятенных исканиях Левина отзовется мучительное смятение автора: «Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни».

Глава 8
ПРИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ

Что ж непонятная грусть...

В тяжелом настроении этих лет сошлись основные вопросы жизни, издавна волновавшие Толстого, и ощущение «творческой пустоты», возникшей после окончания титанического труда. О духовном состоянии творца, вдруг оставшегося «без дела», писал Пушкин, прощаясь с «Евгением Онегиным»:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?

Вслед за «Войной и миром» Толстой замышляет широкого размаха роман о Петре Первом и его времени, знакомится с историческими материалами, обдумывает сюжетные линии и характеры действующих лиц. Работа подчас захватывает его, но, по многим причинам, нет в ней того, о чем Лев Николаевич говорил, что потребность писать должна быть неотвратима, как кашель.

К этой же поре относятся увлеченные занятия древнегреческим языком. Чтение древних авторов помогало Толстому в его размышлениях о собственном творчестве, но, конечно же, не могло заменить собственного созидательного труда.

«У меня... нет ничего, над чем бы я работал. Я нахожусь в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и вместе с тем упорства внутренней работы, — рассказывает Толстой осенью 1870-го в письме к поверенному многих его дум, философу и критику Николаю Николаевичу Страхову. — Может быть, это состояние предшествует периоду счастливого самоуверенного труда, подобного тому, который я недавно пережил, а может быть, я никогда больше не напишу ничего».

По свидетельству Софьи Андреевны, творческое бездействие (она справедливо полагает, что это — «умственный отдых») очень мучает Толстого: ему *совестно* его праздности перед близкими и *перед всеми*.

В ту же пору Лев Николаевич жалуется Фету, что тоскует и ничего не пишет, хотя работает мучительно, обдумывая «предстоящее сочинение, очень большое» (роман о Петре).

Работает мучительно, но — ощущение бездействия, праздности. Ему нужна не просто работа, а полная духовная и душевная вовлеченность в нее.

Видимо, это ощущение бездействия отзывается на его здоровье. 1870-й и 1871-й — годы постоянного недомогания.

«Болен — грудью и боком», «сухой, короткий и редкий кашель», «боль глаз, которая усиливается от ветру и бессонницы», «род лихорадки и боль зубов и коленки; страшная ревматическая боль, не дающая спать» (кричал от боли)...

Но: сообщение о болезни груди и бока сопрягается по времени с записью в дневнике жены: «Мы с ним сейчас катались на коньках, и он добивается уметь делать все штуки на одной и на двух ногах, задом и круги и проч. Это его забавляет, как мальчика».

Собственное его описание зимнего времяпровождения также любопытно и несколько неожиданно завершается упоминанием болезни: «Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю; играю в безик <*карточная игра*>, хожу на лыжах, на коньках бегаю и больше всего лежу в постеле (больной), и лица драмы или комедии начинают действовать» (он одновременно обдумывает замысел комедии и замысел драмы из русской истории).

Другое письмо, более лаконичное, помогает угадать причины и следствия: «Я *хвораю* почти всю зиму... Я ничего *не пишу*».

Падающий телом и духом

Напряженные творческие поиски и вместе отсутствие побуждения начать новую большую работу, чуткое понимание того, что для такой работы путь еще не найден, пугающая мысль — сможет ли вообще когда-нибудь, — все это сильно его угнетает. Тоска, недовольство собой, чувство пустоты быстро проходящего времени рождают тяжелые раздумья о жизни вообще и о собственной жизни.

Можно предположить, что зимой 1871 года Толстой пережил какой-то тяжелый психологический кризис, который, если и не подвинул его к решению изменить свою жизнь, то подготовил такое решение.

Припомним: именно в ту зиму он почувствовал, что «лопнула струна» семейной жизни, впервые после женитьбы ощутил свое одиночество.

В короткой дневниковой записи, единственной в том году, Софья Андреевна называет его состояние нездоровьем, болезнью: «Он говорит: “старость”, я говорю: “болезнь”»...

Много позже она будет вспоминать, как Лев Николаевич целыми днями лежал молча на постели и мрачно смотрел перед собой. Предложения жены ехать для лечения на кумыс встречает враждебно: «Оставь меня в покое. Ты мне и умереть не дашь спокойно».

Он думает о приближении смерти: «...Был и есть болен, *сам не знаю чем,* но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как называть конец. Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет».

Чтобы не возвращаться к этому, скажем наперед, что такой же или очень похожий упадок сил душевных и физических настигнет Толстого и на распутье по завершении следующей большой работы, романа «Анна Каренина». В его письмах и свидетельствах близких встречаем буквально те же обозначения его недомогания: «нездоровится физически и нравственно», «самое унылое, грустное, убитое состояние духа», «мучительно и унизительно жить в совершенной праздности», «все так же презренен и противен самому себе», «совсем разнемогся»...

Софья Андреевна уговаривает его отправиться к Захарьину, — в письме к сестре она передает физические признаки заболевания мужа: «Захарьин поставил ему пиявки, но лучше не стало. Хотя на вид он и здоров, то есть толст, красен, всё ест, но руки холодные, голова постоянно болит, пойдет ходить — устанет. Спит и вздрагивает ужасно, и я боюсь одного — удара. Судя по словам Захарьина, он не считает этого невозможным».

Очень примечательно обозначит характер своего недомогания сам Лев Николаевич: «чувствовал себя больным и падающим телом и духом, и тоже *не мог бы сказать* (у докторов я и не спрашиваю), *что со мной было, — но я был болен»*. Софья Андреевна, склонная всматриваться в малейшие оттенки его самочувствия, напишет сестре: «Здоровье Левочки не очень дурно, но он весь очень ослабел: и желудок, и силы, и расположение духа, и простуде стал подвержен. *А главное, не может писать и работать*. Это ему отравляет жизнь».

Несколько лет спустя — в период очередного творческого «застоя» — он жалуется (в письмах из Ясной к Софье Андреевне в Москву) на усталость, нервы, унылое состояние, на головную боль «помигренному», — «это период моего желчного состояния: во рту горько, ноет печень и все мрачно и уныло». Но... — обнадеживает он жену, себя самого, — приходят в голову мысли о поэтической работе.

Софья Андреевна откликается восторженно: «Каким радостным чувством меня вдруг охватило, когда я прочла, что ты хочешь опять писать в *поэтическом роде... <курсив С.А.>* Вот в чем спасенье, радость; вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь» (семейный разлад — всё очевиднее).

Толстой отвечает: «Должно быть, я нездоров был и теперь поправляюсь... Я почти уверен, что мне будет лучше после этой мигренной головной боли и особенно горечи во рту... *Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком*».

Николай Николаевич Гусев убежден: *«Во всю свою жизнь Толстой заболевал не столько от физических, сколько от нравственных причин»*.

Причины физические и нравственные

После мрачной зимы 1871-го Лев Николаевич решает все же вновь обратиться к целительному кумысу, отправляется в уже знакомое ему башкирское кочевье Каралык. Он еще на пути туда — с парохода спешит уведомить жену: «Здоровье мое не только ничего, но кажется мне, даже совершенно хорошо».

Но это — под горячую руку, от быстрой смены впечатлений, отказа от привычных условий жизни. Через день он признается, что «до сих пор не выходил из тоски», четко отделяет здоровье физическое от душевного: «Я бы сказал, что совсем здоров, коли бы не бессонницы и очень унылое расположение духа», надеется, что «арзамасского ужаса» на сей раз не случится (значит, думает о нем, боится).

Наконец, уже по приезде на место: «Здоровье все нехорошо. С тех пор, как приехал сюда, каждый день в 6 часов вечера начинается *тоска <курсив Толстого>,* как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не смогу лучше передать, как то, что душа с телом расстается... Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать»... Он дает себе десять дней: «Если не пройдет тоска и лихорадка, то поеду домой... Нет умственных, *и главное поэтических,* наслаждений. На все смотрю, как мертвый... Только вижу, что есть; понимаю, соображаю, но *не вижу насквозь,* с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, — хочется плакать».

Настроение понемногу развеивается («кумыс удивительный напиток»), дух укрепляется, пробуждается здоровое, сильное поэтическое чувство: «Здесь очень хорошо и значительно всё... Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия... Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа».

Плаксивое расположение уступает место бодрости, Толстой ведет простой, здоровый образ жизни, много двигается, гуляет, путешествует по окрестным деревням, знакомится с местными жителями. Лев Николаевич не только сам полон душевных сил — он разгоняет уныние, заряжает энергией других больных, собравшихся на

кочевье для лечения кумысом. Он, похоже, всерьез, говорит знакомым, что это «жена сделала фальшивую тревогу, отослав меня на кумыс и убедив меня, что я болен».

Но чем ближе подходит к концу срок, отведенный на лечение, тем очевиднее, если не осознается то чувствуется, скорей же всего, и то и другое вместе, что главной причины дурного самочувствия — душевного кризиса, вызванного мучительными вопросами о смысле жизни и отсутствием мощной творческой задачи, которая целиком захватила бы писателя, открыла ему пути решения этих вопросов — кумыс не устранил. Среди восторженных гимнов кумысу, степи, жаре, простоте жизни, поправившим его здоровье («Здоровье мое хорошо, и так хорошо!..»), на исходе лечения в его письмах вновь проскальзывают упоминания про тоску нравственную, которая преобладает над физической: «и не знаю, когда кончится мое мученье». Что же до физического самочувствия: «Сам *не знаю, насколько я нездоров,* но нехорошо уж то, что *принужден* и не могу не думать о моем боку и груди. *И прислушиваюсь».*

Он возвращается домой, по его оценке, «кажется, поправившись». Но это — в письме к Фету, слог же письма зависит от принятого обычая говорить с адресатом. Софья Андреевна в дневнике опровергает суждение мужа: «Кумыс, который он пил два месяца, не поправил его; болезнь в нем сидит; и это я не умом вижу, а вижу чувством по тому безучастию к жизни и всем ее интересам, которые у него появились с прошлой зимы».

Ни Софья Андреевна, ни, в полной мере, даже сам Толстой, оба пока не ведают, что в нем, параллельно всем тем работам, которые он так мучительно обдумывает, будто само собой вызревает новое творение, которое вскоре на несколько лет целиком его захватит, заново пробудит его к жизни и ее интересам. Более того: интересы жизни, которые тревожили его, ставили перед ним вопросы о смысле его существования, окажутся вобраны в новый роман, будут искать ответ на его страницах.

18 марта 1873 года, по свидетельству Софьи Андреевны, «Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого». Минула неделя всего — сам Толстой замечательно рассказывает, как он, читая незавершенный прозаический отрывок Пушкина, «невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен и который будет готов, если Бог даст здоровья, через две недели и который ничего общего не имеет со всем тем, над чем я бился целый год».

«Анна Каренина» — новый роман — будет готова не через две недели, и не через два месяца, и даже не через два года. — Работа продлится

целых четыре года, периоды здоровья будут перемежаться с полосами недомогания, и, как всегда у Толстого, трудно различить, идет ли хорошо работа, потому что Бог дал здоровья, или Бог дает здоровья, потому что работа идет хорошо. Через девять месяцев после приведенной записи, что роман начерно готов, Толстой признается: «Моя работа с романом на днях только пошла хорошо в ход. *А то все был нездоров и не в духе».*

Еще о физическом и нравственном. Годы 1899-й и 1897-й

Размышляя о болезнях Толстого, следует непременно учитывать обе составляющих выведенной Н.Н.Гусевым формулы, их взаимодействие, взаимозависимость.

Начало самых что ни на есть физических по проявлениям заболеваний часто оказывается для нас непостижимо связанным с его душевным — нравственным — состоянием. Сейчас специалисты в силах объяснить эту связь. Врачам толстовского времени она была, как правило, недоступна. Ее скорее угадывают близкие, хорошо знающие душевный мир Толстого, особенности его характера, внутренней жизни.

Смолоду и до старости Лев Николаевич страдает заболеванием желудка и печени с острыми болями, коликой, потом, температурой, рвотой. Заболевание печени, желудка не вызывает сомнений, тяжелые приступы и недомогания отмечены в дневнике, письмах Толстого, в дневниках и письмах домашних, знакомых, свидетельствах лечивших его врачей.

Один из самых острых приступов развивается в ноябре 1899 года, начавшись, по обозначению самого Льва Николаевича, с «постоянной, не сильной боли живота, но которая всякую минуту при неосторожности угрожает перейти в большую боль» — «и при этом слабость и вялость, которые проходят только редко». Через две недели его сражают сильнейшие боли (кричал, корчился, поднимал ноги), рвота (пищей, затем — желчью, кровью), пульс резко падает, температура — 35,5. Врачи пользуют его печень, предлагают общеукрепляющие средства. Лечение постепенно оказывает свое благое действие. Но Софья Андреевна, объясняя возникновение приступа, называет первой причиной не обычное для Льва Николаевича пренебрежение диетой (хотя и сердится, что наелся через меру гречневой каши), не перегруженность работой (хотя и это замечает), а замужество дочери Тани, о которой он «очень плакал и горевал».

Дочери Толстого, Таня и Маша, обе выходят замуж поздно, младшая, Саша, не выйдет вовсе. Лев Николаевич относится к замужеству дочерей очень болезненно (что не мешает ему, когда уже свершилось, быть в добрых отношениях с их мужьями), видит в этом отступление от

идеала, шаг назад, на иной, низший, по сравнению с прежним уровень жизни. Уход дочерей из родительского дома для него невосполнимая личная утрата. Дочери духовно гораздо ближе с отцом, чем сыновья, восприимчивее к его мыслям о жизни, к его учению, постоянно и энергично помогают ему в работе. Есть в отношении Толстого к замужеству дочерей и не объясняемая доводами разума сильная ревность — он очень ревнив.

Когда Таня перед венчанием (за неделю до приступа) заходит к отцу, Лев Николаевич, по словам Софьи Андреевны, «так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни». Месяц спустя, уже подводя итоги болезни, она напишет совершенно определенно: «Лев Николаевич горевал и плакал по Тане ужасно *и наконец* заболел сильнейшими болями в желудке и печени».

Вывод Софьи Андреевны не покажется преувеличением, если события 1899-го сопоставим с теми, что происходили двумя годами раньше, в 1897-м. Тогда у Толстого случился точно такой же «желудочно-желчный припадок»: «Он сидит согнувшись и охает, и пот с него так и льет, пришлось тотчас же рубашку сменить... — читаем у Софьи Андреевны. — Мы принялись хлопотать: припарки из льняного семени, сода, ревень. Ничего не помогало, и всякие внутренние средства вызывали рвоту, и от рвоты — нестерпимые боли. Всю ночь он не спал, боль продолжалась, и мне ночью страшно стало за его жизнь».

Это — физическое. Взглянем теперь на то нравственное, которое сопровождает приступ или сопровождается им.

Несколькими неделями раньше — замужество любимой дочери Маши. Узнав о свадьбе, Лев Николаевич (очень любовно) пишет ей, что в браке видит «падение»: ««Да ты это и сама знаешь, но, с другой стороны, я радуюсь тому, что тебе жить будет легче, спустив свои идеалы...». Но чему суждено, то случается. Выздоравливая, он заносит в дневник: «Маша вышла замуж, и жалко ее, как жалко высоких кровей лошадь, на которой стали возить воду. Воду она не везет, а ее изорвали и сделали негодной. Что будет, не могу себе представить...»

Этого мало. В ту же пору Толстой глубоко переживает увлечение его жены композитором Сергеем Ивановичем Танеевым, который бывает и в Ясной Поляне. Отношения Софьи Андреевны с Танеевым не дают оснований для ревности, но Лев Николаевич, по его словам, испытывает «почти физические страдания», живет в «ужасном положении унизительных подозрений, дерганий и разрываний сердца».

Толстой решается было уйти из дома, чтобы дожить оставшиеся годы в уединении. Письмо к жене о принятом решении пишется почти тотчас, едва стихает приступ. Толстой на этот раз не уходит и письма не отдает. Вскоре у него случается новый приступ, Софья Андреевна полагает, что он переел картофеля.

Постепенно все налаживается — и физическое, и нравственное. Софья Андреевна свидетельствует: «Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis, потом верхом ездил на Козловку; хотел ехать на велосипеде, но он сломался. Да, сегодня он и писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура!»

Толстовский календарь

«Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает»... Это — Пушкин. Пристрастие поэта к осенней поре («очей очарованье») хорошо известно, как и его плодородные «Болдинские осени» — месяцы непредставимого по мощи и размаху творческого подъема.

Толстовский календарь рознится с пушкинским. «Я в своей работе <*над «Анной Карениной»*> очень подвинулся, но едва ли кончу раньше зимы... — сообщает он Страхову в сентябре 1873-го. — Как живописцу нужно света для окончательной отделки, так и мне нужно внутреннего света, которого всегда чувствую недостаток осенью».

Лучше всего работается Толстому, когда дни начинают прибывать, и света с каждым днем прибавляется: «Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время».

Признания вовсе не означают, что в остальное время года пишется дурно или, тем более, вовсе не пишется.

Замечание об осенней нехватке света, скорее всего, след бесед, которые Лев Николаевич ведет в те дни, когда отправляет письмо с живописцем Крамским, занятым его портретом. Толстовские осени вовсе не бесплодны, как может показаться из приведенных слов. Вот и после письма Страхову, уже *в октябре,* он занят как раз тем, что *отделывает, изменяет и продолжает роман.* В ноябре работа также идет «хорошо, даже очень хорошо».

Восемью годами раньше, с головой занятый «Войной и миром», он тоже *в ноябре,* в самую темную осеннюю пору, докладывает отцу жены, доктору Берсу, что «опять и опять» переделывает 3-ю часть романа: «Эта *последняя работа отделки* очень трудна и требует большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с трудом, уже нельзя остановиться, и, не останавливаясь, катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины...»

Также и зима, если дело идет хорошо, не приносит упадка творческих сил. Совсем наоборот. «Зимою зарабатываюсь», — говорит он о себе. И брат Софьи Андреевны, смолоду подолгу живший с Ясной, утверждает категорически: Толстой писал преимущественно

зимою. В одном из августовских писем Лев Николаевич сообщает адресату, что наконец-то после лета «прилаживается» к настоящей своей жизни — *зимней* работе.

Так, приладившись и «разогнавшись» с осени, Толстой до середины февраля не оставляет «Анну Каренину»: пишет и, по всегдашней привычке, перемарывает без конца. В середине февраля сообщает Страхову: «очень занят и много работаю», «написано уж так много и отделано». И того более: «никогда еще со мною не бывало, чтобы я написал так много, никому ничего не читая и даже не рассказывая...»

Начальное весеннее время, радостная пора пробуждения природы, которую называют «весной света», скорее всего, влияет на творчество Льва Николаевича не прямо, а опосредованно, действуя на его физическую и психическую натуру. В молодости (ему — тридцать) он пишет восторженно А. А. Толстой погожим апрельским днем: «Весна!.. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность и прелестная будущность... По этому случаю к этому времени идет такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто не испытавший этого чувства, не может себе представить. Все старое прочь, все условия света, всю лень, весь эгоизм, все запутанные, неясные привязанности, все сожаленья, даже раскаянье — всё прочь!..»

Толстой постоянно живет среди природы, с вниманием и чувством отзывается душой на все, что происходит в ней. В его дневнике и записных книжках находим в обилии чудесные заметки о жизни природы, которые поражают меткостью взгляда и душевной чуткостью.

С первым дыханием весны Толстой всем существом, как деревья, как трава, как животные в лесу, чувствует пробуждение после долгого зимнего покоя, высвобождение из-под снега и темноты, зов света, солнца, движение замерших на время жизненных соков. Весна для него, как для природы, начало новой жизни. Погожим весенним днем — он молод, ему еще нет тридцати, — записывает:

«Из дерева не делается человек, потому что дерево счастливее человека, а из человека делается дерево и трава. Ничто не умрет и я не умру никогда и вечно буду счастливее и счастливее...

Погода после долгого ненастья разгуливается. На ярко золотом из облаков фоне, против запада, березки без листьев красны с отливом...

Радость при виде первого сева...»

Но — три дня спустя — что-то переменилось в настроении и, хотя весна хозяйничает вокруг, «прет зеленея всё», чувство вечного счастья отчего-то покидает его: «Весна; всё растет, а я камень, вокруг него лезет трава, а он мертв, а было время...» Но доброе время не миновало, и уже назавтра — весеннее, безоглядно радостное: «Чудный день... Я угорелый...»

Неслучайно, конечно, роман «Воскресение» — о духовном воскресении человека — открывается описанием весеннего дня, картиной воскресающей природы.

Это чувство воскресения, ощущение в себе начинающейся новой жизни со всеми ее радостями и возможностями, которое пробуждается в нем всякий год вместе с весной света, наверно, и рождает в его душе внутренний свет, необходимый, чтобы ясно увидеть новое свое творение и вполне оценить его.

Перерывы в работе возникают у Толстого чаще всего летом, с конца мая. Причина этому — деревенские хозяйственные заботы, крестьянский труд, столь любимый Толстым. «Летом ему не пишется», — свидетельствует Софья Андреевна. Нарушают привычный распорядок также гости, родственники и знакомые, которые в обилии навещают Ясную Поляну, заживаются в ней, кто на несколько дней, а кто и надолго. «У нас началась весенняя, летняя жизнь, и полон дом гостей и суеты. Эта летняя жизнь для меня точно как сон; кое-что, кое-что остается *из моей реальной зимней жизни,* но больше какие-то видения, то приятные, то неприятные из какого-то бестолкового, не руководимого здравым рассудком мира».

Если проследить состояние здоровья Толстого на протяжении всей его жизни, никак нельзя сделать вывод, что зимой он болел больше, чем летом. Исключение, пожалуй, — 1870-е годы. С 1875-го по 1879 год его всякую зиму донимает простуда.

В феврале 1877-го он к тому же во время лыжной прогулки падает и ударяется головой о дерево. «Удар, — по словам Софьи Андреевны, — был настолько силен, что он ошалел, и была шишка на одном месте и шрам на другом. С тех пор у него все болит голова и приливы очень сильные». На боли и приливы Толстой жалуется более месяца и, будучи по делам в Москве, обращается к доктору Захарьину.

Осень и зима тяготят Толстого не болезнями: долгие темные вечера и ночи, однообразие пейзажа, укороченные прогулки, недостаток физического труда, в котором он постоянно нуждается, с каждой неделей пробуждают все более нетерпеливое ожидание весны. Канун весны, как последние минуты для стоящего на часах или на вахте, кажутся Толстому особенно трудными и физически, и психологически. Софья Андреевна говорила, что Лев Николаевич боится февраля, прибавляя, что сама ноября боится. Предчувствия Софьи Андреевны точнее: оба (с разрывом в девять лет) покинут этот мир в ноябре.

Глава 9
НО БЫЛО ДРУГОЕ

Первое приближение

9 ноября 1873 года, проболев двое суток, умирает младший в ту пору сын Льва Николаевича и Софьи Андреевны — Петя. Ему исполнился год и четыре месяца. Причиной смерти Софья Андреевна называет «болезнь горла». Брату Сергею Николаевичу Толстой объясняет: «Его задушило горло, то, что они называют круп». И прибавляет — очень существенное: «Нам это внове и очень тяжело, главное — Соне».

Здесь важно это — *внове:* за одиннадцать лет общей жизни первая смерть в семье Толстых. Смерть Пети не только первая в собственной семье Толстого: это первая смерть близко им увиденная, пережитая рядом после смерти брата, Николая Николаевича. И как всякое событие, с которым соприкасается Толстой, она возбуждает в нем раздумья общего характера, из которых он делает для себя выводы, составляющие постоянный предмет его духовной заботы — *как жить?*

Через несколько месяцев после кончины мальчика он пишет: «Если потерей любимого существа сам не приближаешься к своей смерти, не разочаровываешься в жизни, не перестаешь ее любить и ждать от нее хорошего, то эти потери должны быть невыносимы. Но если подаешься на это приближение к своему концу, то не больно, а только важно, значительно и прекрасно. Так на меня, да и на всех, я думаю, действует смерть... Хороня Петю, я в первый раз озаботился, где меня положить».

Новое, единственное, неожиданное

Мысли Толстого, как видим, неутешительны. Но он должен усвоить, пережить их, чтобы двинуться дальше в своих напряженных духовных поисках. В романе «Анна Каренина», который пишется в это время, раздумья о смерти, о ее неизбежности, об отношении к ней мучительно занимают Левина, счастливого семьянина и помещика. Не осознав отношений жизни и смерти, невозможно понять, зачем живешь на свете, понять подлинную цену дарованного тебе счастья.

Через семь месяцев после смерти Пети — в Ясной новая потеря: дожив до 82-х лет, умирает «тетенька» Татьяна Александровна Ергольская. «Я с ней жил всю мою жизнь. И мне жутко без нее», — отзывается Лев Николаевич на ее кончину. «Для меня это разорвалась одна из важных связей с прошедшим».

Сообщая Фету о случившемся, Толстой пишет: «Смерть ее была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно выразительным событием». Обратим внимание на определения: *как всегда* — и все же *новое, единственное, неожиданное*. Он не умеет привыкнуть к смерти: всякий раз она по-новому его поражает. Поражает — удивляет. И поражает — ранит.

Софья Андреевна (еще при жизни его) свидетельствует: мысль о смерти никогда не покидала и не покидает Льва Николаевича. «Она его мучает, интересует, волнует, порою ужасает, порою смиряет, — но держится твердо и безотлучно».

Встречаясь со смертью, всегда новой, неожиданной (Татьяна Александровна долго болела, стала совсем немощной, «живым трупом», по слову Толстого, но вот же, все равно — *неожиданно),* Толстой заново ее обдумывает, «примеряет на себя», готовится.

Но смерть к тому же всегда — единственное событие. «Научиться умирать у нее <у *тетеньки*> нельзя, — пишет Толстой брату Сергею. — Она жила, как ребенок, и так и умерла».

«У нас очень грустно...»

Еще полгода — и новое горе. Смерть, долгое время обходившая стороной дом в Ясной Поляне, теперь будто поселилась в нем и нипочем не желает его покинуть. На этот раз она выбрала жертвой опять же младшего ребенка в семье, десятимесячного Николеньку, — он появился на свет уже после кончины Пети.

Николенька умирает в феврале 1875-го, видимо, от менингита. О ходе болезни Толстой рассказывает в письме к брату: «У нас же очень плохо. Николенька, т.е. грудной, вот уже 3-ю неделю болен мозговой болезнью, и нет никакой надежды на выздоровление. Сначала рвало, потом стали делаться припадки — глаза остановятся, и икота, — и теперь продолжается все то же, только равномерно и медленно слабеет. Соне очень тяжело: кормить, ходить за ним и ждать смерти. И мне тяжело, особенно за нее... Вообще у нас очень грустно. Ты терял детей этой самой болезнью, поэтому знаешь это».

В автобиографии Софьи Андреевны находим пронзительно печальное описание похорон: «На третий день мы повезли его с Л.Н. хоронить в закрытом возке. Оба мы были нездоровы; морозу было 20 гра-

дусов и страшная метель. Когда поставили открытый гробик на снег, с ребенка ветер рвал кисею, покрывавшую его, венчик с головы; шубы наши распахивало ветром, который издавал страшные звуки. Уже ни о чем не могли мы ни плакать, ни думать. Похоронами спешили, и только одно нас заботило обоих, чтобы мы не простудились. Я боялась за Л.Н., он за меня».

Каждая смерть — новое событие еще и потому, что каждая предыдущая учит чему-то. Пережив смерть Пети, Толстой признается, что ребенок был еще слишком мал, чтобы иметь для отца какую-нибудь прелесть. Но пережитое не ушло, осталось в памяти, в мыслях, в душе, многое поменяло в его чувствах, представлениях. Пройдет больше года после смерти Николеньки — он еще младше Пети — Лев Николаевич напишет: «Прелестный ребенок (несколько месяцев уже видна была чудесная, милая натура)...» И: «До сих пор больно, очень больно...»

Смятение

«Жизнь с осложнениями, смертями и болезнями ввергла нас тогда обоих с Л.Н. в полную апатию», — будет вспоминать Софья Андреевна. Она-то убеждена, что нужно сменить одинокую деревенскую жизнь на что-то совсем иное — отправиться в заграничное путешествие, перебраться в город. Но, продолжает она с укором, жизнью тогда всецело руководил Лев Николаевич, и они продолжали жить в Ясной Поляне, разве что «ездили на еще труднейшую жизнь — в Самарские степи».

На кумыс отправляются в начале лета 1875-го. По дороге, в Москве Софью Андреевну, в последнее время недомогавшую, осматривает доктор Захарьин. «Захарьин сказал, что мое здоровье, особенно нервы, так расстроены, что надо лечиться, и особенно беречься. Что чахотки пока нет, но может сделаться. Помню, как он с укором сказал Льву Николаевичу: «Однако вы не поберегли ее». И потом прибавил: «Главное — диету молчания. Детей не учить. И ничего не делать правой рукой. Переписывать — строго запрещаю». И действительно, я верно переработала, потому что при прикосновении Захарьина к какому-то нерву правой лопатки — я вскрикивала от боли на всю комнату, и потом долго, долго после я испытывала ту же боль. По-видимому, Л.Н. немного испугался и стал очень ко мне добр, и берег меня, насколько умел. Трудно это было ему, он не привык...» <*С.А.Толстая пишет воспоминания уже в 1900-е годы, в пору глубокого семейного разлада; отсюда часто их тон*>.

Кумыс на этот раз не приносит желаемого исцеления. В Самарских степях, при всех неудобствах быта, тем более что поехали с детьми, Лев Николаевич и Софья Андреевна вроде бы на время оживают: их развле-

кают наблюдения за жизнью степного народа, башкир и русских переселенцев, недальние путешествия на ярмарки, покупка лошадей, башкирские скачки, устроенные самим же Толстым, но уже на третий день по возвращению в Ясную Поляну он пишет брату: «пора умирать».

Налаживается было кончать затянувшуюся «Анну Каренину», но — «не идет», «не берет». Вместо окончания романа он начинает статью, в ней хотел бы высказать главное, что ныне его занимает, что делает такой напряженной, часто мучительной его внутреннюю жизнь. От статьи уцелеют лишь отрывки, но и они передают душевное состояние, которое им владеет.

Ему сорок семь лет — наступила старость, — размышляет Толстой. Внешние явления мира потеряли для него интерес. Если и появляется у него желание вывести необыкновенную породу лошадей, затравить разом на охоте десять лисиц, написать книгу, которая вызвала бы громкий успех, приобрести миллион состояния, выучиться по-арабски и по-монгольски, то, он знает, что желания эти «не настоящие, не постоянные», что это только «остатки привычек желаний»: «В те минуты, когда я имею эти желания, внутренний голос уже говорит мне, что желания эти не удовлетворят меня». Он не видит впереди ничего, кроме смерти, и от этого испытывает порой «недостойный ужас». Но сознание не позволяет ему допустить, что жизнь человека, жизнь разумного существа всего лишь, по слову поэта, «пустая и глупая шутка». Нет, жизнь наша не бессмысленна — мы сами придаем ей неверный смысл. Уяснить ее подлинную цель — значит побороть безнадежность и отчаяние...

В эти трудные осенние месяцы 1875 года с Львом Николаевичем происходит странный случай, оставшийся в памяти домашних. Однажды ночью, идя из кабинета в спальню, он заблудился в темноте — это в доме, который знает как свои пять пальцев! — сильно испугался, начал отчаянным криком звать жену. Софья Андреевна выбежала и отвела его в нужную комнату. «Этот случай я не могу объяснить иначе, как болезненным припадком, — итожит событие сын Сергей Львович. — По-видимому, у него в эту ночь повторилось то ужасное настроение, которое он называл «арзамасской тоской».

У Софьи Андреевны от волнения начинается «сильный припадок коклюшного кашля, с задыханием и завыванием», она долго не может прийти в себя.

Софья Андреевна тяжело заболевает. Тульский врач считает ее болезнь лихорадкой и, чтобы снизить температуру, прописывает ей большие дозы хинина. Облегчения не наступает, Толстой пишет в Москву, Захарьину, с просьбой либо приехать самому, либо прислать хорошего врача. Захарьин присылает в Ясную своего ассистента Василия Васильевича Чиркова (впоследствии Толстые не раз будут к нему об-

ращаться), он определяет воспаление брюшины. 30 октября 1875-го Софья Андреевна преждевременно рожает дочь. Девочка, названная Варварой, умирает в тот же день.

Тогда же, пересказав Фету, что творится в доме, он заключает: «Страх, ужас, смерть, веселье детей, суета, доктора, фальшь, смерть, ужас. Ужасно тяжело было». В этом перечне, где трижды — *ужас,* «фальшь» не в большей степени относится к докторам, чем к суете, веселью детей. Фальшь, вздор — наше понимание содержания жизни перед лицом смерти; доктора — лишь частность в таком понимании.

Но было другое...

Но смертный 1875-й на этом не завершается. 22 декабря, под Рождество, в Ясной Поляне уходит из жизни Пелагея Ильинична Юшкова, тетка Толстого, сестра его отца. Незадолго до кончины она перебралась в Ясную Поляну из тульского монастыря, где доживала свои дни.

В свое время Пелагея Ильинична стала опекуншей сирот Толстых; у нее в Казани поселился 13-летний Лев с братьями и сестрой. Лев Николаевич был не слишком высокого мнения о душевных достоинствах тетки: «добрая (так все знавшие ее говорили про нее) и очень набожная», притом «легкомысленная и тщеславная» (есть у него и более резкие оценки). Софья Андреевна с его слов рассказывает о ней: «Это была добродушная, светская, чрезвычайно поверхностная женщина... Всегда живая, веселая, она любила свет и всеми в свете была любима; любила архиереев, монастыри, работы по канве и золотом, которые раздавала по церквам и монастырям; любила поесть, убрать со вкусом свои комнаты, и вопрос, куда поставить диван, был для нее огромной важности».

О болезни тетки Лев Николаевич в середине декабря пишет брату: «Она очень жалка. Ничего не ест и то лежит, стонет от боли то в ноге, то в груди, то в пятке другой ноги, то вдруг освежится и говорит, что ей лучше. Но слабость ужасная — ходит под себя. И умирать не хочется. Один раз только она сознала свое положение и думала, что умрет». Тон письма не очень вроде бы и сочувственный, тем знаменательней отзыв на кончину Пелагеи Ильиничны: «Смерть тетеньки оставила во мне ужасно тяжелое воспоминание, которое не могу описать в письме. Умирать пора — это не правда; а правда то, что ничего более не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно».

Смерть Юшковой еще более разбередила острые, жгучие вопросы, тревожащие Толстого, усилила тяжесть впечатлений от предыдущих смертей, зримо им пережитых. Через три дня после ее кончины Толстой начинает новую статью на тему жизни и смерти — «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни». Он не берется судить о бессмер-

тии души, но знает, что не все уничтожается смертью. После смерти остается: «1) отвлечение жизни — вещество [тело], 2) другое отвлечение жизни — потомство и 3) следы воздействия на других людей».

По прошествии нескольких месяцев Лев Николаевич в письме к Александре Андреевне Толстой возвращается к разговору о сильнейшем впечатлении, которое произвела на него смерть Юшковой: «Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий. Но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней».

Толстой не в силах передать это *другое* даже в письмах самым близким людям — брату, Александре Андреевне, наверно, потому, что оно еще не уяснилось для него самого, не составило ясного мировоззрения. Он только выходит на путь, который совсем скоро приведет его к «Исповеди», к осознанию того, чем люди живы. А пока отступают в прошлое два непростых года, унесших навсегда пять человек из, казалось, прочного яснополянского дома. Надо заканчивать «Анну Каренину»...

Смерть Ивана Ильича

Рассказ «Смерть Ивана Ильича» напечатан в 1886 году. Композитор Петр Ильич Чайковский заносит в дневник: теперь он еще более убежден в том, что «величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников — есть Л.Н.Толстой». Живописец Иван Николаевич Крамской пишет о рассказе, что «это нечто такое, что перестает уже быть искусством, а является просто творчеством». Он именует рассказ — библейским: Толстой является в нем не как описатель мира, а как его творец.

Медики утверждают, что в рассказе художественно воспроизведена точная «история болезни (скорбный лист) ракового больного», хотя сам Толстой нигде не называет диагноза описанного заболевания.

Все начинается в счастливую пору жизни героя, когда Иван Ильич, сорокапятилетний, полный сил человек, получает особенно выгодную должность и радостно занимается устройством новой квартиры.

Показывая обойщику, как нужно драпировать стену, он оступается на лесенке и — человек сильный и ловкий — удерживает равновесие, только боком стукается о ручку рамы. Ушиб, поболев, скоро проходит, и, вспоминая нелепый случай, Иван Ильич, чувствующий себя как никогда веселым и здоровым, повторяет, не без хвастовства, что он недаром гимнаст, — другой бы убился, а он только чуть ударился: «Когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк».

Но удар если и не вызывает болезни, то расшевеливает ее, отворяет двери тому, что до времени таилось в глубинах организма, не давало о себе знать. Поначалу ничто особо не тяготит Ивана Ильича: ни он, ни близкие не решаются назвать нездоровьем странный вкус во рту и какую-то неловкость в левой стороне живота. Но постепенно «неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в *сознание* <!> тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа».

Тут очень важно именно это: не боль еще, но — сознание. Про боль, которая, чем дальше, тем настойчивее сопровождает развитие болезни Ивана Ильича, как и о других симптомах болезни, в рассказе постоянно напоминается — точно, скупо, выразительно: «боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели». Но главное, на чем сосредоточено внимание Толстого, — нравственные страдания больного, расположение духа. Сознание болезни, ее непонятности, неизлечимости подчас стократ тяжелее, нежели физическая боль. И еще непереносимее чувство одиночества, создаваемое болезнью, отдаление от окружающих, от других людей, для которых *все на свете идет по-прежнему*.

«Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его».

Такое же душевное одиночество, отчуждение испытывает Иван Ильич, когда приходится иметь дело с представителями медицины. Несовпадение целей, задач, самого взгляда на происходящее выявляется уже при первом визите к врачу, и, чем дальше, чем хуже Ивану Ильичу становится, тем пропасть между нравственным его состоянием и поведением докторов становится все непреодолимее.

«Все было так, как он ожидал; все было так, как всегда делается, — рассказывается о первой встрече Ивана Ильича с знаменитым врачом. — И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненуж-

ные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим... Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид».

И дальше: «Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т.д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос, опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешивание вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой...»

Не найдя облегчения, Иван Ильич посещает других докторов, — каждый говорит свое, и никто о том, что всего более занимает Ивана Ильича. Он то педантично исполняет врачебные предписания, то пренебрегает ими, робкие надежды на исцеление сменяются чувством безысходности, всякая неприятность, служебная или домашняя, всякая мелочь, даже дурные карты в игре, всякая неудача тотчас напоминает ему о силе болезни, подкашивает его, ввергает в отчаяние.

Но вот, однажды, после беседы с врачом, объяснившим ему, что надо «усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание и все поправится», дело представилось Ивану Ильичу совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка, — сказал он себе. — Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее... То я здесь был, а теперь туда! Куда? Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца».

Жизнь Ивана Ильича

Рассказ о смерти Ивана Ильича пишется как рассказ о его жизни: «прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная».

Выразительными мазками Толстой рисует умирание героя: похудание, боль, слабость, свет, ушедший из глаз, прилипшие ко лбу плоские волосы, бессонницу от страха и тоски, неспособность без помощи других исполнять естественные потребности и от этого брезгливая неприязнь к себе, — но ни разу в страшной картине умирания, создаваемой Толстым, не появляется это слово — *ужасный*. Не смерть Ивана Ильича ужасна — ужасна его жизнь.

Но жизнь была, говорит Толстой, самая простая и обыкновенная. Иван Ильич к тому же сумел построить ее так, чтобы она была «легкой, приятной и приличной».

Он усваивал приемы и взгляды на жизнь «наивысше поставленных людей» и со ступеньки на ступеньку подымался по служебной лестнице. На службе он умел «исключать жизненное», «откинуть человеческое», «не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных», любое дело облечь в такую форму, при которой «исключалось совершенно его личное воззрение». В обществе же был «часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и bon enfant *<добрый малый>,* как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был своим человеком».

В семейной жизни, едва почувствовав, что она требует от человека определенных душевных обязанностей и стараясь избегать неприятностей, *отбиравших у повседневности ее легкость, приятность и приличие,* Иван Ильич также «исключил жизненное», выгородил «свой независимый мир», сосредоточенный в служебных занятиях и карточной игре. Впрочем, и семейство — жена, старшая дочь — придерживались тех же взглядов на жизнь, что и Иван Ильич. Неприятности возникали не потому, что взгляды на приятность и приличие были разными, а из-за расхождения в подробностях относительно того, как их обеспечить (ссора с женой из-за того, что при устройстве званого вечера тортов куплено на 45 рублей).

Вскоре после окончания рассказа Лев Николаевич заносит в дневник, что жить для одного себя — смерть. Служба, дом, карточная игра, всё лишенное внутреннего, духовного содержания, складывается в неживую механическую конструкцию, однообразно действующую изо дня в день, из года в год. Неодушевленное существование, которое Иван Ильич принимает за единственно возможную жизнь, потому что все так живут, на самом деле не жизнь, а смерть.

В середине рассказа читаем о сбое, остановке в действии (на самом деле — бездействии) механизма. Ивана Ильича начинают обходить по службе. Жизнь вместо приятности вдруг начинает приносить Ивану Ильичу «тоску невыносимую». Но тут: в министерстве на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича, это ведет к выдвижению Петра Петровича и его друга Захара Ивановича, Захар же Иванович — товарищ Ивану Ильичу. Механизм запущен снова. Само нагнетение имен, ничего не говорящих читателю, имен, за которыми не стоят живые люди, характеры, чувства, мысли, нагнетение безжизненных имен-деталей — свидетельство умирания конструкции, в которой живет *(не живет!)* Иван Ильич.

Эпизод по-своему повторяет начало рассказа. В судебном учреждении, где служил Иван Ильич, узнают о его смерти: некто Петр Ивано-

вич читает Ивану Егоровичу и Федору Васильевичу напечатанное в газете траурное объявление. «Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его... Но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель»...

Болезнь врывается в судьбу Ивана Ильича, когда жизнь *(нежизнь),* в которой он обитает, устремляется, как представляется ему, к своей вершине. Неслучайно телесная смерть начинается с легкого ушиба, полученного при падении с лесенки, на которую он взбирается, увлеченный вещественным подкреплением восхождения по лестнице служебной, без чего жизнь, какой она представляется Ивану Ильичу, не полна и не приятна. Удар при падении, как удар гонга, открывающий новое действие, означает начало «перестановки всех оценок доброго и злого».

Понимая, что умирает, Иван Ильич возвращается памятью к примеру из учебника логики, который затвердил еще в гимназии: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, — и никак не в силах сопрячь это классическое умозаключение с тем, что происходит с ним. Не с Каем, не с «вообще человеком», а с ним, Иваном Ильичом: «...Он был не Кай и не вообще человек, а он был всегда совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей *<братья Ивана Илъича>,* с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении *<то есть — в Училище правоведения>?* Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело»...

Чем ближе смерть, чем яснее, тем жаднее желание отличить себя от Кая, абстрактного человека из учебника. Ивану Ильичу приносят вареный чернослив, а он вспоминает «о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки». Память возвращает его к подробностям детства, он старается вспомнить другое что-нибудь, но, похоже, лишь в детстве он был особенным, отличным от прочих человеком, — из прожитой жизни, которую полагал настоящей, ничего не вспоминается, словно не было ее.

Из жизни, ему дарованной, он — в поисках легкости и приятности — «исключал жизненное», выгораживал в ней «свой независимый

мир», в итоге же оказался не одушевленным существом, а неодушевленным Каем, который в задачке назван человеком, кажется, только для того, чтобы подтвердить истину, что он смертен — как все.

И кругом жили (то есть *не жили)* такие же отвлеченные люди, вся связь которых между собой обозначалась судебными заседаниями, сидением с картами за зеленым столом, перемещением из кресла в кресло Петр Петровичей и Захар Иванычей, Алексеевых и Винниковых.

И врачи были такие же люди из учебников, для которых Иван Ильич не более как соединение слепой кишки, почек и еще чего-то, какой-то маленькой штучки, усиление энергии в одном органе и ослабление в другом, а не живой человек, который чувствует, как жизнь из него уходит, мучительно ищет смысл этой уходящей жизни и страшится смерти, смысла которой тоже не может понять.

Последний разговор Ивана Ильича с доктором, за три дня до конца:

« — Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.

— И того не можете; оставьте...

Доктор говорил, что его страдания физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были нравственные страдания, и в этом было главное его мучение».

Доктор объясняет жене Ивана Ильича, какими средствами облегчить последние физические страдания; нравственные страдания для доктора не по части медицины.

Отчего же не потрудиться?..

С одним-единственным человеком на свете хорошо умирающему Ивану Ильичу, только этот человек по-настоящему облегчает его муки, — буфетный мужик Герасим. Крепкий молодой мужик, излучающий радость жизни, исполняет при больном самую нечистую работу, выносит за ним судно. Ивана Ильича в первые дни наступившей слабости стесняет его положение:

« — Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное»...

Постепенно Иван Ильич убеждается, что лучше всего себя чувствует и боль оставляет его, когда он, подняв ноги, кладет их на плечи Герасиму и беседует с ним. Легкость, приятность, приличие, которыми Иван Ильич пытался заполнить свою жизнь, «исключая жизненное» и «откидывая человеческое», приходят к нему в дни умирания вместе с «жизненным» и «человеческим» Герасима.

Все лгут ему, стараясь вписать его умирание в понятие приличия и легкости, которого он сам всю жизнь держался, низводя «этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду». И когда жена, «с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице», дочь «разодетая, с обнаженным молодым телом», будущий муж дочери, «с длинной жилистой шеей, огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах», заходят к нему перед театром и он чувствует, что они спешат, что обязанность быть с ним тяготит их («однако, если ехать, то пора», — взглядывает на часы дочь), когда они выходят наконец, Ивану Ильичу становится легче: «лжи не было — она ушла с ними».

Герасим же, держа его ноги у себя на плечах, просиживает с ним всю ночь, и делает это «легко, охотно, просто и с добротой». Один только Герасим понимает его положение и жалеет его, — «и потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом».

Вид здорового тела других людей оскорбляет Ивана Ильича; сила и бодрость Герасима не огорчает, а успокаивает его. Здоровье других людей отчуждает от них умирающего; молодость и сила Герасима, который видит его немощь, натягивает на него панталоны, переносит на диван, его не отстраняет.

«Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд».

Неизвестное прежде благо

Рассказ о жизни и смерти Ивана Ильича выходит в свет весной 1886-го, летом того же года Лев Николаевич возит сено для яснополянской крестьянки, вдовы Анисьи Копыловой, которой постоянно помогает по хозяйству, падает, сильно ударяется голенью о грядку телеги <*жердь, проложенную по краю кузова*>. «Образовалась крупная ссадина, — вспоминает Сергей Львович Толстой. — Не дав созреть струпику на ранке, он его содрал; возникло рожистое воспаление, началось заражение крови, температура поднялась. Моя мать сильно встревожилась, поехала в Москву и привезла хорошего врача, ассистента Захарьина — В.В. Чиркова. Он немедленно дренировал ранку и для дальнейшего лечения рекомендовал хорошего тульского врача

А.М. Руднева. Температура сразу понизилась, но отцу долго пришлось не покидать постели. Я думаю, что тогда жизнь его была в большой опасности; его спасли врачи Чирков и Руднев».

Василий Васильевич Чирков приезжал в Ясную Поляну и прежде: в 1875-м он лечил тяжко болевшую Софью Андреевну (воспаление брюшины и преждевременные роды). Лев Николаевич тогда отозвался о нем в письме: «Черков <*через* «е»> сделал все, что мог, и сделал много». Александр Матвеевич Руднев, старший врач Тульской земской больницы, станет одним из врачей, постоянно пользовавших Льва Николаевича и его семейство. Через несколько лет Толстой напишет о нем: «хороший наш знакомый», и оценит высоко: «доктор — очень надежный». По свидетельству одного из посетителей Ясной Поляны, такт доктора Руднева побеждал недоверие Толстого к медицинской помощи и врачебным советам.

Болезнь ноги у Льва Николаевича затягивается почти на три месяца, по временам принимает угрожающий характер, врачи подумывают о возможной ампутации, Толстой пишет знакомому: «Самое верное определение моего состояния: помираю от ноги».

Сильные боли, жар, неподвижность, упавшая производительность писательской работы, резко сузившиеся впечатления, ограниченные стенами нескольких комнат и беседами с домашними и немногими допускаемыми к нему посетителями, придают размышлениям Толстого особенную остроту и глубину: «Болезнь меня перенесла совсем в другой мир, замкнутый материально и очень вследствие того расширившийся духовно, и я увидал многое новое, чего я не видал прежде», многое «набралось в голове и сердце».

Эта мысль, более того — настроение, зовущее видеть пользу в выпавших на его долю телесных страданиях, одушевляет написанные в эту пору письма к близким:

«Во время 4-х недель моей болезни мне было очень хорошо»; «Мне очень, очень хорошо».

«Многое я приобрел во время этой болезни».

«Эти два месяца болезни дали мне много неизвестного мне прежде блага».

Он хотел бы сохранить это настроение, которое должно помогать ему нравственно двигаться вперед, принимать наиболее точные решения в оставшиеся грядущие годы, — «не разрушать в себе сознания смерти среди жизни».

То, что художественно выражено, предугадано в «Смерти Ивана Ильича», Толстой «проходит» теперь на собственном опыте. Вывод, сделанный им для себя по выздоровлении, — собственно, тот самый

вывод, который должен сделать вдумчивый, внимательный читатель рассказа: «Здоровье мое очень хорошо. Иногда думаю: что если бы жизнь моя не имела другого смысла, кроме моей жизни и удовольствия от нее, — выздоровление было бы еще ужаснее, чем смерть. У казненного уже была петля на шее, он совсем приготовился, и вдруг петлю сняли, но не затем, чтобы простить, а чтобы казнить какою-то другой казнью».

Страха никакого не было

Смерть не раз появляется на страницах сочинений Толстого — как часть жизни, как завершение ее, и — много больше — как пробуждение от жизни (говорится о смерти князя Андрея) в нечто иное, неведомое, но не страшное и даже по-своему желанное.

Постоянные мысли о смерти, о ее неизбежности, для Толстого прежде всего мысли о жизни. Преодоление страха смерти, вполне объяснимого, — не в героическом акте, единичном поступке, способности победить, переломить в себе страх, а в выработке определенного настроя души, убеждений, образа жизни, которые сами по себе делают страх смерти непонятным, ненужным, несущественным.

Когда князь Андрей понял, почувствовал, что главное в жизни — это любить, жертвовать собой для любви, отдавать лучшее в себе людям, которые живут вокруг, он «уже не боялся смерти и не думал о ней»: Любовь уничтожает «страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью».

В тяжелые дни умирания Ивану Ильичу приходит в голову мысль о неправильно прожитой жизни, но он не в силах поверить этому: «Как же не так, когда я делал все как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти».

Лишь в самый последний момент, когда стоявший у его постели сын-гимназист хватает его руку, прижимает к губам и плачет, когда Ивану Ильичу становится жалко его, и становится жалко жену, подошедшую с неотертыми слезами на носу и щеке и с отчаянным выражением на него смотревшую, когда он понимает, что им жалко его, как и ему жалко их, и что надо сделать, чтобы им не больно было, — лишь в этот момент «вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон...

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его... Страха никакого не было, потому что и смерти не было»...

«О жизни»

Во время болезни Толстой задумывает большое философское сочинение, которое предполагает назвать «О жизни и смерти».

«Жизнь нужна только затем, чтобы она была хорошая» — пишет Толстой.

«Живет всякий человек только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага». Но собственное благо, благо для *одного* себя ограничено сроком телесной жизни человека, неизбежно прекращается со смертью. Человек оттого и страшится смерти, что вместе с ней, ему кажется, заканчивается благо жизни.

Если человек отдает свою жизнь другим людям, плотская смерть не уничтожает его я, оно остается в мире, воплощенное в памяти, душах, поступках других людей. Сила жизни, составляющая личное я, не только не исчезает, не уменьшается, но, сделавшись достоянием многих, даже увеличивается, действует среди живущих на земле сильнее, чем прежде.

Отречение от блага только для одного себя — не достоинство, не подвиг, а неизбежное условие жизни человека. Иначе вся плотская жизнь превращается в движение к смерти, ожидание и страх ее.

«Довольно мне знать, что, если все то, чем я живу, сложилось из жизни живших прежде меня и давно умерших людей и что поэтому всякий человек, исполнявший закон жизни, подчинивший свою животную силу разуму и проявивший силу любви, жил и живет после исчезновения своего плотского существования в других людях, чтобы нелепое и ужасное суеверие смерти уже никогда более не мучило меня».

Сочинение, которым занят Толстой, называют иногда «философско-публицистической параллелью» к рассказу «Смерть Ивана Ильича». Но, завершив труд, Толстой меняет поставленное первоначально в рукописи заглавие. Смысл рассказа про Ивана Ильича в том, что обыкновенная жизнь человека оказывается на деле не жизнью, а смертью. Смысл же нового труда как раз в обратном: человеку по силам так устроить свою жизнь, чтобы смерть перестала быть границей жизни, избавиться от страха смерти.

Толстой убирает из заглавия слово «смерть» и оставляет только — «О жизни».

ЗА И ПРОТИВ

«Лечим симптомы болезни, и это главное препятствие лечению самой болезни».

Лев Толстой

Глава 1
ВОПРОС ЭТОТ ОСЛОЖНЯЕТСЯ ТЕМ...

Радиусы и центр

Мы привычно повторяем, что Толстой не любил медицину и докторов. Его суждения, насмешливые и сердитые, исполненные недоверия, порой сурового осуждения, встречаем в его сочинениях, в дневниках и письмах, в занесенных на бумагу свидетельствах его собеседников.

Люди, которые «отрицают медицину», не верят врачам, иронически, а то и попросту недоброжелательно относятся к их выводам и советам (и при этом, добавлю, постоянно к ним обращаются, — как и сам Лев Николаевич), встречаются достаточно часто. И если бы речь шла не о Льве Толстом, можно было бы посмеиваться над слабостями (пусть даже великого) человека, возмущаться резкими, подчас несправедливыми высказываниями, в недоумении пожимать плечами, но, в общем, не придавать им серьезного значения.

Лев Толстой — совсем другое дело.

Завершив его портрет, Крамской в письме к Репину вдруг замечает — без связи с предыдущим текстом, особняком, будто вырвалась неотступно сидящая в нем мысль: «А граф Толстой, которого я писал, интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает».

Это мы теперь привычно: *гений,* а тогда, не о «классике» — о своем современнике (в Тульской губернии, рукой подать), пусть читаемом, почитаемом, — такое не просто выговорить. Россией уже прочитаны «Война и мир», а прежде того — «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Севастопольские рассказы» и «Казаки». На письменном столе в яснополянском кабинете листы недавно начатой «Анны Карениной». Лев Толстой уже назван великим писателем, многими ему отдано первое место в отечественной литературе. Но в общем мнении он пока — именно писатель. Его религиозные, философские, нравственные воззрения сосредоточены пока на страницах

художественных произведений. Он еще не «проповедник», не «учитель», не «властитель дум». Ясная Поляна еще не цель паломничества многих людей, желающих постичь смысл проживаемой жизни. Крамской с прозорливостью опытного, проницательного портретиста почувствовал гениальность Толстого раньше, чем большинство современников, — оттого и портрет вышел таким духовно наполненным, значимым.

Позже, вспоминая об их знакомстве (мощное впечатление не сглаживается в душе, в памяти), Крамской и в письме к самому Толстому расскажет, что был поражен его «умом и миросозерцанием совершенно самостоятельным и оригинальным», — впервые в жизни (возможно, следует понимать — *раз в жизни)* встретил он человека, «у которого все детальные суждения крепко связаны с общими положениями, как радиусы с центром».

Высказывания Толстого о медицине, часто удивляющие очевидной неправотой и незаслуженной жесткостью, вряд ли требуют серьезного размышления, простого внимания даже, если всякий раз не делать попытку пробиться «по радиусу» к центру, связать детальное суждение со всей системой толстовского мировоззрения.

Это замечали многие современники Льва Николаевича, этому старались следовать те исследователи жизни и творчества Толстого, которые, по собственному его слову, не «раздирали» его на художника (великого) и мыслителя (неумелого, наивного, будто подставляющего себя для резкой и очевидной критики).

О толстовской цельности, тонко замеченной Крамским, хорошо говорит другой, более поздний его собеседник, Эльмер Моод, английский литератор, двадцать с лишним лет проживший в России, — переводчик многих сочинений Толстого, автор двухтомной его биографии: «Литература, искусство, наука, политика, экономика, социальные проблемы, отношения полов и местные новости рассматривались им не в отрыве одного от другого, как это сплошь и рядом бывает, а как части одного стройного целого».

Толстой охотно повторял старую мудрость: «Понять значит простить». И прибавлял от себя: «А простить значит полюбить». В прощении Толстой не нуждается. Любить его или нет, оставим каждому на собственное усмотрение. Понять же его, не отвергая с ходу, даже там, и особенно там, где он, на первый взгляд, кажется непоследовательным, неправым, равно интересно и полезно. Проницательный взгляд и в кажущихся непоследовательностях Толстого обнаруживает свою логическую последовательность.

Вспомним Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Вопрос этот осложняется тем...

Сергей Львович Толстой в статье «Музыка в жизни моего отца» предупреждает: «Вопрос этот осложняется тем, что Лев Николаевич далеко не всегда считал наилучшей ту музыку, которая ему всего больше нравилась».

И в самом деле. Толстой великолепно знает музыкальную классику, многие пьесы сам исполняет на фортепьяно. Музыка действует на него с необыкновенной силой. Слушая музыку, он волнуется, плачет, спрашивает, страдая от переполняющих его чувств: «Чего хочет от меня эта музыка?» Но в статье или в устной беседе может отрицательно отозваться о композиторе, произведения которого готов, проливая слезы, слушать еще и еще. К этому побуждает его мысль, что «вся рабочая масса не понимает того, что я считаю прекрасным искусством», самого же себя он относит «к сословию людей с извращенным ложным воспитанием вкусом».

Когда в знаменитом трактате Толстого «Что такое искусство?» читаем о многих великих художниках, писателях, композиторах прошлого, что всё это ложные авторитеты, возведенные на пьедестал критикой, первое желание — яростно спорить, в лучшем случае — захлопнуть книгу, закрыть глаза, чтобы не читать, заткнуть уши, чтобы не слышать. Но, право же, непросто предположить, что Лев Толстой не понимает вещей, для любого из нас совершенно очевидных. И как тогда объяснить, что и трактат об искусстве, и статья о Шекспире, где Толстой объявляет, что произведения великого драматурга «не отвечают требованиям всякого искусства», и многие другие весьма спорные предположения Толстого, высказанные письменно и устно, в которых он, по словам критика Стасова, «все вверх дном поставил», вызывали и продолжают вызывать жгучий интерес у всех, в том числе у самих музыкантов, писателей, живописцев, — у всех, кто хочет искать истину вместе с Толстым, или благодаря Толстому, или даже вопреки ему?

Французский писатель Ромен Роллан тонко замечает: «От гениального художника-творца никто не вправе требовать, чтобы он был беспристрастным критиком. Когда Вагнер или Толстой рассуждают о Бетховене или Шекспире, это не о них они говорят, а о самих себе, — о том, что они считают для себя идеалом».

Движение от каждого детального суждения Толстого — касается оно искусства или медицины, значения не имеет, — к центру, к основным началам толстовского миропонимания, — это движение от отрицания к положительному нравственному идеалу, который неизменно предлагает нам Лев Толстой, от опровержения к утверждению справедливости и добра.

Практическая медицина с отступлениями

Юношей, на девятнадцатом году, оставив университет и выбрав для себя Ясную Поляну и самостоятельность, он, по обыкновению, намечает грандиозные планы жизни, — в них, среди иного многого, находим: «Изучить практическую медицину и часть теоретической». При отсутствии врача, даже фельдшера, образованный помещик, берет на себя заботы по оказанию медицинской помощи больным крестьянам.

Позже, в 1860-м, уже прочно утвердившись в качестве хозяина Ясной, посвящая хозяйственной деятельности много времени, энергии физической и умственной, он просит Фета прислать ему «что есть хорошего из лечебников людских для невежд и еще лечебников ветеринарных», а также кое-что из инструментов: пару ланцетов людских и банки, коновальский лучший инструмент.

Небольшое отступление. В деревне, где, помимо земли, главное богатство — скот, трудно обходиться без ветеринара, представителя «скотоврачебной науки», по определению Словаря Даля. Приходится рассчитывать на услуги коновалов — лекарей неученых; часто роль эту присваивают знахари и попросту «тунеядцы», как помечает в Словаре тот же Даль.

«Искусство» самозванного коновала Толстой описывает в рассказе «Поликушка». Главный герой, именем которого рассказ и назван, ничему не учившийся и не имевший никакой скотолечебной практики, по наитию, начал пользовать больных лошадей, и чем больше непонятных никому вокруг и ему самому действий совершал он, тем больше распространялась «репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства»: «Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то, что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спущать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легкости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом под брюхом Дворниковой лошади передернул покромку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей».

Тут, не удержавшись, делает отступление уже сам Лев Николаевич: «нашему брату, господам», грех смеяться над Поликеем и его почитателями. Велико ли отличие наивных, самоуверенных приемов коновала, от образа действий ученых медиков, к которым мы обращаемся и которых облекаем своим доверием: «Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором,

мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю и т.п., разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т.п.? Wage du zu irren und zu träumen! <*Дерзай заблуждаться и мечтать! — строка из стихотворения Ф.Шиллера*> — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам».

Отступление отступлением, но медицинские книги и инструменты для Ясной Поляны приобретаются, люди болеют, и, хочет он того или нет, смелость заблуждаться и мечтать над постелью больного мужика берет на себя Лев Николаевич, никаких сведений о медицине, кроме почерпнутых из самоучителей и здравого смысла, не имеющий.

Сведений о том, как врачевал сам Лев Николаевич Толстой, немного. Хотя известно, что постоянно посещал тяжело больных крестьян. Вряд ли заглядывает к ним из праздного любопытства. Советы, по крайней мере, дает какие-нибудь. Во время эпидемий, по воспоминаниям, бесстрашно «посещает тифозных из дома в дом».

Сохранилось любопытное (уже 1890-х годов) его письмо к жене: «А я ходил на деревню к бабе, пригласившей меня, как костоправа, с вывихнутой в локте рукой (застарелый вывих, при котором, вероятно, возвратится владение рукой)». Значит знала больная, коли звала, что вывих вправить сумеет, и в самом деле сумел, и разобрался, с чем имеет дело.

Осенью 1884 года Толстой гостит три дня в Черниговской губернии, на хуторе своего друга, художника Николая Николаевича Ге. Гуляя, он посещает недальнее местечко Ивангород, три часа сидит в амбулатории, беседует с мужиками и бабами, смотрит, как доктор Алексей Максимилианович Ковальский принимает больных. По окончании приема признается врачу, что всегда был врагом медицины, но сейчас готов изменить свое мнение.

В Ясной Поляне амбулатория появится двадцатью годами позже, когда у Толстых поселится постоянный домашний врач — друг и единомышленник Льва Николаевича, Душан Петрович Маковицкий. Он всякий день принимает являющихся в амбулаторию крестьян из окрестных деревень, сам ездит к тяжелым больным. Толстой — частый гость на врачебном приеме: «Был в больнице на приеме. Интересно». В другой раз записывает: «Заходил к Душану в лечебную. Завидую». И еще (вспоминает Николай Николаевич Гусев): «Сегодня Душан Петрович Маковицкий, как это часто с ним бывает, уехал в дальнюю деревню к больному. Возвращаясь с предобеденной прогулки, около пяти часов, Лев Николаевич, всходя по лестнице, спросил меня (я был внизу, в передней):

— А Душан еще не возвращался?

— Нет.

— Завидная его участь, — сказал Лев Николаевич».

Однажды Толстому приходит в голову мысль издавать «картинки героев с надписями», как он это называет. Рисунки он предполагает заказать лучшим художникам, текст собирается писать сам. Люди, о жизни и подвиге которых хочет рассказать Толстой, — «не Скобелевы» (имеется в виду известный генерал Скобелев). Первый, кому должна быть посвящена картинка (событие, когда узнал о нем Толстой, и пробудило весь замысел), — московский врач Илья Иванович Дуброво, он отсасывал дифтерийные пленки («дифтерийный яд», по слову Толстого) из гортани у тяжелой больной, больную спас, а сам заразился и умер. Издание не осуществлено, хотя Репин уже и картинку нарисовал. Но тут сам факт дорог: именно врач возглавляет в замысле Толстого ряд подлинных героев и героинь, которых «надо собирать и прославлять в пример нам».

...только укладывается

Среди врачей, упомянутых в «Войне и мире», встречаем имя Мудрова. Матвей Яковлевич Мудров — один из самых известных московских врачей конца 18-го — первой трети 19-го столетия. Толстой, хоть и младенцем, его еще застал; не сделаем ошибки, если скажем, что кого-либо из старшей толстовской родни Мудров, без сомнения, пользовал. Матвей Яковлевич был профессором Московского университета. Пирогов у него учился. В своих записках, которые высоко ценил Толстой, он писал про «комизм и отсталость» своих учителей. Пирогов почти на двадцать лет старше Толстого, но к 1880-м годам, когда он берется за работу над записками, медицина, которой его учили, представляется ему допотопной.

Толстому девятнадцать, когда Пирогов делает первую операцию под эфирным наркозом. Ему под пятьдесят, когда Луи Пастер доказывает, что причиной многих наших страданий являются болезнетворные бактерии, ему за пятьдесят и под шестьдесят, когда появляются вакцины против сибирской язвы, холеры, бешенства. Ему под семьдесят, когда Вильгельм Конрад Рентген открывает Х-лучи, названные рентгеновским излучением. В аудитории физиологического института Московского университета Толстой смотрит опыт с рентгеновскими лучами, снимки, сделанные с их помощью.

Припомним только отечественную медицину: большинство ее крупнейших представителей, нет, не просто представителей — создателей школ, направлений — основоположников (нас еще ждет встреча со многими из них) — современники, того более — младшие современники Толстого. Терапевты Боткин и Захарьин, хирурги Пирогов и Склифосовский, физиологи Сеченов и Павлов, биолог Мечников, психиатр

Корсаков, невропатолог Россолимо, гинеколог и акушер Снегирев — Лев Николаевич общается с ними, беседует, обращается к ним за советом и лечением, спорит с ними о медицине, — они для него не «забронзовели», не превратились в предмет поклонения (это ему вообще чуждо), — живые люди во всей их сложности. Та медицинская наука, с высоты которой мы сегодня не принимаем многого, что сказано Толстым о медицине, только ищет себя устанавливается в то время, когда он произносит свои приговоры. Не держа этого в памяти, мы не сумеем уяснить, правильно оценить взглядов и суждений Льва Николаевича Толстого.

«Счастливая у мена на это была рука»

До того, как в Ясной появляется лечебница и собственный доктор, врачеванием прилежно и умело (как все, что она делала) занимается Софья Андреевна. В одном из ее писем к уехавшему на кумыс Толстому читаем: «Сколько у меня больных, Левочка, что просто ужас! Стала настоящим доктором и думаю серьезно зимой на медицинские курсы ходить». Пишется это уже в начале 1880-х, когда зимние месяцы семья проводит в Москве.

Лев Николаевич в разговорах отрицает медицину, иронизирует над врачами, сердит жену, но при этом неизменно поддерживает ее желание оказывать медицинскую помощь крестьянам.

«У конюшни встретил мужика с бабой. Мужик приехал к тебе издалека, из-за засеки, лечиться, и ужасно горевал, что тебя нет. Он говорил, что он знает одного мужика, которого все лечили, и никто не вылечил, а ты вылечила. Мне лестно даже было».

В «Моей жизни» Софья Андреевна несколько раз вспоминает о своей медицинской практике, о том значении, которое она придавала этому делу, и о том влиянии, которое оказывала практика на ее душевное состояние.

«Я радовалась бесконечно, когда удавалось помочь страждущим, особенно если случаи были трудной и продолжительной болезни. Помню, как я хорошо вылечила 9-месячную лихорадку: мужик уже едва ходил, весь желтый какой-то, и вот осторожным лечением хинином, полынью и кипяченым, горячим молоком я его к лету совсем поправила, и он мог работать. А то из деревни Рвы приезжал несколько раз молодой парень с раной на ноге: он три месяца не мог ходить, а в три недели уже был здоров. Случаев исцеления были сотни, но я их теперь, конечно, не помню. Еще от ревматизма я вылечила молодую девушку Румянцеву. Ее на простыне только могли повертывать, так она страдала, а с моего лечения и до сих пор жива и здорова. Помню еще, какую радость я доставила матери, нашей крестьянке, Ольге Ершовой, вылечив раствором ляписа глаза ее единственной дочке».

Девочка, о которой пишет Софья Андреевна, остается ее постоянной пациенткой. Лев Николаевич пишет жене из Ясной Поляны в Москву: «Ольгушка Ершова просит рецепт от глаз для своей девочки». Софья Андреевна тотчас отвечает: «Ольгушке рецепт вот какой: на одну унцию дистиллированной воды 1 гран цинку. Примочка для глаз. Два раза в день пускать по одной капле».

Одна из глав «Моей жизни» так и названа — «Лечение народа»:

Лечение народа

Доктора в то время у нас ни дома, ни в деревне поблизости не было, и ко мне приходили всегда больные со всех окрестных деревень и, конечно, также из Ясной Поляны. Своих детей, семью Кузминских <*сестры, Татьяны Андреевны*> и весь персонал гувернанток и прислуг — всех лечила я сама. Отчасти вынесла я кое-какие знания из моего родительского дома, отчасти научилась от докторов, лечивших в нашем доме, уже когда я вышла замуж, а то справлялась по лечебникам, особенно по Флоринскому <*Популярная книга В.М.Флоринского «Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления» имеется в яснополянской библиотеке*>. Рецепты докторов я всегда берегла и по ним, зная, в каких случаях употреблялись лекарства, я их брала и для своих больных. Счастливая у меня была на это рука, и много я получила радости от выздоравливающих моих пациентов и пациенток. Бывало, особенно летом, выйдешь на крыльцо, а тут уже стоят бабы, одни и с детьми, стоят телеги с привезенными больными. Всякого расспросишь, посмотришь, дашь лекарство. А то сколько раз пришлось присутствовать при тяжелых родах.

Раз я целую ночь почти провела с роженицей, давала ей даже спорынью, а к утру все кончилось благополучно. Но я была страшно встревожена тем, что у всех детей рожавшей бабы была скарлатина. Одного мальчика тут же в избе рвало прямо на пол, двое были в сыпи, старший мальчик раздулся, у него было осложнение в почках, а потом недели через три он умер.

У самой у меня тогда было уже много детей, и меньшего я кормила. Кажется, это был еще маленький Николушка, умерший впоследствии. Помню я, как прямо из избы я отправилась зимой в пустой, нетопленный флигель, сняла там решительно все, что на мне было, наскоро вымыла голову, и только тогда вернулась домой. Другой раз меня позвали к роженице, истекающей кровью. Я тотчас же послала за акушеркой, не умея сама остановить кровотечение. Акушерка приехала из Тулы, но как ни старалась, никак не могла остановить крови, и вдруг, совсем растерявшись, начала кричать: «Смертные ключи открылись, она умрет».

Тогда я на нее прикрикнула и велела продолжать вкладывать тампоны. К утру бабе стало легче, и она долго еще жила потом. Старший сын ее Игнат был у нас кучером, и я очень любила эту несчастную женщину, которую бил и мучил злой муж.

Спасла я еще женщину, у которой были неблагополучные роды. Спасла не сама, а послала за нашим доктором, умным и прекрасным человеком — Александром Матвеевичем Рудневым. Долго пришлось ему возиться с трудной операцией, при которой уже заранее умершего ребенка пришлось резать на части, чтобы извлечь из матери. Я помогала доктору как могла, но все эти случаи страшно волновали меня, и я не могу сказать, чтобы это было легко, чтоб я любила это дело лечения и акушерства. Но странное имели наши бабы доверие ко мне. Помню, из нашей деревни мучилась трое суток невестка нашего кучера Филиппа, все шло нормально, а она только одно просила: «Позовите вы графиню, у нее рука легкая, я скоро рожу». Делать нечего, пошла я к ней, посидела часа три, прибегла к разным невинным наружным средствам, и действительно все скоро и хорошо кончилось, и родился прекрасный мальчик.

Впоследствии я бросила это дело, передав дочери Маше, которая усерднее и лучше продолжала лечить народ, сама походив в Москве в больницы и клиники, где многому научилась. Вот она действительно любила лечить, легко выносила вид ран, крови, даже страданий. Усердие и самоотверженность в ней были удивительные. Например, она бегала ежедневно в Телятники за три версты промывать и перевязывать рану на ноге мужика, от раны уже было зловоние и куски отгнившего тела отпадали, а она продолжала свое доброе дело.

«Радостно было смотреть на нее»

В Москве Мария Львовна, набираясь опыта, посещает больницы, учится на курсах медицинских сестер.

О работе Маши Толстой на медицинском поприще ее брат, Илья Львович, пишет:

«Вечная заступница за всех обиженных и несчастных, Маша всей душой ушла в интересы деревенских бедняков и, где могла, помогала своими слабыми физическими силенками и, главное, своим большим, отзывчивым сердцем.

В это время докторов в доме еще не было, и все больные из Ясной Поляны, а иногда и из ближайших соседних деревень обращались за помощью к Маше.

Часто она ходила навещать своих больных по избам, и до сих пор среди наших крестьян жива благодарность к ее памяти, и среди баб сохранилось твердое убеждение, что Мария Львовна «знала» и безошибочно могла определять, выздоровеет ли больной или нет.

Живой портрет Марии Львовны находим в записях пианиста и композитора Гольденвейзера:

«Когда она возвращалась со своей медицинской практики, радостно было смотреть на нее, окруженную пестрой толпой ребят, одних — везших на себе тележку с медикаментами, других — просто провожавших ее домой».

Лечением крестьян занимается, хотя не так энергично, и старшая дочь, Татьяна Львовна. Об этом — характерная запись в ее дневнике: «Я смотрела сейчас, как ему *<Л.Н.Толстому>* перевязывали ногу, чтобы также перевязать ногу Алене Королевне, у которой то же самое. Я убедилась, что смотреть на это гораздо ужаснее, чем самой перевязывать, и мне ничего не стоило Аленину ногу мазать и завязывать. Пропасть больных на деревне, которых мы стараемся на ноги поставить, и некоторые выздоравливают; один только Спиридонов мальчик, кажется, умирает. Он уже весь пухнет; у него дизентерия».

Чтобы приносить пользу больным в деревнях, стали изучать медицину и дочери брата Сергея Николаевича.

Замечательно: родные и знакомые объясняют это стремление оказывать медицинскую помощь крестьянам влиянием «опровергателя медицины» Льва Толстого.

Иначе нельзя жить

Чтобы шире взглянуть на отношение Толстого к медицине, припомним о начатой и возглавленной им, возложенной им на себя борьбе с голодом.

Толстой живет на земле, живет землею, не тем лишь, что кормится ею, — он живет землею, потому что она составляет главный предмет его мыслей и забот, «земельный вопрос» для него главный, осевой вопрос российского развития. Он наблюдает голод не отстраненным взглядом человека, следящего за событиями по газетным статьям, — он наблюдает голод изнутри, из гущи крестьянской массы, видит заброшенные избы, нищих, бредущих по дорогам в поисках куска хлеба, умирающих детей, падающую от бессилия скотину. Каждый неурожай, каждый голодный год зримо ускоряет мучительно сознаваемое им вымирание народа.

Особенно голодные в центральных губерниях — 1891 и 1892 годы. Толстой ищет, как противодействовать нахлынувшей беде. Поначалу он бродит мыслями на путях проповеди любовного общения — надо убедить людей, что только любовные отношения между людьми могут принести спасение. Он против обращений за помощью к правительству, которое само утверждает и защищает нынешнее общественное уст-

ройство, приведшее к несчастью, он против пожертвований, когда люди, ограбившие народ, жалуют ему крохи со своего стола, против всего, что предлагает неправедный строй жизни. «Любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, т.е. делать зло людям, но нельзя любить и не накормить». Он призывает всеми средствами «вызывать в людях любовь друг к другу».

Но это — в теории. А на деле: не может он, Лев Толстой, читать любовные проповеди опухшим от недоедания, нищим, умирающим людям. Не может так жить, чтобы у него на столе редиска розовая и масло желтое, а вокруг «злой черт голод делает уже свое дело».

Нет, не для того смотрят на него сорок веков с высоты пирамид, чтобы в такую пору он занимался проповедями. «Не спал до четырех часов — все думал о голоде». Он решает взяться за устройство народных столовых, куда приходили бы голодные кормиться, главное — приложить личный труд, не советы давать, не призывать — самому идти на передовую, быть, по его словам, «в самой середине голодающих».

Его «четвертый бастион» — деревня Бегичевка Рязанской губернии. Здесь, в имении своего старого приятеля Ивана Ивановича Раевского, он располагает свой штаб. Сравнение с четвертым бастионом — не «поэтическая вольность». В голодной местности Лев Николаевич встречает старого севастопольского товарища, теперь он земский деятель, который, по оценке Толстого, «верно сказал», что «испытывает чувство, подобное тому, которое было в Севастополе»: «Спокоен, т.е. перестаешь быть беспокоен, только тогда, когда что-нибудь делаешь для борьбы с бедой. Будет ли успех — не знаешь, а надо работать, иначе нельзя жить».

Война с голодом — многодневный, напряженный труд, разъезды, неустроенный быт в разоренных, запущенных деревнях, общение с больными, умирающими, — как всякая война, потребует жертв. На этой войне положит свою жизнь и главный помощник Льва Николаевича, сам Раевский. Многосторонне образованный человек, умный хозяин, человек большой физической силы, он заражал всех вокруг своей неутомимой энергией.

« — Не-ет! живые в руки не дадимся, — говорил он, потирая руки, когда ему удавалось устроить какое-нибудь хорошее дело, закупки дешево хлеба, дров, устройство хлебопечения с картофелем, с свекольными отбросами или закупки льна для раздачи работ бабам.

— Знаю, знаю, — говорил он, что нехороша эта самоуверенность, но не могу. Как будто чувствую этого врага — голод, который хочет задавить нас, и хочет подбодриться. Живые в руки не дадимся!»

Толстой вспоминает слова друга, в которых, конечно, выразилось и его собственное настроение, и настроение тех, кто был с

ним. В статье «Памяти И.И.Раевского» Толстой пишет: «Он умер, отдав жизнь свою народу, который он горячо любил и которому служил всю свою жизнь».

В ответ на статьи и призывы Толстого многие люди, обеспеченные и необеспеченные, присылают ему деньги, подчас делятся с ним тем немногим, что имеют сами, нередко, по собственной охоте или по просьбе Толстого, направляют в голодные местности закупленные в благополучных районах продукты. Все поступления тщательно учитываются, справедливо и целесообразно распределяются. В четырех уездах Толстой и его помощники открыли более двухсот столовых, в которых ежедневно кормятся десять с лишним тысяч человек. Весной голодающим крестьянам бесплатно раздают лошадей, наделяют их семенами для посева, картофелем и другими овощами.

Толстой пишет о своей работе: «Очень много дела. Но в последнее время мне стало нравственно легче. Чувствуется, что нечто делается и что твое участие хоть немного, но нужно». И тотчас следом: «Бывают хорошие минуты, но большей частью, копаясь в этих внутренностях в утробе народа, мучительно видеть то унижение и развращение, до которого он доведен».

В рукописях Толстого находим занесенные на бумагу следы этих мучительных наблюдений: «1) Старик с одышкой, 2) [Немая] слепая девочка, 3) Рахитический ребенок, 4) Куриная слепота, 5) Тиф, 6) Дворники, 7) Кучер соблазнил бабу, 8) Баба с детьми; муж в остроге за лес, 9) Высекли за траву».

Репин, на несколько дней приезжавший в Бегичевку, замечает: «Теперь лицо Льва Николаевича еще выразительнее стало; и гораздо бледнее от растительной пищи и от лишений, которым вы там все подвергались, конечно».

Репин пишет это Татьяне Львовне Толстой: и она, и Мария Львовна верные помощницы отца, они с ним и на голоде. Участвуют в деле некоторые из сыновей, закупают продукты, организуют их доставку. В толстовскую армию приезжают знакомые и незнакомые добровольцы, среди них врачи, фельдшерицы. Медицинский персонал здесь как нельзя более на месте — люди, ослабленные голодом, прозябающие в холодных, грязных жилищах, в условиях, самых нездоровых, особенно подвержены болезням: тиф, простудные, желудочно-кишечные заболевания.

Несколькими годами позже, сам уже не выезжая на места нового неурожая, Лев Николаевич охотно отзовется на просьбы фельдшериц и сестер милосердия, которые попросят его направить их туда: «Сколько мне известно, нужда очень сильная в Казанской, Вятской и Самарской губ., — пишет он одной из них? — В Самарской губ. есть А.С.Пругавин, к

которому можно обратиться... Самой ехать на место лучше всего. Помоги вам Бог». Тогда же он пишет этнографу и историку Александру Степановичу Пругавину, работавшему на голоде в Самаре, о другой просительнице: «Письмо это передаст вам Любовь Матвеевна Лепаринская, фельдшерица, очень хорошо и с самой хорошей стороны мне известная. Трудолюбивая, умная, приятная в жизни. Она хочет служить больным в вашей губернии. Направьте ее, где нужны хорошие люди».

При организации питания голодающих Толстой постоянно пользуется данными медицинской науки, прежде всего трудами и советами одного из основоположников российской гигиены, профессора Московского университета Федора Федоровича Эрисмана. «У Эрисмана узнать о конопляных жмыхах», «У Эрисмана: о пшене, о горохе, о чечевице, о конопляных жмыхах. Ячмене, овсяном киселе, свекле, кукурузе, пшенице», «Эрисман пишет и читает лекцию о том, как ошибочно кормить хлебом, преимущественно в гигиеническом отношении», — находим в записных книжках и письмах Толстого.

Любопытно: в отчете о работе на голоде противник медицины Толстой, подводя итог, обращается к медицинскому образу. Он пишет, что на вопрос об экономическом состоянии народа вообще не может ответить с точностью: «Мы все, занимавшиеся в прошлом году кормлением народа, находимся в положении доктора, который бы, быв призван к человеку, вывихнувшему ногу, увидал бы, что этот человек весь больной. Что ответит доктор, когда у него спросят о состоянии больного? «О чем хотите вы узнать? — переспросит доктор. — Спрашиваете вы про ногу или про все состояние больного? Нога ничего, нога — простой вывих, случайность, но общее состояние нехорошо».

В одном из писем того времени Толстой повторяет: чем далее продолжается помощь голодающим, тем «все яснее и яснее становится пальятивность его и необходимость основного лечения». Паллиатив в медицине — средство, дающее больному лишь временное, частичное облегчение, но не излечивающее болезни.

Летом того же 1892 года в России начинается эпидемия холеры. Антон Павлович Чехов, деятельно участвовавший в обуздании эпидемии, пишет об этом: «Хорошего больше, чем дурного, и этим холера резко отличается от голода, который мы наблюдали зимою. Теперь все работают. Люто работают. В Нижнем, на ярмарке, делают чудеса, которые могут заставить даже Толстого уважительно относиться к медицине и вообще к вмешательству культурных людей в жизнь». Антон Павлович пишет немного сердито, он спорит в душе с теорией Толстого, как бы не замечая его практической работы на голоде. А Толстой в те же самые дни в письме к одному из друзей говорит о холере: «Получил третьего дня ваше письмо, в котором вы пишете, что едете к холерным...

Странно сказать, я завидую вам в том, что вы можете стараться помогать... Мне же и думать нельзя идти служить больным. Если я это сделаю, то я вижу, что убью жену... Впрочем, как придется поступить, далее будет видно. Помогай вам Бог делать то, что вы делаете, не замечая того, что делаете. Мне-то, стоящему одной ногой в гробу, странна та важность, которая приписывается холере, но молодым, я понимаю, что должно быть и жутко, и радостно, и возбудительно, как на войне».

Собеседники

В дневнике: «Вечером пришли два врача земские — Рождественский и Долгополов. Революционеры прежние, и та же самоуверенная ограниченность, но очень добрые. Я, было, погорячился, потом хорошо беседовали».

Через несколько дней снова: «Во время обеда доктор земский. Беседовал с ним очень горячо. Надо учиться молчать».

Среди собеседников Льва Николаевича то и дело встречаем врачей. Доктора, которые пользуют его самого и его домашних, и сторонние, которые сами приходят к нему за помощью в решении важнейших для них вопросов жизни.

Примечательны ответы Толстого — при его «известном» отношении к медицине — на вопрос, стоит ли избрать медицину жизненным поприщем. Вот, к примеру: «Вы загадываете, как вам устроить свою жизнь. Планы фельдшерства *прекрасны* <!>, — они *мне* <!> и многим приходили в голову».

Другое дело, что доброе начало Толстой всегда видит, ищет в самом человеке, а не вне его. Потому-то и совершенствование мира в целом зависит от совершенствования каждого из нас. Беседуя с доктором Евгением Николаевичем Малютиным, лечившим его детей, он поясняет:

«Я не понимаю этого всегдашнего отношения, что доктора непременно служат доброму делу: нет профессии доброй самой по себе. Можно быть сапожником и быть добрее и лучше доктора. Почему вылечить кого-нибудь — добро? Иногда совсем наоборот. Дела человека хороши не сами по себе, а по чувствам, которые им руководили. Поэтому-то я не понимаю стремления всех женщин непременно в доктора, в акушерки, фельдшерицы. Точно, как будто стоит только сделаться акушеркой, и уже все хорошо». Всякое дело, а медицину в особенности, следует выбирать со стремлением нести добро и любовь людям.

В беседах с врачами, устных или письменных, Толстой нередко обретает суждения и сведения, которые становятся предметом его дальнейших раздумий.

«Предмет, о котором вы пишете, слишком важен..., — отвечает он на письмо врача из Чернигова об организации борьбы с болезнями детей и детской смертностью в деревне. — Я, по крайней мере, лично вам очень благодарен за сообщение мне вашей мысли, которая уяснила мне одну из форм служения людям, и готов служить, как умею, к ее распространению».

Или — в письме о сделанном ему предложении выступить на съезде сифилидологов против узаконенной проституции: «Очень сочувствую вашему письму в газете и мыслям, выраженным в письме ко мне. Рад бы был служить этому делу и послужу, если Бог приведет... Самое ужасное и вредное в этом деле это та санкция, которую дает правительство проституции, регулируя ее. эта санкция удесятеряет разврат».

От врачей Толстой получает и уточняет подробности, нужные ему в творческой работе. Советы медиков помогают ему при создании «Смерти Ивана Ильича». Занимаясь «Воскресением», он обращается к Павлу Сергеевичу Усову. Доктор Усов, сын старого приятеля Льва Николаевича, профессора-зоолога, человек у Толстых высоко ценимый: «милый, симпатичный, сердечный», — не скупится на эпитеты Софья Андреевна, и сам Толстой, кажется, без ропота подчиняется, если не его предписаниям, то хотя бы осмотрам.

«Не знаю, что делать со Львом Николаевичем, — то ли огорчается, то ли втайне восхищается Павел Сергеевич. — Жалуется на болезнь, а придешь к нему, начинает говорить о чем угодно, только не о лечении. Мало того: когда я тоже был болен, Толстой пришел ко мне сам и просидел до полночи, заставив меня проштудировать акт судебно-медицинского вскрытия из своего нового романа, не пощадил ни меня, ни себя».

В беседах с врачами Толстой — он сам это признает — *горячится,* отстаивая свои, часто не приемлемые для медика взгляды. Потом кается, обличая в себе ненавистное ему «казаться»: «Я был напрасно скептичен, — корит себя в дневнике после разговора со знакомым доктором, — *как бы поддерживал свою репутацию*».

В оценках, которые «выставляет» Толстой своим собеседникам-врачам, нередко встречаем — «ограниченный», «невежественный». Эти обидные определения не следует принимать буквально. По существу, Толстой не обозначает ими в обычном смысле духовных и душевных качеств тех, кого характеризует. Речь здесь о близости, о соотнесенности внутренней жизни человека, с которым беседует Толстой, с «центром» его собственного мировосприятия, центром, к которому сходятся все «радиусы», связывающие Толстого с жизнью, с окружающим миром. «Ограниченность», «невежественность» для него сосредоточенность че-

ловека на своей профессии, ограничение профессиональной деятельностью своего участия в общей жизни, неозабоченность задачей исправления, улучшения мира и человечества, которая для Толстого альфа и омега его существования. Характеристики одного и того же человека у Толстого порой прямо противоположны в зависимости от того, оценивает ли он этого человека на основании тех данных, которые этот человек предъявляет, или исходит из близости человека своим, *толстовским* взглядам и убеждениям. Это все тот же противоречивый разговор о музыке: музыка прекрасная, заставляет меня волноваться, плакать, но, согласно моим убеждениям, такая музыка не годится.

Кое-что о Снегиреве

Примером такой противоречивости могут быть оценки Толстым личности выдающегося русского гинеколога, профессора Владимира Федоровича Снегирева.

Со Снегиревым его связывают достаточно долгие отношения: известный врач лечит Софью Андреевну. В Москве он навещает толстовский дом в Хамовниках.

На Льва Николаевича профессор, по его определению, смотрит, «как на собирательное русского народа»: «всё, что было в истории этого многострадального народа хорошего или дурного, великого и слабого — вся сила наиболее выразилась или отразилась на Льве Николаевиче». В постоянной внутренней работе, составляющей сущность жизни Толстого, он, Снегирев, видит движение к той «правде, которую нам дано найти»: «Находясь в этом процессе и отражая на себе все страды русской земли, — он мученик и борец». Общение с Снегиревым, похоже, интересно и Толстому: по вечерам он иной раз заходит к нему домой побеседовать, очевидцы вспоминают их длинные, сердечные беседы.

Бывает Снегирев и в Ясной Поляне, где, в 1906 году, в домашних условиях вместе с помощниками делает Софье Андреевне сложную полостную операцию под общим наркозом.

Лев Николаевич радуется приездам Снегирева («Утром Л.Н. в легком пальто пошел по прешпекту навстречу Снегиреву, который должен был приехать», — записывает доктор Маковицкий. Он помечает, что Толстой охотно слушал суждения Снегирева о политических событиях, русско-японской войне (беседа происходит летом 1905-го), о монастырях, об институте брака, Снегирев сетует на пустую жизнь, которую ведет большинство людей. Беседа, видимо, Толстому желанна, он не спорит с профессором, слушает его охотно; неслучайно Снегирев, уезжая, отмечает, что Лев Николаевич «стал мягче, чем десять лет тому назад, в своих требованиях, спорах, суждениях».

Это не мешает Толстому несколько дней спустя сказать о недавнем собеседнике: «Как все врачи-специалисты, Снегирев — невежественный человек, он ничего не знает». Но почти тут же: «Любезный человек и все знает, до чего наука дошла». В этом противоречии: «ничего не знает» и «все знает» — корень всего. Толстой пишет, что часто люди, считающие себя учеными, образованными и просвещенными, знают бесчисленное количество разных вещей, но невежественны в главном — они не знают смысла своей жизни и не задумываются над тем, как надо ее прожить.

Чем ближе Толстой узнает Снегирева, тем выше его мнение об ученом медике. Происходит между ними разговор и о профессионализме, увлечение которым часто не совпадает с интересом к духовным, нравственным вопросам. Через полтора года после приведенных суждений о Снегиреве Лев Николаевич говорит о нем совсем иное: «Он очень живой и приятный человек, что редко бывает у специалистов. Я сказал ему, что специальность даром не дается, то есть в том смысле, что человека суживает, но по отношению к Снегиреву это не так. Он избежал этого, он специалист, но не потерял всестороннего интереса к жизни».

В тот же день он определяет по почерку характер Снегирева: и умный, и религиозный, и художественный.

Отступление. Из записок профессора В.Ф.Снегирева

Заглянем в воспоминания Снегирева об операции, произведенной им в Ясной Поляне. Они написаны всего три года спустя после события, о котором в них говорится, и опубликованы при жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Это подтверждает их достоверность. Для нас же рассказ Снегирева — возможность нагляднее представить себе ту лучшую медицину, какая была сто лет назад, проникнуть в мысли и чувствования одного из лучших врачей своего времени, отмеченного не только высоким профессионализмом, но и чутким пониманием психологии пациента и его окружающих, еще раз вдуматься в сложное, не обозначаемое с размаху отношение Толстого к неизменно его привлекавшему, тревожившему, звавшему к раздумьям роду человеческой деятельности.

Операция (в сокращении)

По приезде в Ясную Поляну в четверг 31 августа 1906 г. я застал графиню Софью Андреевну в сильных болях. Она кричала и рвала все на себе. Сильные агонизирующие боли не уступали ни припаркам, ни кодеину, ни атропину. Больная день и ночь кричала от болей...

Из некоторых слов, перекинутых со Львом Николаевичем, я убедился, что он смотрит на дело безнадежно, считая, что смерть больной неизбежна.

Я прошел в комнату к больной, чтобы исследовать ее. Но увидал, что это невозможно вследствие страшных агонизирующих болей. Я потребовал морфий, вспрыснул 1/4 грана и положил лед на опухоль живота. Больная несколько успокоилась...

Окружающим и Льву Николаевичу я высказал, что хотя и не имею полной диагностики, но считаю более вероятным, что здесь имеется нагнаивающаяся и распадающаяся опухоль. И я пояснил Льву Николаевичу, как происходит этот процесс.

Он сказал:

— Вот как! Это интересно! В самом деле это должно быть так...

Я вернулся в комнату с доктором С.М.Полиловым *<ассистент Снегирева>,* и мы начали рассуждать о предстоящей операции, принимая во внимание все обстоятельства: недостаточную дезинфекцию помещения; малый свет в операционной; быстро наступающие грозные моменты в течении болезни — воспаление брюшины, возможность перфорации (прободания); истасканность нервной системы больной; года ее; кроме того, общественное положение больной, ее громкую известность; интерес не только в России, но и за границей к судьбе больной; влияние исхода на жизнь и деятельность Льва Николаевича; огромная ответственность, взятая мною на себя, и т.д.

Но в пятницу положение больной стало хуже; боли не утихали, температура поднялась, и стали появляться грозные симптомы перитонита. Мы уныло проводили время, находясь в подавленном состоянии.

В 7 часов вечера приехали из Москвы ассистенты гг. Гайчман и Улитин, с инструментами и перевязочным материалом. С их приездом мы несколько ободрились, почувствовав почву под ногами. Грозные, пугавшие нас явления перфорации, могущие наступить ежеминутно, не застали бы нас теперь врасплох...

Ассистенты бодро принялись за приготовления к операции; закипели самовары, забурлили инструменты. И вся операционная наполнилась бодрящей деятельностью...

Состояние больной за ночь не улучшилось, а ухудшилось. Осмотрев больную вместе с врачами, я высказался:

— Время операции наступило. Операция неизбежна...

Врачи согласились со мною...

Я отправился к Льву Николаевичу и высказал ему необходимость безотлагательной операции.

Он ответил:

— Я смотрю пессимистически на здоровье жены; она страдает серьезной болезнью. Приблизилась великая и торжественная

минута смерти, которая на меня действует умилительно. И надо подчиниться воле Божьей... Я против вмешательства, которое, по моему мнению, нарушает величие и торжественность великого акта смерти... Все мы должны умереть не сегодня, завтра, через пять лет. Я понимаю вас, что вы иначе действовать не можете. И я устраняюсь: я ни за, ни против... Вот соберутся дети, приедет старший сын, Сергей Львович. И они решат, как поступать... Но, кроме того, надо, конечно, спросить Софью Андреевну. И если она ничего не будет иметь против, тогда вы можете делать ваше дело.

Я сказал:

— Может быть, и не надо делать операции. Но тогда найдите средства, как утишить боль и страдания. Я не знаю другого средства, кроме операции.

— Страдания необходимы: они помогают подготовиться к великому акту смерти.

— Оставимте академические споры! Я пришел вас не убеждать, а высказать мнение, сложившееся у меня сегодня в решительное заключение. Я пойду к больной и спрошу ее, согласна ли она. Прошу и вас сделать то же.

Л.Н. отправился и сказал, что больная согласна на операцию. Явились дети Толстых и заявили, что и они считают операцию необходимой. Лев Николаевич сказал и им то же, что и мне.

Больная пожелала проститься, предварительно вымывшись и переодевшись, с детьми и окружающими, т.е. с прислугой, которая поочередно входила и, плача, прощалась...

Без 20 минут в 12 часов дня, тут же, в спальне графини, приступлено было к наркозу. В 8 минут 1-го больная была перенесена в операционную. В 17 минут 1-го больная еще не уснула. И только в 32 минуты 1-го был произведен брюшной разрез. По вскрытии брюшины встретился утолщенный сальник, и, раздвинув кишки, можно было увидеть опухоль. Имея в виду, что опухоль тонкостенная и наполненная кровянистой жидкостью, я, чтобы избежать лопания ее внутри, увеличил брюшной разрез. После этого опухоль была легко извлечена. В 12 часов 58 минут операция была окончена, и больная перенесена в постель. Таким образом операция с момента разреза до окончания продолжалась около 26 минут. Наркоз прошел благополучно: ни цианоза, ни падения пульса не замечалось. Были попытки к рвоте. Крови не потеряно ни капли.

Когда брюшная рана была зашита, я послал семье Толстых сказать, что операция кончена. Все вещи из операционной стали быстро удаляться, и комната очищаться. Я был весь в испарине и попросил дать мне что-нибудь накинуть на себя. Мария Львовна принесла мне отцовский халат, в котором я и вошел в спальню графини, чтобы показать семье Толстых удаленную опухоль.

Уходя из комнаты, я встретил Льва Николаевича. Он был бледен и сумрачен, хотя казался спокойным, как бы равнодушным. И, взглянув на кисту, ровным, спокойным голосом спросил меня:

— Кончено? Вот это вы удалили?..

Больную было воспрещено посещать всем, кроме Льва Николаевича. Он видел все это и сказал:

— Не напрасно ли произведена операция?

На это я ответил:

— Положение тяжелое, но, наверно, лучшее, чем было до операции...

Через четыре дня после операции, когда больная была вне опасности, я покинул дом Толстых... Утром я пришел проститься с Л.Н. в его кабинет. Он находился там один, в своем обычном утреннем костюме, и что-то читал. Он был сумрачен и принял меня очень сухо... Он был мало разговорчив, сидел все время нахмурившись и, когда я стал с ним прощаться, даже не привстал, а, полуповернувшись, протянул мне руку, едва пробормотав какую-то любезность. Вся эта беседа и обращение его произвели на меня грустное впечатление, Казалось, он был чем-то недоволен, но ни в своих поступках и поведении или моих ассистентов, ни в состоянии больной причины этого недовольства я отыскать не мог. Обсудивши все, я приписал это мрачное состояние его усталости и измученности.

В нем, несомненно, происходила великая борьба: отрывалась от него половина его существа, нарушалась цельность продолжительной жизни.

И он однажды сказал больной графине:

— Вот ты лежишь и не ходишь, и не слышу я по комнатам топота твоих ног, и знаешь, не слыша их, я плохо читаю и плохо пишу.

И в те минуты, когда он посещал ее после операции, сколько нежной трогательности было в его взгляде, его голосе при обыкновенно шутливых выражениях!

А тут в тихую, размеренную жизнь ворвалось что-то чуждое и, может быть, враждебное ему. Явилась масса новых людей, перевернувших весь порядок жизни для своих целей, сбивших с ног прислугу, заставивших всех говорить только об операции, волноваться только операцией. И все это происходило под стоны и крики больной, которой становилось все хуже и хуже. Тяжелое спустилось в дом и всех придавило. Он один стоял вдали и, уходя в парк, молился там. Что должно было совершаться в душе его в этой уединенной скорби?! И что же удивительного, что что-то оскорбленное закралось в его душу и что это оскорбленное падало на главного виновника — оператора...

Через месяц я снова был в Ясной Поляне, снова увидел приветливых, ласково расположенных ко мне детей Льва Николаевича, графиню, изящно одетую, и ласкового, гостеприимного хозяина. Л.Н. встретил меня с обольстительною приветливостью и джентльменством. Речь его лилась скромно, изысканно, с трогательною дружелюбностью...

И такое сильное впечатление, такой контраст отъезда и приезда моего оставил Л.Н. во мне, что я сказал себе, «Больше не хочу видеть его, ибо уже никогда не увижу его в таком обольстительном виде. И пусть я умру с этим впечатлением. Это — мое».

Собеседники (продолжение)

В поздние толстовские годы врачи почти постоянно навещают Ясную Поляну, заживаются в ней. Знакомство с тем или иным врачом начинается порой с практической потребности, но со временем переходит в близкие отношения, выходящие далеко за рамки отношений больного и лекаря.

Из числа докторов-собеседников чаще других появляются в Ясной Бутурлин, Никитин и Беркенгейм. Авторы воспоминаний, среди них и Сергей Львович Толстой, титулуют этих врачей друзьями семьи, рассказ о Бутурлине помещен *в* воспоминаниях Сергея Львовича в разделе «Друзья и близкие Л.Н.Толстого», рядом с рассказами о родных и самых заветных спутниках жизни отца. Отмечая в своих подневных записях приезд этих троих (все трое и между собой дружны), доктор Маковицкий почти неизменно прибавляет, что «все им были очень рады».

Александр Сергеевич Бутурлин — выходец из родовитой дворянской семьи. Окончил Московский университет. Участвовал в революционном движении, был сослан. Само знакомство его с Толстым состоялось, когда Лев Николаевич приехал к нему, чтобы выразить сочувствие по случаю ареста и высылки в Сибирь. Человек во всем своеобычный, Бутурлин, кажется, не слишком много практиковал как врач, интересовался больше теоретическими проблемами, причем не только медицинскими. Его занимали вопросы политические, социальные, экономические; посвящая много времени всеобщей истории, он сосредоточился, в основном, на эпохе французской революции. Одним из главных направлений его занятий стало исследование и критика Священного Писания; здесь их интересы с Толстым сходились очень близко.

Дмитрий Васильевич Никитин появляется у Толстых в 1902 году. Тяжело больной Лев Николаевич находится в Крыму, в Гаспре (об этой его болезни еще поговорим). Его лечат врачи, обитающие поблизости и специально приглашаемые из Москвы и Петербурга. Состояние здоровья Толстого диктует необходимость иметь постоянного домашнего

врача, живущего под общей крышей с больным и готового в любую минуту оказать помощь. Выбор падает на Дмитрия Васильевича, сына сельского священника, выпускника Московского университета, ординатора клиники известного профессора-терапевта А.А.Остроумова. Работа домашнего врача не проста: мало того, что требует разносторонних знаний, быстрой профессиональной реакции, — домашний врач оказывается как бы членом семьи своего пациента, а это предполагает определенные душевные качества. Увлекаясь записками великого Пирогова, в которых на первый план выступают нравственные вопросы, Толстой замечает, что таких, как Пирогов, единицы в кругу врачей, которые по большей части обращают все внимание на материальную науку. И прибавляет: «Дмитрий Васильевич Никитин — редкое исключение». Никитин становится первым домашним врачом в семье Толстых. В этой должности он остается до осени 1904-го, когда его сменяет Душан Петрович Маковицкий. В течение нескольких месяцев (Никитину выпала возможность поехать для усовершенствования за границу) его замещает Беркенгейм. Оставив обязанности в толстовском доме, Никитин долгое время работает врачом в земских больницах Москвы и Подмосковья. Однажды, когда в разговоре Лев Николаевич замечает, что у Никитина, как ему кажется, «нет довольства жизнью», Беркенгейм объясняет ему, что по складу ума Дмитрий Васильевич — человек науки, призван к деятельности клинической, а не земского врача. Толстой отзывается на это мнением, что важнее вылечить ребенка от кровавого поноса, чем сделать самое большое изобретение в науке. «По-моему, деятельность земского врача выше».

Григорий Моисеевич Беркенгейм, как и его приятели окончивший медицинский факультет Московского университета, врачует в Москве и губернии, некоторое время живет домашним доктором у Сухотиных, в семье дочери Толстого, Татьяны Львовны. Он — участник русско-японской войны, с которой, помимо многих впечатлений, привез два боевых ордена. Человек разносторонне образованный, Григорий Моисеевич не только лечит своего знаменитого пациента: признавая ум и эрудицию врача, Толстой обращается к нему с просьбами, относящимися к творческой деятельности. Так, работая в библиотеках, Беркенгейм составляет для него библиографию изданий о декабристах (150 названий!), список книг, нужных для работы над задуманным художественным произведением из эпохи Александра Первого (Толстой благодарит его за «большой и мне очень нужный и для меня полезный и приятный труд»).

Любопытный эпизод: Беркенгейм однажды рассказывает Толстому, что получил письмо от незнакомого раввина из Галиции; раввин узнал, что Григорий Моисеевич лечит Толстого, и благословляет его.

Толстой доверяет вкусу и мнениям своих друзей-докторов, знакомит их с новыми, только что законченными произведениями, и не одними художественными. Со статьей о Шекспире, к примеру, — тоже.

Само собой понятно, что с такими докторами-собеседниками разговор не замыкается на медицине, часто и вовсе почти не касается ее. В записках Маковицкого перечислены некоторые темы, которые обсуждаются во время одного из посещений Ясной Поляны тремя врачами, о которых идет речь. Само их появление не связано в данном случае с состоянием здоровья Толстого. «Приезжали, — объясняет Маковицкий, — чтобы услышать от Л.Н. хоть малейшее одобрение стремлений российского общества, выражающихся в освободительном движении <*октябрь 1905-го — разгар революции*>. Но Л.Н. не одобрил борьбы за политические свободы, а повторял, что религиозному человеку нужно добиваться свободы в себе. Бутурлин сказал Л.Н., что он проповедует то, что Христос 1900 лет тому назад: «Может быть, вам видно дальше, чем нам, вы проповедуете, что будет в будущем, может быть, через 900 лет, а до тех пор как нам руководствоваться, каким правительством?»

Говорят — о войне, о революционных событиях, о том, какую пользу можно ожидать России от нынешнего освободительного движения, о социализме, о положении в мире, о русской истории, об опыте французской революции. Лев Николаевич, по свидетельству Маковицкого, старается уяснить, о чем думает и что хочет русский народ, «а для народа полагает себя как интеллигента паразитом». Говорят также — о докторах Пирогове и Гаазе, о музыке и живописи. Лев Николаевич вспоминает давнюю поездку в Италию, художника Александра Иванова, автора картины «Явление Христа народу». Мы не перечисляем всех тем, да они и не исчерпываются, конечно, упомянутыми в записках. Для нас главное, что врачи, друзья Толстого, для него — достойные собеседники, по плечу.

«Они все так любят Л.Н.!» — записывает Маковицкий после отъезда врачей. А Лев Николаевич, в свою очередь, заканчивает письма к ним словами: «Все помнят и любят вас».

Еще кое-что. О Захарьине

Григорий Антонович Захарьин, медицинское светило, основатель московской терапевтической школы, лечит Толстого дольше всех других врачей (более четверти века). Толстой ему особенно доверяет.

Впервые Толстой обращается к Захарьину в 1867-м, в критическую пору по окончании «Войны и мира», тяжко переживая вдруг образовавшуюся в жизни творческую пустоту. Захарьин — один из немногих врачей, к кому Лев Николаевич стремится по собственной охоте, без по-

нуждения. Известны случаи, когда он, обычно нетерпеливый в таких положениях, ждет несколько часов, чтобы только быть принятым. Он, конечно же, не выполняет всех предписаний Захарьина, но услышать мнение Захарьина для него всегда дорого.

Завершая «Анну Каренину», Толстой снова ищет помощи у доверенного врача. В эту пору, похоже, обоим приходит на память, что исполняется как раз десять лет их знакомства; во всяком случае Захарьин воспринимает несколько неожиданное, без внешнего повода посланное к нему письмо Толстого как «юбилейное».

> Дорогой Григорий Антонович,
>
> Пишу вам в первую свободную минуту, только с тем, чтобы сказать вам, что я очень часто думаю о вас и что последнее мое свидание с вами оставило во мне очень сильное и хорошее впечатление и усилило мою дружбу к вам. Прощу вас верить этому и любить меня так же, как я вас.
>
> Ваш Л. Толстой.
>
> Вашу книгу Хомякова читали оба с женой. Я ждал больше. Я привезу ее вам сам на днях.

Возможно, врач, без всякого намерения, творчески посодействовал своему пациенту. На последних страницах «Анны Карениной» Левин, занятый религиозными поисками, читает том богословских сочинений поэта и публициста Хомякова.

«Лучшего юбилея для нашего десятилетнего знакомства, как та хорошая минута, которой вы подарили меня своим письмом, я не мог пожелать, — отвечает Захарьин. — Десять лет назад я оценил в вас не только первого из современных русских писателей, но — еще не зная вас лично — человека, симпатии которого, хорошо видел, несмотря на всю великую объективность вашего творческого дарования, — были там же, где и мои, сам пожелал узнать вас и стал настороже вашего здоровья...»

Уважение к Захарьину, любовь и дружба, в которых признается не щедрый на такого рода признания Толстой, не мешают Льву Николаевичу в пылу спора, отстаивая свои отрицательные суждения о медицине, колебать пьедестал любимого доктора.

Когда добрый его приятель и последователь Гавриил Андреевич Русанов, человек тяжко больной, пытается защищать медицину от его нападок, он со всей своей энергией бросается в атаку:

«— Нет-с, лечить нельзя, — начал он доказывать свою любимую мысль, вспоминает Русанов. — Боткин все еще дает лекарства, а Захарьин уже понял несостоятельность их и налегает больше на гигиену, которая и привела его, впрочем, в тупой переулок. Я знаю Захарьина, и приходилось советоваться с ним. Если его советам следовать, придется всю жизнь только и думать о том, во сколько часов вставать, во сколько лечь,

когда завтракать, когда обедать и пр. Жить животной жизнью. Лечиться не нужно, лекарства вместо пользы только вред приносят, а нужно жить, на сколько имеется сил. Во время лечения человек не живет, все откладывает на будущее время: «это я все потом, потом буду делать, когда вылечусь». Жить нужно в настоящем».

В суждениях Толстого, без сомнения, есть свой смысл, и немалый (об этом позже), пока заметим лишь, что несколькими месяцами раньше, страдая головными болями и расстройством желудка, Лев Николаевич весьма исправно (насколько он способен!) следовал советам Захарьина. Возражение собеседника-мемуариста, что Лев Николаевич нападает на медицину «потому главнейше, что сам здоров», также весьма основательно. Несколько лет спустя, испытывая сильное недомогание («то руки, то ноги, то живот болят»), Толстой, не дожидаясь, пока жена пригласит Захарьина, сам отправляется к нему и в связи с обнаруженным катаром желчного пузыря получает необходимые наставления: ходить в теплом, класть фланель немытую на весь живот, совершенно избегать масла, кушать часто и понемногу, пить минеральную воду (придерживаясь того самого строгого графика, над которым в приведенной беседе с приятелем посмеивался Лев Николаевич: натощак, четверть часа спустя, за час до завтрака и т.д.). Правда, сообщая в письме к тому же Русанову о своей болезни, упрямо прибавляет: «Но истинно, не для фразы, говорю, никак, к огорчению моей жены, не могу этим интересоваться, потому что не чувствую, чтобы мне насколько-нибудь было хуже при нездоровье, чем при здоровье». Софья Андреевна между тем записывает в дневник: «Я настояла, чтобы Левочка пил воды по предписанию Захарьина, и он повиновался. Я подносила ему молча стакан подогретого Эмса, и он молча выпивал. Когда бывал не в духе, говорил: “Тебе скажут, что нужно вливать что-то, ты и веришь. Я это делаю, потому что вред будет небольшой”. Но он пропил все три недели... На мой взгляд, здоровье его очень поправилось; он много ходит, стал сильнее и только спит недостаточно, часов 7; я думаю, это от слишком усидчивой умственной работы».

Как-то Толстой заглянул к Захарьину, чтобы справиться о состоянии здоровья одного из своих друзей. И тут, почти случайно, завязался очень важный для него долгий разговор, в котором он многое почерпнул для своего отношения к медицине.

«Вчера с Захарьиным я до 12 часов беседовал про веру. Он очень умен и правдив, но нельзя себе представить его невежество. Я ему говорю заповеди Христа... и говорю: “ну, вы помните”. Он говорит: нет, не помню, я не читал Евангелия. Ведь это неимоверно...» Захарьин поражает его искренностью своих признаний об отношении к религии, к каждому слову молитвы. «И этот человек не читал Евангелия и мою книгу <*“В чем моя вера?”*> не хочет прочесть, потому что ему некогда».

Беседа укрепляет в Толстом мысль о сосредоточенности медицины на материалистических вопросах, об отсутствии даже у лучших ее представителей интереса к поискам подлинного, духовного смысла жизни, которые для Толстого невозможны вне религии.

Но в том мире, который, при всем ее отрицании, отводит Толстой медицине, для него нет другого, равного Захарьину. Когда, в 1890-е годы заболевает сын, Лев Львович, к тому времени уже взрослый, Толстой справляется у него с беспокойством: «Мне интересно, главное, как ты, Лева, относишься к советам Захарьина. Надо все исполнять. Надо быть последовательным. Доктора нужны, главное, на то, чтобы не лечиться самому, и в особенности такие, как Захарьин, на которого жаловаться есть только одна инстанция — Бог».

Замечательно, что Чехов, по его признанию, из писателей предпочитавший Толстого, а из врачей — Захарьина, написал однажды, что Захарьина «уподобляет» Толстому — *по таланту*.

«Простите, что утруждаю...»

Он отправляет какую-то неизвестную бедную женщину с запиской к Снегиреву: «Не можете ли помочь этой очень жалкой особе лечь бесплатно и лечиться в клинику. Простите, что утруждаю... Всегда с любовью вспоминаю вас».

В критике своей яростный противник лечения, а вот же — утруждает, просит помочь, лечить. Больному приятелю читает наставление: лечиться не нужно, лекарства — один вред; другого приятеля, тоже тяжело больного, убеждает: «...что вы будете здоровы или больны, умрете физической смертью нынче или через 20 лет, это, как было вне знания и власти людей, так и осталось», — но, идя пешим ходом из Москвы в Ясную, подбирает по дороге «больного, жалкого мальчика», ведет в тульскую больницу, пишет письмо с просьбой, чтобы приняли.

Другого мальчика отправляет в Москву, в детскую больницу на Малой Бронной к знакомому доктору Хабарову, молодому человеку, очень доброму и серьезному, по собственной Толстого характеристике: «Александр Николаевич! Больной задержанием мочи крестьянский мальчик... будет привезен к вам в Детскую больницу. Будьте так добры, обратите на него внимание и скажите мне при случае о нем. Лев Толстой».

Хлопочет о помещении в больницу крестьянина соседней деревни Телятники с гангреной ноги: «Из Сергиевского *<где имелась больница> я* нынче получил ответ о мужике больном, условный, что принят (?), если не хронический, и потому я решил везти его в Тулу. Руднев обещал принять и обратить на него внимание». Дело пред-

ставляется ему столь важным, что сообщает о нем жене в Петербург, где Софья Андреевна в самых высших кругах хлопочет о разрешении напечатать «Крейцерову сонату».

То какого-то монаха посылает в больницу, уговорившись заранее, чтобы лечили бесплатно, то и вовсе ищет богатых благотворителей, чтобы отправить заехавшего к нему неведомого «жалкого француза с страшной болезнью — волчанкой» к известному специалисту в Копенгаген.

Умрет человек нынче или через 20 лет, «вне знания и власти людей», но в минуту оседлывает лошадь и мчится верхом в Тулу — за доктором для умирающей бабы (доктора не оказалось на месте, и крестьянка не выжила).

Вопреки критическим и недоверчивым высказываниям, Лев Николаевич заботливо следит за лечением своих домашних. Он посылает Софью Андреевну в Петербург для совета о здоровье со знаменитым Боткиным, просит, чтобы ему было передано всё, что скажет профессор. Именно он, не кто иной, привозит к больному брату Сергею Николаевичу, тоже отрицающему медицину, доктора Никитина, и тот ставит ему (к сожалению, страшный) окончательный диагноз.

Сына Льва Львовича, отправившегося для лечения в Париж, он расспрашивает в письмах об исследованиях и назначениях, помогает в выборе врача. Наибольшее доверие вызывают у него невропатологи: они ищут «корень болезни в нервах, т.е. в высших функциях, а не в низших». Это не мешает ему в тех же письмах, где он восхищается известным французским невропатологом Эдуардом Бриссо («Вот умница!», «На Бриссо я надеюсь и одобряю его!» и т.п.), сообщить о появившейся в печати очень сильной статье «против докторов».

Значимые воспоминания оставила племянница Толстого (дочь его сестры) Елизавета Валерьяновна Оболенская, очень им любимая. Однажды ее дочь повредила ногу. Как раз в тот момент, когда она собиралась везти ее к врачу, зашел Лев Николаевич. «Он стал говорить, как грешно наше привилегированное положение; что я вот могу лечить мою дочь, а прачка не может, а потому дочь прачки должна болеть. Я на это сказала ему, что, кажется, надо сделать так, чтобы и прачка могла лечить свою дочь, а не мне не лечить своей. Но упрек его упал на больную душу, и я расплакалась. Дядя никак не ожидал этого и очень огорчился, что расстроил меня, стал утешать и сказал:

— Разумеется, поезжай к доктору, как же не лечить?»

В этом разговоре по-своему явила себя самая суть личности, суть совести Толстого. Ну, конечно же, нужно добиваться для всех равных возможностей пользоваться медициной, как и иными благами жизни. Конечно же, неправомерно отказываться от лечения или препятство-

вать в лечении своим близким только потому, что кто-то этой возможности лечиться не имеет. И все же я не могу, я, Лев Толстой, не в силах так. Не могу есть пирожное, масло желтое, осетрину, когда вокруг голодные. Не могу привозить к себе дорогих врачей, когда вокруг лишенные помощи больные, умирающие. А коли поступаю так, то против себя, против своей совести, — всякий раз строку постыдную вписываю в свою жизнь. И в этом главная, жгучая его боль...

Всем этим «осложняется вопрос» об отношении Льва Толстого к медицине.

Глава 2
НЕУЖЕЛИ ЭТО ТАК НАДО?

Чтобы вылечить одного имущего

В книге «Что такое искусство?» Толстой рассказывает, как провел однажды несколько часов в театре на репетиции оперы. Происходившее на сцене было ненатурально, нелепо, по замечанию Толстого, ни на что на свете не похоже, кроме как на другие оперы, притом и мало кому нужно — для подлинно образованного человека несносно, для настоящего рабочего человека совершенно непонятно. Но Толстого занимают не только содержание и музыка оперы. Видя нескольких сот музыкантов, солистов, хористов, балерин, участвующих в ежедневной шестичасовой репетиции, дирижера и балетмейстера, получающих каждый жалованья в месяц больше, чем десять рабочих в год, видя громоздкие декорации, костюмы и бутафорию, он думает о том, что огромные деньги, необходимые для «производства искусства», собираются с народа («у которого продают для этого корову», — прибавляет Толстой), народ же благами, приносимыми искусством, не пользуется.

То, что пишется в трактате об опере, об искусстве, — своего рода ключ, который помогает отомкнуть дверь, проникнуть и в суть суждений Толстого о медицине. Только сначала нужно, как мы уже усвоили, держа в руке этот ключ, продвинуться «по радиусу к центру» толстовского миропонимания, к тем строкам «Исповеди», где он пишет, как почуял, «что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь». И далее — к знаменитому, в той же «Исповеди», признанию: «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство — все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом».

Толстой смотрит на медицину глазами трудящегося народа, и такой взгляд убеждает его, что главное бедствие, от которого происходят, и распространяются, и не излечиваются болезни, — в самом общественном устройстве — в бедности народа и приспособлении медицины к потребностям и возможностям богатых. Чтобы лечить больного, будучи убежденным, что принесешь ему пользу, врач нуждается в инструментах, лекарствах, средствах гигиены, обеспечении больного хорошей квартирой, питанием — всё это стоит денег, которых у трудящегося нет, но есть у того, кто живет за счет трудящегося. Вот и получается, что для того, чтобы вылечить одного имущего больного, врачу нужно заморить сотню тех, которые понесут эти расходы. Ни на чем так не очевидно, как на медицине, ложное устройство нашего общества.

И, конечно, первые упреки обращены к себе, и постоянная боль совести не искупает для него самого его непоследовательности, уступок близким, привычному образу жизни. Осудительное «а сам-то!», не только со стороны слышимое, но несмолкаемо звучащее в душе, под впечатлениями жизни бередит старые раны и наносит новые.

Отмечает в дневнике: заболел девятилетний сын, Миша, Софья Андреевна посылает за одним врачом, потом за другим. Если верить в медицину, верить, что «доктор 10-рублевый» спасает, то можно оправдать бедняка, который за десять рублей решится на убийство, чтобы спасти своего ребенка,

Когда столь ценимый им Захарьин советует прислать для больного Льва Львовича из деревни в Москву корову, Толстой возмущается: «Причина несчастного положения Льва Львовича — богатство. Пришла фантазия выписать корову — едет корова; еще придумает доктор какой-нибудь вздор — сейчас исполняется».

В начале 1900 года Татьяне Львовне, дочери, в клинике Московского университета делают операцию в связи с воспалением лобных пазух, фронтитом. Толстому, ожидающему исхода, предлагают войти в операционную. Он видит (его описание): «лежит труп желтобледный, бездыханный, ноги выше головы, и в закинутой голове дыра в черепе... кровавая и глубокая пальца в три, и толпа белых смотрит, а один ковыряет» («белые» — «куча врачей в белых халатах с зеркалами на лбу»). По воспоминаниям, Толстой побледнел и зашатался; его подхватили под руку. Но вечером того же дня, рассказывая в письме про операцию, про свое беспокойство и страх, про любимую Таню и ее состояние, прибавляет: «И главное: лечить отдельно каждый себя за 50, 500, 5000 не должен и не может. Не должен потому, что другие мрут без помощи, и помогать нужно всем, а не каждый только себе и своим...»

Сколько боли в душе должно накопиться, как совесть должна быть уязвлена, чтобы вырвалось горестное признание: «Я не могу радоваться внукам. Я знаю, что из них непременно вырастут дармоеды». А ведь вырвалось!..

Он присматривается к медицине и с той, и с этой стороны, всюду находит причины для критики, опровержения. Но главное все-таки здесь, в этом «пока медицина служит лишь богатым классам, то черт с ней», как крепко припечатал однажды в пылу беседы. И объяснил, открывая всю силу своего страдания: «Это какой-то возмутительный, безнравственный порядок, при котором богатая купчиха, имеющая возможность выписать Шарко <*известный французский невропатолог*> из Парижа, вылечивается, а жена дворника, страдающая такой же болезнью, даже в меньшей степени, умирает, так как никто к ней не приедет на помощь. Если существует такого рода справедливость, то из-за этого можно бы повеситься».

«Индейская легенда»

В 1903 году Толстой пишет легенду «Труд, смерть и болезнь», которая, якобы «распространена среди индейцев Южной Америки».

Легенда рассказывает, что Бог, желая связать созданных им людей, придумал для них труд. Он полагал, что хорошо трудиться они смогут лишь сообща. Но вскоре убедился, что затея не удалась. Одни заставили других работать на себя, отнимали то, что производили эти другие. Тогда Бог придумал для людей смерть: не будут же люди, зная, что жизнь их всякую минуту может прекратиться, жить врозь, в ссорах, омрачать друг другу отпущенный им срок. Но люди более сильные, угрожая смертью, покорили более слабых, и на земле стало еще больше ненависти и страха. Тогда Бог наслал на людей всякого рода болезни.

«Бог думал, что когда все люди будут подвержены болезням, то они поймут, что здоровым надо жалеть больных и помогать им с тем, чтобы, когда и они будут больны, здоровые помогали бы им». Но: «Те самые болезни, которые, по мысли Бога, должны были соединить людей, еще более разъединили их. Люди — те, которые силою заставляли других на себя работать, заставляли их силою ходить за собою во время болезней и потому сами не заботились о больных. Те же, которых силою заставляли работать на других и ходить за больными, были так измучены работой, что им некогда было ходить за своими больными, и они оставляли их без помощи...

Тогда Бог сказал себе: если и этим средством нельзя довести людей до того, чтобы они понимали, в чем их счастие, то пускай они сами доходят своими мучениями. И Бог оставил людей одних».

Только в самое последнее время, — заканчивает легенду Толстой, — и то лишь некоторые люди стали понимать, «что труд не должен быть пугалом для одних и принудительной каторгой для других, а должен быть общим радостным делом, соединяющим людей», что перед лицом неизбежно угрожающей смерти разумное дело всякого человека «в согласии и любви провести предназначенные каждому года, месяцы, часы или минуты», стали понимать, «что болезни не только не должны быть причиной разделения, а, напротив, должны быть причиной любовного общения людей между собою».

Бескровный ребеночек и мальчик Тараска

В предисловии к статье английского публициста Эдуарда Карпентера «Современная наука» Толстой пишет: невозможно говорить о благотворности медицинской науки, когда ее усилиями вылечивается от дифтерита «одно дитя из тысячи тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах». Эти цифры, однажды им узнанные, — в «простых» семьях умирает, не дожив до года, 50% детей, в воспитательных домах 80% — жгут его, не оставляют в покое.

В «Воскресении» князь Нехлюдов, приехавший в деревню, встречает худую женщину с исчахшим, но все улыбающимся, от болезни бледным ребеночком в скуфеечке из лоскутиков. Этот бескровный ребеночек, лишь дважды возникающий среди сложных перипетий романа, тотчас схватывается нашей памятью, навсегда остается в ней зримым образом с первых младенческих лет обреченного на вымирание народа.

«Ребенок этот не переставая странно улыбался всем своим старческим личиком и все шевелил напряженно искривленными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания...

Нехлюдов обратился к Анисье:

— Как ты живешь? — спросил он. — Чем кормишься?

— Как живу? Побираюсь, — сказала Анисья и заплакала.

Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки...»

В деревне Нехлюдов узнает и о судьбе ребенка, рожденного от него Катюшей. Какая-то женщина из недальней местности за некоторую мзду собирала по округе незаконнорожденных детей и отвозила в Москву, в воспитательный дом. Пока соберет «на отправку» троих или четверых, имевшихся прикармливала сама.

« — ...Так и Катерининого ребенка повезла, — рассказывает Нехлюдову деревенская старуха. — Да, никак, две недели у себя держала. Он и зачиврел <*зачах*> у ней еще дома...

— Отчего же он ослабел? Верно, дурно кормили?

— Какой уж корм! Только пример один. Известное дело, не свое детище. Абы довезть живым. Сказывала, довезла только до Москвы, так в ту же пору и сгас. Она и свидетельство привезла, — все как должно».

«Воскресение» уже обдумывается, когда Толстой узнает о «деле Скублинской», акушерки, принимавшей для выкармливания и дальнейшего устройства незаконнорожденных детей своих пациенток и замаривавшей их голодом. Он начинает писать статью, не о преступнице-акушерке — «обвинительный акт» (его слово) всему общественному устройству, при котором возможны проституция, скублинские, обездоленные дети, воспитательные дома, «где убивают детей в таком количестве, до которого не достигнет деятельность тысяч Скублинских в этом направлении».

Уже в позднюю свою пору, в 1905 году, Лев Николаевич пишет рассказ «Ягоды». На небольшом пространстве рассказа соседствуют два мира — богатой барской дачи и крестьянской деревни. И в том, и в другом мире обитают дети. В жизни барских и крестьянских детей всё — противоположно. И между собой они не общаются. Единственное, что связывает их, — ягоды. Рано утром деревенские девочки и мальчики собирают в лесу вкусную, душистую землянику, а потом продают за двугривенный барским детям.

В «Ягодах» нет бескровного ребеночка со старческим личиком, — здесь мы знакомимся с шустрым, крепким и работящим Тараской: всю ночь был с лошадьми в ночном, но, вернулся домой, и не лег спать, разгулялся, отправился с девчонками по ягоду, а после и вовсе некогда было разлеживаться — пропахивал с отцом картофель.

Крестьянские девочки, пришедшие с кружкой ягод к великолепной даче, с башней, верандой, балкончиками, галереей, любуются на висячий зеркальный шар, «в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады. И этот шар и многое другое было для них не удивительно, потому что они ожидали всего самого чудесного от таинственного и непонятного для них мира людей-господ». Им, конечно, невдомек то, что очевидно для писателя, что он рассказом своим открывает и нам: чудесный мир — не отражение в дурацком зеркальном шаре, чудесный мир — лес, откуда девочки пришли в усадьбу, пронизанная утренним солнцем молодая ореховая и кленовая поросль, роса на сочной траве, полянка, сплошь усыпанная красными и розовато-белыми ягодами. Чудесный мир — это ездить в ночное, вставать на

рассвете, завтракать ломтем ржаного хлеба и кружкой молока, помогать отцу на пахоте, а не томиться от безделья и обжорства под стеклянным шаром, заменяющим солнце.

В «Ягодах» Толстой не идеализирует крестьянскую жизнь, крестьянских детей — прославляет.

В одном из писем в Москву к жене он рассказывает, как хорошо и весело провел время с крестьянскими детьми. Софью Андреевну письмо больно задело. «Жаль, что своих детей ты мало полюбил; если б они были *крестьянкины* дети, тогда было бы другое», — отвечает она ему. И много позже в автобиографии вспоминает: «Из Ясной Поляны Лев Николаевич мне пишет о своем общении с крестьянскими детьми, какие у него с ними разговоры и рассказыванье сказок. Я всегда ревновала Льва Николаевича к народу, к его любви к детям крестьянским большей, чем к своим, барским».

Конечно же, Толстой ни на минуту не забывает бескровного ребеночка, половину вымирающих по России детей, голод и нищету, дифтерию, скарлатину, тиф, опустошающие избы деревень, той же Ясной Поляны (не забудешь!), об этом он не устает с болью рассказывать и в художественных своих произведениях, и в статьях.

Для него нет сомнения, что жизнь крестьянина со всеми ее тяготами не только для общества полезнее, но и несопоставимо здоровее жизни господской. Более того, он убежден: пока медицина не повернется к народу, не принесет ему найденные ею средства борьбы с болезнями, до тех пор лишь постоянный труд удерживает от гибели русское сельское население. «Они и так, при всем напряжении своей работы, понемногу умирают раньше времени, женщины делаются старухами в сорок лет, 50% детей умирает, и все вырождаются, делаются малыми ростом и уродливыми. Но стоит им ослабить напряженность этой работы — они станут, недоедая и без крова и одежды, умирать еще раньше времени, детей будет уже умирать не 50, а 70 на 100, и все еще станут мельче и безобразнее».

Когда в эпилоге «Войны и мира» Толстой пишет про Наташу Ростову, теперь уже графиню Безухову, что она с радостным лицом выходит из детской, чтобы показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, он вроде бы посмеивается, но заведомо любуется ею. И когда сообщает Фету о выходе в свет первой части книги (тогда она еще именуется «1805 год») и семейном благополучии, в котором она создавалась, что прикован цепями из детского говна к Ясной Поляне, пятно на пеленке не просто остро схваченная подробность — образ.

В «Ягодах» всё по-другому. Барчонок Гога, объевшийся земляники, «нехорошо сходил», и этому пустячному обстоятельству в доме придается непомерно большое значение. К «больному» среди ночи

призван доктор. Толстой презрительно и насмешливо рисует «неаппетитную» сценку. Когда господин, владелец дачи, по тревоге явился к жене, «она в пестром шелковом халате, который ей очень нравился, но о котором она теперь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда свечкой.

Доктор с внимательным видом, в пенсне, смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое.

— Да, — сказал он значительно...»

В пору создания «Войны и мира» идеалы и устремления Толстого еще не оказываются в решающем, роковом противостоянии его «мысли семейной». «Ягоды» пишутся, когда уже произнесен приговор дармоедам-внукам.

Живые и умирающие

В одном из очерков, объединенных названием «Три дня в деревне», Толстой рассказывает, как с врачом объезжает больных крестьян.

> Приезжаем, входим вместе в избушку. Небольшая, но чистая горница, в середине люлька, и женщина усиленно качает ее. За столом сидит лет восьми девочка и с удивлением и испугом смотрит на нас.
>
> — Где он?— спрашивает врач про больного.
>
> — На печи, — говорит женщина, не переставая качать люльку с ребенком.
>
> Врач всходит на хоры и, облокотившись на печку, нагибается над больным и что-то делает там...
>
> Я всхожу тоже на хоры, вглядываюсь в темноту и только понемногу начинаю различать волосатую голову человека, лежащего на печи.
>
> Тяжелый, дурной запах стоит вокруг больного. Больной лежит навзничь. Врач держит его за пульс левой руки.
>
> — Что он, очень плох? — спрашиваю я.
>
> Врач не отвечает мне и оборачивается к хозяйке.
>
> — Запали лампу, — говорит он...
>
> Он берет лампу и продолжает свои исследования над больным...
>
> Я... опять спрашиваю, что больной
>
> Врач, все еще занятый больным, тихим голосом говорит мне одно слово.
>
> Я не расслышал, что он сказал, и переспрашиваю.
>
> — Агония, — повторяет врач сказанное слово и молча слезает с хор и ставит лампу на стол.

Ребенок не переставая кричит и жалостным, и озлобленным голосом.

— Что ж, аль помер? — говорит баба, точно поняв значение слова, сказанного врачом.

— Нет еще, да не миновать, — говорит врач.

— Что ж, за попом значит? — недовольно говорит баба, все сильнее и сильнее качая раскричавшегося ребенка.

— Добро бы сам дома был, а то теперь кого найдешь, — гляди все за дровами уехали.

— Больше тут мне делать нечего, — говорит врач, и мы выходим...

Едем домой и дорогой молчим. Думаю, что оба испытываем одинаковое чувство.

— Что у него было? — спрашиваю я.

— Воспаление легких. Я не ждал такого скорого конца. Организм могучий, но зато и условия губительны...

И опять замолкаем и едем молча довольно долго.

— Я не заметил на печи ни постели, ни подушки, — говорю я.

— Ничего, — говорит врач.

И, очевидно, понимая, о чем я думаю, говорит:

— Да, вчера я был в Крутом у родильницы. Надо было для исследования положить женщину так, чтобы она лежала вытянувшись. В избе не было такого места...

Молча доезжаем до дома. У крыльца стоит великолепная пара коней цугом в ковровых санях. Кучер-красавец, в тулупе и мохнатой шапке. Это сын приехал из своего имения.

Вот мы сидим за обеденным столом, накрытым на десять приборов. Один прибор пустой. Это место внучки. Она нынче не совсем здорова и обедает у себя с няней. Для нее приготовлен особенно гигиенический обед: бульон и саго.

За большим обедом из четырех блюд, с двумя сортами вин и двумя служащими лакеями, и стоящими на столе цветами, идут разговоры.

— Откуда эти чудесные розаны? — спрашивает сын. Жена рассказывает, что цветы эти присланы из Петербурга какой-то дамой, не открывающей своего имени.

— Такие розаны по полтора рубля за штуку, — говорит сын. И он рассказывает, что на каком-то концерте или представлении закидали всю сцену такими цветами. Разговор переходит на музыку и на большого знатока и покровителя ее.

— А что? Как его здоровье?

— Да все нехорошо. Опять едет в Италию. И всякий раз — проведет там зиму и удивительно поправляется.

— Переезд тяжел и скучен.

— Нет, отчего же, с экспрессом всего тридцать девять часов.

— Все-таки скука.
— Погоди, скоро летать будем.

Очерк называется «Живущие и умирающие».

Неужели это так надо?

Размышляя о медицине, Толстой с особенной ясностью постигает неправильность общественного устройства, при котором все поставлено с ног на голову: «Вскакивает на теле чирей вследствие порчи всей крови организма, а мы бьем по больному месту и думаем этим исцелить себя от болезни». В записной книжке помечает: «Лечим симптомы болезни, и это главное препятствие лечению самой болезни».

Богатый человек объедается, пьет, курит, развратничает, не занят физическим трудом, превращает ночь в день, а день в ночь, — когда же, расстроив свое здоровье, он является за помощью к врачу, его врачебные визиты, проглоченные им порошки, микстуры, пребывание его на водах, зимние месяцы в Италии оплачивает мужик, всю жизнь пахавший землю, который, заболев, без постели и подушки умирает на печи.

В статье-воззвании «Неужели это так надо?» Толстой пишет: «Для одних людей (богатых), когда они еще только собираются родиться, призывают акушерку, доктора, иногда двух для одной родильницы; приготовляют приданное с сотней распашоночек, пеленок с шелковыми ленточками, приготовляют на пружинах качающиеся тележки; другие же, огромное большинство, рожают детей где и как попало, без помощи, завертывают в тряпки, кладут в лубочные люльки на солому и радуются, когда они умирают...

Одни, когда заболевают, то, не говоря о всех возможных водах, всяком уходе и всякой чистоте и лекарствах, переезжают с места на место, отыскивая самый лучший целебный воздух; другие же ложатся в курной избе на печку и с непромытыми ранами, отсутствием всякой пищи, кроме сухого хлеба, и — воздуха, кроме зараженного десятью членами семейства, телятами и овцами, гниют заживо и преждевременно умирают».

Невозможно признать благотворность медицины, когда множество здоровых, нужных миру тружеников от непосильной работы, от нелеченных болезней умирают едва дожив до тридцати, а в это время все средства медицины употребляются для пользования какой-нибудь никому не нужной богатой старухи.

В «Воскресении» действует «лежачая дама», как насмешливо обозначает ее Толстой, — княгиня Корчагина: «Она восьмой год при гостях лежала, в кружевах и лентах, среди бархата, позолоты, слоно-

вой кости, бронзы, лака и цветов и никуда не ездила и принимала, как она говорила, только «своих друзей». Оберегая увядающие черты, княгиня проводит день в своих покоях, отгораживаясь от солнца тяжелыми гардинами, обед, «очень утонченный и очень питательный» съедает всегда одна, «чтобы никто не видал ее в этом непоэтическом отправлении», при ней постоянно находится доктор (про ее отношения с которым «говорили дурное»).

Богатые классы властью и деньгами присвоили медицину, вынудили служить им, данными ей средствами укреплять их власть, приумножать богатство. С ужасом пишет и говорит Толстой о врачах, участвующих в рекрутских наборах, отправляющих арестантские этапы, вместе с палачом приводящих в исполнение смертный приговор.

В статье «Не могу молчать» — описание казни:

«И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности...

Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы... Застывшие тела снимают и зарывают.

Ведь это ужасно!»

Между тем весь этот ужас для своих братьев людей придуман и устроен людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными.

«Для того чтобы врачебное искусство было не вредно, а полезно, оно должно выучиться служить массам», — утверждает Толстой. Даже создание больниц и клиник, на которые тратятся большие деньги, не является для него примером такого служения. Народ живет и трудится в губительных для здоровья условиях, при которых неизбежны чахотка, сифилис, детские болезни, тиф. Не лучше ли те деньги и ту энергию, которые употребляются на возведение и содержание больниц и клиник, прежде всего употребить на улучшение жизненных условий народа?

«Область медицины лежит еще непочатая, — пишет Толстой. — Все вопросы о том, как лучше разделить время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде, когда, как лучше одеваться, обуваться, противостоять сырости, холоду, как лучше мыться, кормить детей, пеленать и т.п., именно в тех условиях, в которых находится рабочий народ, — все эти вопросы еще не поставлены».

«Посредник»

«Мир рухнет, если я остановлюсь!» — он и не останавливается. Медицинской наукой еще не поставлены вопросы, от решения которых зависит народное здоровье; наука, обслуживая богатые классы, еще не начала разговор с народом, — он, Толстой, решает взять этот разговор на себя.

В марте 1887 года в кабинете его московского дома сходятся врачи — Н.Ф. Михайлов, И.В. Попов и А.Г. Архангельская: речь идет о пропаганде медицинских знаний в народе.

За два с половиной года до этой встречи В.Г. Чертков, друг и единомышленник Толстого, приступил к воплощению замысла об издании дешевых книг для народного чтения. Он нашел поддержку у книгоиздателя и книготорговца Сытина. Так возникает издательство «Посредник», которому предстоит долгая полувековая жизнь. Среди первых нескольких книг «Посредника», увидевших свет в апреле 1885 года, — «Кавказский пленник» Толстого, рассказы, проповедующие его миросозерцание — «Чем люди живы» и «Бог правду видит, да не скоро скажет». К работе в издательстве Толстой привлекает многих писателей, ученых, художников, иллюстрирующих выпускаемые книжки. Сам Лев Николаевич энергично действует как редактор: отбирает подходящие произведения, исправляет их с тем, чтобы язык и слог были понятны простым людям, переделывает для народного чтения сочинения известных авторов. Издатель Сытин вспоминает: «Л.Н.Толстой принимал самое близкое участие в печатании, редакции и продаже книг, много вносил ценных указаний и поправок». Самому же Льву Николаевичу он пишет: «Ваши новые книжки очень всем нравятся и раскупаются большими количествами... Кто купит одну или две книжки, после непременно придет, требуя еще таких, и купит все сколько есть... Очень много покупательниц — женщин с детьми».

Издательство «Посредник», по мысли Толстого, становится центром медицинского просвещения народа. Его встреча с врачами в марте 1887-го — первый шаг на этом пути. Рассказ о встрече находим у самого же Толстого:

«Еще 3-го дня были у меня доктора: Михайлов, Попов и Архангельская. Попов читал программу статьи о заразных болезнях, очень хорошо задумано. Боюсь, что не удастся, как задумано, или не напишет и напишет не скоро. Но дорого желание хорошего умного человека. Архангельская читала статью женщины врача Трутовской о сифилисе. Прекрасная статья. Автор взяла еще исправить по нашим замечаниям и принесет через неделю. Это прекрасно и в календарь, и от-

дельной книжкой. Еще Архангельская принесла начало своей статьи о несчастных случаях. Хорошо, но не так; она оставила у меня, и я, что умел, поправил в изложении. Очень и это радостно».

Кто же были первые сотоварищи, в широком смысле слова — соавторы Толстого по медицинскому просвещению? Николай Федорович Михайлов — московский врач и педагог; вскоре в «Посреднике» появится его книжка «Наставления матерям об уходе за грудными детьми, примененные в крестьянской обстановке». Иван Васильевич Попов — заведующий санитарным отделом Московского губернского земства. Александра Гавриловна Архангельская — хирург и окулист, основательница большой подмосковной больницы.

Статья доктора из Полтавы Веры Константиновны Трутовской, озаглавленная «Дурная болезнь, или сифилис. Описание ее и советы о том, как уберегаться и лечиться от нее», станет одной из первых медицинских книжек «Посредника». Следом выйдет ее же «Первая помощь в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях людей».

Не забудем, что книжки «Посредника» редактирует Толстой, создатель «Азбуки», много и серьезно думавший, как, каким языком нужно писать для народа. Взявшись исправлять одну из медицинских книжек, он находит в ней «общий недостаток всех научных изданий, обращенных к массам: или ничего не говорить (вода — мокрая) или не можем говорить, потому что на разных языках говорим, разной жизнью живем...»

Здесь нет ни возможности, ни необходимости рассматривать выпущенные под присмотром Толстого книжки для медицинского просвещения народа. Назовем лишь некоторые издания «Посредника», чтобы показать направление и энергию предпринятого труда. «Общедоступный лечебник». «Лечение болезней светом, воздухом, теплом, холодом, движениями. Общедоступные беседы». «Как надо жить, чтобы быть здоровым. Беседы о воздухе, жилище, одежде, питье, работе, отдыхе». «О беременности, родах и уходе за родильницей и новорожденными». «Берегите здоровье детей». «Дифтерит, его распознавание, предупреждение и лечение». «Скарлатина». «Молодым людям и отцам для сыновей. Беседы о половой жизни человека» и «Молодым девушкам и матерям для дочерей. (Краткие сведения о женской физиологии и гигиене)». И т.д.

Для чего люди одурманиваются?

Многие книжки «Посредника» выступают против курения и пьянства: «Перестанем курить! Что такое табак и какой вред от него бывает», «О табаке и вреде курения», «О вреде курения для здоро-

вья». Толстой — главный зачинщик борьбы с тем, что люди одурманивают себя. «Петрову *<сотруднику типографии>* я послал статью о вреде табака. Посмотрите ее: она годится в “Посредник”», — пишет он Черткову осенью 1887-го. Вскоре — ему же о себе: «Я 2-й день бросаю курить и случайно или от этого не могу связать двух мыслей». В феврале 1888-го он уже навсегда отказывается от курения.

«Просвещение распространяется не одними туманными и другими картинами, не одним устным и печатным словом, но заразительным примером всей жизни людей...» — пишет Толстой в одной из своих статей.

Пьянство народа сильно тревожит, удручает его. В дневнике, помечая, как идет пешком из Москвы к себе в Ясную: «Везде бедствие вино». И следом: «Читали «Винокура». Баба воронежская покупала книжку от мужа-пьяницы».

«Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» — изданная «Посредником» комедия Толстого. Вино, ломающее всю натуру мужика, истребляющее в ней все лучшее, предстает в ней адским изобретением. Но цензура неслучайно придирается к комедии и запрещает ее для народных театров. В стране, где ничего толком не делается против спаивания народа, последняя реплика пьесы, произносимая Старшим чертом, звучит многозначительно: «Теперь только бы вино пили, а они у нас в руках всегда будут!»

Продолжая дневниковые пометы на пути в Ясную, Лев Николаевич заносит: «Обедали в трактире Серюковки, где я очень уговаривал о пьянстве... Писарь при церкви ухарь, пил и читал и дал мне 5 копеек за книгу «Пора опомниться!»

В «Посреднике» среди прочих книг на эту тему («О пьянстве», «Грех и безумие пьянства», «Человек и вино» и др.) вышел перевод брошюры американского священника, бывшего профессора химии Л.П.Пакина «О вреде спиртных напитков». Лев Николаевич много потрудился над переводом, изменял и дополнял его в рукописи и корректурах. В итоге он пишет к ней заключение, названное «Пора опомниться!»

«Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит благосостояние семей, и, что всего ужаснее, губит душу людей и их потомство, и, несмотря на это, с каждым годом все больше распространяется употребление спиртных напитков и происходящее от него пьянство. Заразная болезнь захватывает все больше и больше людей: пьют уже женщины, девушки, дети! И взрослые не только не мешают этому отравлению, но, сами пьяные, поощряют их. И богатым, и бедным представляется, что веселым нельзя иначе быть, как пьяным или полупьяным, представляется, что при всяком важном

случае жизни: похоронах, свадьбе, крестинах, разлуке, свидании — самое лучшее средство показать свое горе или радость состоит в том, чтобы одурманиться и, лишившись человеческого образа, уподобиться животному. И что удивительнее всего, это то, что люди гибнут от пьянства и губят других, сами не зная, зачем они это делают».

Статья завершается горячим призывом:

«Если сцепились рука с рукой люди пьющие и торгующие вином и наступают на других людей и хотят споить весь мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы их и их детей не споили заблудшие люди. Пора опомниться!»

Толстой ищет выход, как разумным людям схватиться рука с рукой, проповедует общества трезвости. Он и сам создает такое, именует его — «Согласие против пьянства», сам же первый в «Согласие» записывается. За три года толстовское общество собирает в свои ряды более семисот членов, но, конечно же, это капля в розлитом по России море спиртного.

Когда Толстой печатает статью, остро озаглавленную «Праздник просвещения 12 января», — в ней о массовых возлияниях, которыми принято отмечать Татьянин день, университетский праздник (12 января, в день святой Татьяны основан Московский университет), он получает несколько грубых писем: студенты пьют за Толстого, «ты думаешь, что только ты один нашел истину» и т.п. Более того, появляются угрозы, что к дому Толстого направляется пьяная толпа; полиция просит Льва Николаевича не выходить на улицу, затворить ворота, возле дома поставлен городовой (Толстой не без иронии пишет в дневник: «Вечером полиция явилась меня защищать»).

Неразумные люди, пьющие и торгующие вином, оказываются сильнее разумных. И Толстой ищет, определяет главную причину такого странного, безрадостного положения. «Употребление этих веществ <*вина, табака, наркотиков*> очевидно вредно, производит всем известные и всеми признаваемые бедствия, от которых гибнет больше людей, чем от всех войн и заразных болезней вместе. И люди знают это; так что не может быть, чтоб это делалось так, *от скуки, для веселья,* оттого только, что все так делают», — пишет Толстой в статье «Для чего люди одурманиваются?» <*курсив Толстого*>.

«Никогда, мне кажется, люди не жили в таком очевидном противоречии между требованиями совести и поступками... Жизнь не приходится по совести, — совесть сгибается по жизни. Это делается в жизни отдельных лиц, это же делается и в жизни всего человечества, слагающегося из жизни отдельных лиц». Совесть же всегда показывает одним концом на добро, другим — на зло. «Не во вкусе, не в удоволь-

ствии, не в развлечении, не в весельи лежит причина всемерного распространения гашиша, опиума, вина, табаку, — выводит Толстой, — а только в потребности скрыть от себя указания совести».

Предполагая издать в «Посреднике» книжки против пьянства, Толстой просит лучших художников сделать для них иллюстрации. Его письмо к Репину открывает и заботу о выразительности изданий, и — не меньше — значение, которое он придает будущей работе: «Дорогой друг Илья Ефимович... Мне особенно живо напомнила вас голова безносой женщины на виньетке о сифилисе. Ужасное производит впечатление. И вот у меня к вам просьба, совет, предложение. У меня издаются уже книжки о пьянстве... И я все обдумываю книжечку об этом предмете. Вот мне и пришло в голову: чтобы вы нарисовали две вещи: одну картинку с виньетками, изображающую все формы и во всех состояниях пьянство, и другую маленькую на обертку книжки, которую я пишу, и третью общую для всех книжек нашего издания о пьянстве. Сюжеты и того, и другого, и третьего избирайте сами, но сделайте, чтобы это было так же страшно, сильно и прямо касалось предмета, как это вышло в картинке о сифилисе.

Мне последнее время нездоровится, и оттого долго не могу кончить о пьянстве статью, а хочется под корень взять. Вот огромной важности предмет. Поощрите меня...»

Глава 3
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Притяжение имени

Имя «Лев Толстой» и понятие «вегетарианство» давно неразрывно связаны. Всякое упоминание о вегетарианстве почти неотвратимо в качестве примера тянет за собой ссылку на Толстого. «Ни мяса, ни рыбы не кушал, ходил по аллеям босой», — строки, хоть не народной, но изначально потерявшей авторство песенки, сам факт появления которой не случаен.

Тому есть много объяснений. Голос Толстого звучал для миллионов людей стократ громче и убедительнее голосов других пропагандистов вегетарианской теории, которые сознавали неотразимость для миллионов людей авторитета великого писателя, постоянно указывали и кивали на Толстого как на главного своего единомышленника, а то и на учителя. Привлекательность проповеди Толстого состояла в том, что вегетарианство в ней наполнялось, наряду с гигиеническим, непременно еще и нравственным содержанием, определением нравственных путей справедливого переустройства мира.

Это нравственное начало — постоянное стремление усовершенствовать себя как частицу человечества, как призыв к человечеству усовершенствоваться — главное в движении самого Толстого к вегетарианству. Вегетарианство входит в его жизнь естественной частью общих нравственных поисков, нравственной системы, с годами все более им развиваемой и укореняющейся в нем.

«Не надо жить подробно»

Сергей Львович Толстой утверждает, что отец стал «убежденным вегетарианцем» с 1884 года, но тут же поправляет себя: «особенно вегетарианцем» Лев Николаевич сделался осенью 1885-го.

Но нужно отделить убежденность Толстого в необходимости вегетарианства от его повседневной жизни. Преследовавшие его всю жизнь заболевания желудка и печени, навязчивые настояния Софьи Андреевны, убежденной в том, что вегетарианство наносит непоправимый вред здоровью, требования врачей соблюдать назначенную

ими диету — принуждают его подчас возвращаться к общему столу. «Был бульон», «ем мясо» — обычно огорченно признается он в дневнике и письмах: «Опять закусил удила, не ест мяса», — возмущается в своем дневнике и письмах Софья Андреевна. К тому же понятие «вегетарианство» Толстой в разную пору очерчивает по-разному: от неупотребления только мясной пищи до отказа даже от молока и яиц.

И еще. Насколько дорого для Толстого убеждение, настолько нестерпима для него мертвая буква, догма. Его последний секретарь В.Ф.Булгаков подтверждает: «Лев Николаевич вообще не был педантом в применении своих взглядов в мелочах обыденной жизни... Помню, меня, как вегетарианца, несколько шокировало, когда иной раз за обедом я замечал (или, вернее, старался не замечать), что Лев Николаевич макал кусочек хлеба в соус от сардин и ел».

Станиславский рассказывает, как в молодости оказался однажды за общим обеденным столом с Толстым:

«В это время подавали жаркое.

— Лев Николаевич, не хотите ли кусочек мяса? — дразнили взрослые и дети вегетарианца Толстого.

—Хочу! — пошутил Лев Николаевич.

Тут со всех концов стола к нему полетели огромные куски говядины. При общем хохоте знаменитый вегетарианец отрезал крошечный кусочек мяса, стал жевать и, с трудом проглотив его, отложил вилку и ножик:

— Не могу есть труп! Это отрава! Бросьте мясо, и только тогда вы поймете, что такое хорошее расположение духа, свежая голова!»

Веселый тон мемуарной записи передает настроение, царившее за столом, которое охотно поддерживал Толстой. Ему не свойственен угрюмый фанатизм, и он отчаивается, если замечает его в тех, кто следует за ним. Когда кто-то из единомышленников упрекнул Толстого за то, что он, безотчетно хлопнув себя ладонью по лбу, убил комара («живое существо»!), он задумался, потом ответил: «Не надо жить подробно». В вегетарианстве для него важны не подробности, и само вегетарианство для него не подробность жизни. «Вегетарианство, если только оно не имеет целью здоровье, всегда связывается с высоко нравственными взглядами на жизнь», — вот где суть.

«Обедаю я дома»

«Ко всем грехам приводит человека потворство похотям тела, и потому для борьбы с грехами человеку нужны усилия воздержания от поступков, слов и мыслей, потворствующих похотям тела, т.е. усилия отречения от тела», — записывает Булгаков одно из основных положений в книге очерков мировоззрения Толстого.

Среди «грехов излишества» самый распространенный, самый простой и оттого зачастую даже и неприметный — грех объедения. Между тем именно объедение обычно дает начало лености, половой похоти, иным плотским устремлениям, прямо или опосредованно ведет к подчинению души своему телу. Зато и самый простой, самый распространенный путь к воздержанию — через воздержание в еде. Путь этот также наименее приметен при желании по нему следовать, так как опирается на традицию поста, знакомую едва ли не всем религиям и принятым у разных народов обычаям. «По всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом», — пишет Толстой.

То, что впоследствии станет частью учения, системой питания, составившей часть общей системы жизни, начинается в молодости с побуждений души и совести, подсказывавших — в итоге раздумий и в русле традиций — воздержание как одно из средств улучшения себя. В уже известных нам «правилах», намечавшихся для себя в юности и молодости, провозглашается воздержанность, умеренность в пище и питье, простота стола.

В холостые годы простота привычек, которых держится Толстой в быту, особенно деревенском, распространяется и на еду. Совсем молодым, приехав в Москву с намерением «попасть в высокий свет», он сообщает тетеньке в Ясную Поляну: «Обедаю я дома, ем щи и кашу и вполне доволен; жду только варенье и наливку и тогда будет все по моим деревенским привычкам».

Пристрастие к простой пище сохранится у Толстого на всю жизнь и особенно усилится в последние ее десятилетия, когда вызывается не только побуждениями ума и чувства, но и устремлением к идеалу. Из Ясной Поляны докладывает жене в Москву: «...Поел я капусты на ночь. И такой капусты, как у Марьи Афанасьевны <*няня в доме Толстых*> нет нигде на свете... И нынче с удовольствием позанялся. Хотя мало, но толково, так что испытываю давно неиспытанное чувство, что заработал хлеб. А хлеб отличный — щи зеленые, солонина и опять капуста с квасом». Некоторое время спустя пишет жене уже из Москвы в Ясную: «Обедали мы вчера дома... Щи, каша, и говядина из щей, и арбуз». И следом: «Обедали мы дома. Василий готовит нам щи» <*Василий — дворник при московском доме*>.

Не станем преднамеренно излишне упрощать или опрощать описание стола Толстых. Сохранилась, к примеру, тетрадь Софьи Андреевны с кулинарными рецептами, заполненная, правда, в основном до середины 1870-х годов, то есть до того, как Толстой начал усиленно разрабатывать свое учение и придерживаться его в жизни. В тетради немало рецептов, требующих кулинарного умения, и даже деликатесных блюд, но письма и дневники хозяев Ясной Поляны,

свидетельства мемуаристов, уцелевшие также в архиве листы меню обедов и завтраков, ежедневно составляемых Софьей Андреевной, подтверждают, что обычно Толстые едят не роскошествуя, часто — совсем просто. Софья Андреевна помечает в дневнике: «Велели подать себе редьки тертой и квасу и ели». Или — семейный вечер вдвоем: «Вечером играли в 4 руки трио Моцарта; Левочка ужинал... Я пила чай, ела кислую капусту».

Едва ли не главная пища детей — гречневая каша с молоком. «А когда няня на кухне не находит гречневой каши, то она крошит в молоко ржаной хлеб и кормит нас этой незатейливой похлебкой», — вспоминает Татьяна Львовна.

Конечно, к приезду званых гостей (иной раз и для себя) заказывали жаркое из рябчика или тетерева, готовили дичь (тем более, что долгое время одно из главных увлечений Толстого — охота); в необходимых случаях, как полагалось, появлялись на столе фрукты и шампанское; на Рождество готовили индейку и подавали пылающий голубым огнем ромовый пудинг (кушанье, появившееся в доме вместе с гувернанткой-англичанкой), но — опять же не будем ни упрощать, ни опрощать — праздничный стол, когда собирались свои, домашние, привычно незатейлив. Софья Андреевна перечисляет именинные блюда: пирог, гусь, чай с кренделем.

Опыт самой строгой диеты

Осенью 1865-го он пишет доктору А.Е. Берсу, отцу Софьи Андреевны: «Есть в Петербурге профессор химии Зинин, который утверждает, что 99/100 болезней нашего класса происходит от объедения. Я думаю, что это великая истина, которая никому не приходит в голову и никого не поражает только потому, что она слишком проста».

Он переживает как раз один из периодов ослабления творческой энергии, на которые отзывался обычно резким ухудшением душевного и телесного состояния: «Не могу работать — писать, всё мне скучно и все мне скучны, говорил я сам себе, лучше не жить». Открывшаяся истина подвигает совсем было отчаявшегося Толстого сделать над собой опыт самой строгой диеты».

И что же? В дневнике он следит за собой. «Был нездоров — желчь... Все писал, но неохотно и безнадежно. Нынче первый день здоров. Ел очень мало. Неужели это только от объедения...» Следом: «Воздержание и гигиена полные — гимнастика... Писал»; «Та же диета... Писал по-новому — так, чтобы не переделывать... Ужинал, кажется, напрасно».

Наконец: «Шесть дней я стараюсь есть как можно меньше, так, что чувствую голод, не пью ничего, кроме воды с рюмкой вина, и

шесть дней я совсем другой человек. Я свеж, весел, голова ясна, я работаю — пишу по 5 и 6 часов в день, сплю прекрасно, и все прекрасно».

«Опыт самой строгой диеты» окажется увлечением, забудется. Потому и забудется, что — *диета,* что на первом месте в данном опыте — забота о здоровье, пусть даже творческом, о способности писать так, как ему хочется, но *великая истина,* что для телесного и духовного здоровья надо освобождаться от «болезней нашего класса», первопричина которых — объедение, останется с Толстым до конца жизни.

Чем нехороша овсянка

Забота о воздержании, диетические «опыты» не мешают Толстому за обеденным столом забывать о намеченных принципах и правилах. Физический труд, часто тяжелый, с которым он до старости не расстанется, многие часы, проводимые зимой и летом на свежем воздухе, дальние прогулки, спортивные занятия — всё способствует хорошему аппетиту.

Но признаем и неумеренность Льва Николаевича, когда перед ним на столе оказывается любимое блюдо. Беспрестанно обдумывая и назначая себе задачи и правила, он при всем том не умеет, не любит «жить подробно». И хотя на вопрос, сколько блинов съел, отвечает прибауткой: «Пятый не съел, а четвертый не доел», — частенько доедает четвертый и съедает пятый. Доктор, приглашенный к Толстому, уже старику, называет причиной недомогания масленичные дни: «Он съедал по столько блинов, сколько хватило бы на двух здоровых людей».

Про овсянку, которую в старости охотно ест всякий день, Лев Николаевич говорит шутливо: «Овсянка тем нехороша, что ее никогда нельзя кончить»...

Размышляя о вегетарианстве отца, Сергей Львович выводит: «Моя мать считала, что вегетарианство вредно, в чем была неправа: отцу при его заболеваниях печени оно было несомненно полезно». Можно уверенно считать, например, что любовь Льва Николаевича к кашам, особенно к овсянке — результат бессознательных поисков приятной, щадящей еды при хроническом, часто обостряющемся заболевании.

Но для Толстого вегетарианство — всего менее средство сбережения здоровья. И грубые нарушения в питании, которые он подчас позволяет себе, заведомо зная, что такое дорого ему обойдется, — первое свидетельство тому. Речь не об отказе от вегетарианства, — нет, но, оставаясь вегетарианцем, он, подчас, ест лишнее, соединяет плохо сопрягаемые, тяжелые — простые! — кушанья и этим, конечно же, себе вредит.

Софья Андреевна с пристальным неодобрением помечает «застольные проступки» мужа: «С ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, слипшиеся оттого, что замерзли; потом четыре больших гречневых гренка с супом, и квас кислый, и хлеб черный». И т.п. Она-то знает цену таким нарушениям. Обострения болезни Льва Николаевича требуют долгих, скрупулезных диет, которые его вегетарианством еще более осложняются: «Доктора велят есть икру, рыбу, бульон, а он вегетарианец и этим губит себя». Он то и дело отказывается от молока, яиц, которые в ту пору (часто бездоказательно) составляли основы лечебного питания: «Ел он сегодня овсянку, рисовую кашу на миндальном пополам с простым молоком (обманом) и яйцо, которое после трех дней уговорил его съесть доктор».

Но споры Софьи Андреевны с мужем о еде носят медицинский, тем более кулинарный характер только внешне. Это опять же споры о мировоззрении. Для нее, как и для него, вегетарианство — в числе тех нравственных начал («диких фантазий», по ее определению), которых он желает держаться и которым она не в силах и не желает следовать. «Я все в твое воспоминание живу по-барски и ем мясо», — докладывает жене Лев Николаевич. Софья Андреевна в свою очередь сообщает приятельнице: «Теперь он и мясо ест и принял опять свой барский вид».

Она не устает — подчас справедливо — втолковывать мужу, что его новый образ жизни только осложняет лишними требованиями жизнь других. Наверно, ему неприятно в ежедневных меню, подаваемых Софьей Андреевной повару, читать отдельным абзацем: «Графу завтрак...», «Графу к обеду...»

Он пишет, приехав один в Ясную: «Решил обедать людской обед *<то есть — с прислугой>,* а сам не готовить. Привычки мои не очень хитрые, и то, чтобы удовлетворить им, надо... целый день хлопотать... Чтобы не хлопотать самому целый день и не заставлять других на себя хлопотать, одно средство, чтобы привычки были общие, чтобы все ели одинаково. А когда один и привычки отличаются от привычек окружающих, то стыдно, как мне всегда стыдно».

Цель образования

Зоркие наблюдатели подмечают любовь Толстого к хлебу, бережное к нему отношение, какое бывает у крестьян. Тут опять-таки побудительное нравственное начало: хлеб — главная пища народа. Питаться хлебом — в каком-то смысле тоже приобщаться к народной жизни.

Софья Андреевна упрекает его, оберегая, за пристрастие к грубому и тяжелому продукту: «ел один хлеб», «набивает желудок хлебом». Но его не переделаешь — в этой любви он стоек.

Толстой возмущается, что, излишествуя в пище, люди объявили «наказанием самым жестоким с детства» — посадить на хлеб и воду: «Человек может питаться одним хлебом и быть довольным, а может человек обедать в шесть блюд и быть недовольным своей судьбой».

И — забавный случай, сообщенный приятелем Толстого:

«...*Я* положил кусок булки на край стола и теперь собирался взять его снова, но раньше, чем я успел сделать это, Лев Николаевич, который вообще не мог видеть равнодушно хлеба и, бывало, уже кончив ужинать, все ломал калачи, протянул руку, взял этот кусочек и, по своей привычке оглядев его со всех сторон, положил в рот»...

В одной из начальных глав «Анны Карениной» князь Облонский, Стива, везет своего приятеля Левина, привыкшего к деревенской жизни, в лучший московский ресторан и угощает фленсбургскими устрицами, принтаньером — супом с кореньями, тюрбо под соусом, ростбифом, каплунами, пармезаном... А позже — в деревенских главах — Левин, косивший вместе с крестьянами, остается по их приглашению обедать в поле. Старый крестьянин предлагает барину отведать свое блюдо.

«Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.

— Ну-ка, барин, моей тюрьки, — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой.

Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать»...

Заказывание обеда в ресторане, официант с бездумным подобострастием произносящий чуждые русскому уху наименования блюд, сами блюда, противоестественные своей вычурностью, назначенные в той же мере пробуждать аппетит, как и утолять его, — все это написано Толстым с нескрываемой иронией.

Левин говорит:

« — Мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

— Ну, разумеется, — подхватил Степан Аркадьевич. — Но в этом-то и цель образования: изо всего сделать наслаждение».

Размышляя о принятом в обиходе толковании понятия «прогресс» («цель образования»), Толстой напишет о несметно изобретаемых предметах роскоши (среди них всяческие изысканные блюда), не просто удовлетворяющих все, даже только предугадываемые потребности «людей нашего класса», но бесконечно приумножающих потребности, готовые превратить быт этих людей в «наслаждение».

И с той же мерой осмысляет он политические учения, которые, выступая в защиту противоположных — неимущих — классов, выдвигают материальные цели впереди духовных, призывают, наращивая потребности телесные, догнать в этом отношении сегодняшних господ.

«В наше время большая часть людей думает, что благо жизни в служении телу. Это видно из того, что самое распространенное в наше время учение — это учение социалистов. По этому учению жизнь с малыми потребностями есть жизнь скотская, и увеличение потребностей — это первый признак образованного человека, признак сознания им своего человеческого достоинства. Люди нашего времени так верят этому ложному учению, что только глумятся над теми мудрецами, которые в уменьшении потребностей видели благо человека». Благо жизни не в том, чтобы старик-косец ел тюрбо вместо тюрьки. Оно — в единении людей, захваченных общим трудом. Оно в том, чтобы всем заработать равное право есть трудовой хлеб. «Он пообедал со стариком, — пишет Толстой о Левине, — и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытал к этому человеку».

Много едим

«Я всю свою жизнь провожу так: ем, говорю, ем, опять говорю и слушаю; ем, пишу или читаю, т.е. опять говорю и слушаю; ем, играю, ем, опять говорю и слушаю, ем и опять ложусь спать, и так каждый день, и другого ничего не могу и не умею делать», — пишет он о себе с обычной беспощадностью. Не в дневнике, не в письме — *в* большой статье, где он ищет пути справедливого переустройства мира.

Еда, образ еды постоянно возникает в мыслях Толстого как один из главных рубежей, разделяющих людей. Первое, что делает разбогатевший человек, — перестает есть из общей чашки. Чтобы сладко есть среди голодных, нужно спрятаться от них.

В комедии «Плоды просвещения» кухарка рассказывает о жизни господ деревенским мужикам, в поте труда добывающим хлеб, молоко, мясо, — это как бы взгляд из кухни, со стороны прислуги, и под таким взглядом просвещенное общество господ предстает скопищем безумцев:

«Да уж как здоровы жрать — беда! У них ведь нет того, чтобы сел, поел, перекрестился да встал, а бесперечь едят... Только, Господи благослови, глаза продерут, сейчас самовар, чай, кофе, щиколад. Только самовара два отопьют, уж третий ставь. А тут завтрак, а тут обед, а тут опять кофий. Только отвалятся, сейчас опять чай. А тут закуски пойдут: конфеты, жамки — и конца нет. В постели лежа — и то едят».

Постоянно встречаясь с ужасами городской и деревенской бедности, страдая от каждой такой встречи, Толстой рисует в воображении образ сервированного домашнего стола, и уже то, что стол этот не ведает недостатка в кушаньях, кажется Толстому отнимающим у него покой изобилием. «Я чуток к жизни, окружающей меня, и к своей жизни, и жизнь эта отвратительна». *«Я», «моя жизнь», «я ем»*... Местоимение первого лица — это корча, крик стыда («я стонал от стыда», — пишет он, тоже в статье). Это — вопль совести, потребность покаяния, в надежде, что услышат и поддержат другие — *«мы»*.

С годами он все строже судит всякое блюдо на семейном столе, показавшееся ему изысканным, неумеренным, лишним.

В.Ф. Булгаков вспоминает: «Лев Николаевич... очень жаловался, раздражая Софью Андреевну, на яснополянскую «роскошь»... Уговаривал он Софью Андреевну упростить и сократить и без того не Бог весть какой изобильный и роскошный вегетарианский стол».

Доктор Маковицкий заносит в свою ежедневную летопись:

«Л.Н. вышел к нашему завтраку... Похлебал супу и съел только пирожок.

Л.Н.: Надо не есть. И пирожок напрасно съел».

И тут же: «Много едим, четыре блюда. Должно быть довольно двух».

Пишет сыну Михаилу:

«Человеку дана радость пищи — вкуса, развивающегося от труда и воздержания. Корка черного хлеба съедается с большим наслаждением, если голоден, чем ананасы и трюфели, и человек устраивает себе жизнь так, что почти никогда не голоден, и пряной, жирной, искусственной пищей портит себе вкус и часто совсем лишается всякого удовольствия от еды и только страдает от пищеварения в больном желудке».

«Человек приспособлен к пище растительной»

Идею вегетарианства поддерживают в Толстом некоторые ученые, к трудам которых он испытывает особенное доверие. Среди них известный русский ботаник, профессор Андрей Николаевич Бекетов. Его большая статья «Питание человека в его настоящем и будущем» изучена Толстым, а затем напечатана отдельной книжкой в «Посреднике».

Рассматривая «с точки зрения будущности человечества» вопрос о том, какая пища всего более способствует правильному развитию и усовершенствованию человеческой природы, Бекетов, сам не будучи вегетарианцем, с цифрами и научными данными в руках, приходит к выводу, что «человек приспособлен к пище растител-

ной», более того, что человечество самой необходимостью исторического развития «влечется к растительной пище». Что же до выкладок ученых, твердящих о необходимости для человека именно мясной пищи, то, рассмотрев систему их доказательств, Бекетов утверждает, что основной их материал основан «на привычках европейской буржуазии»; между тем, пишет наш профессор, «нравственный идеал всего людского рода не может удовлетвориться мещанскою философией зажиточных классов Западной Европы» (суждение, для Толстого, конечно, очень значимое!).

Мясная пища, по мнению Бекетова, определяет образ жизни, не совместимый с нравственным прогрессом. Оправдывая убийство животных во имя «блага» развития человечества, мы также оправдываем и необходимость войн для «блага» мирового развития. «Мне кажется, — пишет Бекетов, — что эти две бойни находятся в несравненно более тесной связи, чем то думают обыкновенно; что мясническое и пушечное мясо представляют два явления, друг друга определяющие или, по крайней мере, друг друга поддерживающие».

Отступление. Злая забава

Охота — «злая забава», по определению Толстого, — долго не уходит из его жизни, остается одним из любимых, страстно увлекающих его занятий. Неудивительно, что охоте посвящены прекрасные страницы «Детства», «Войны и мира», «Анны Карениной». Толстовские герои ходят на волков, на зайцев, на птицу, они такие же страстные охотники, как автор, ходивший и на медведя и однажды едва не поплатившийся жизнью в схватке со зверем (событие описано в рассказе «Охота пуще неволи»).

«Ни прогулки, ни катанья, никакие занятия в саду, в поле среди природы не могут заменить охотнику удовольствия охоты...», — объясняет неодолимую страсть Толстой.

В небольшой статье, так и озаглавленной «Злая забава», Лев Николаевич, заставивший себя отказаться от ни с чем не сравнимого удовольствия, приводит разговор двух охотников, молодого, увлеченного, и бывшего, понявшего безнравственность злой забавы.

«Молодой охотник *(с уверенностью)*. Да что же дурного в охоте?

Бывший охотник. Дурно без нужды, для забавы убивать животных.

Ни возражать против этого, ни не согласиться с этим невозможно. Так это просто, ясно и несомненно».

В «Казаках», рассказывая про охоту Оленина, повествуя о нахлынувшем на него в лесу счастье, оттого что почувствовал себя частицей единой природы, «таким же комаром, или таким же фазаном или

оленем, как те, которые теперь живут вокруг него», Толстой не забывает упомянуть, что Оленин убил семь фазанов, сунул их за пояс и «отер теплоокровавленную руку о черкеску» и что немного погодя один фазан «оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом». Подробности жестокие, свидетельство глубокого осознания Толстым-художником несовместимости идеи всеобщей любви с убийством ближнего, братьев наших меньших.

Вегетарианство, если оно не «диета», а первая ступень по лестнице, ведущей к новой жизни, неизбежно предполагает отказ от злой забавы, в которой привычка к убийству и как следствие к мясной пище сливаются воедино. Отказ дается нелегко. Осенью 1883 года (важнейшие нравственные труды уже написаны) он еще стреляет вальдшнепов, охотится на зайцев, затравил прекрасную лисицу, но спустя год рассказывает в письме к жене: «Я хотел попробовать свое чувство охоты. Ездить, искать, по 40-летней привычке, очень приятно. Но вскочил заяц, и я желал ему успеха. А главное совестно».

Первая ступень

В июне 1890-го Толстой заносит в дневник: «Ещё думал: надо бы написать книгу «ЖРАНЬЕ». Валтасаров пир, архиереи, цари, трактиры. Свиданья, прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем».

Именно еда оказывается скрытым подчас от нас самих побуждением «соединения людей»; имеются в виду праздники, свадьбы, похороны. Если у простых людей это высказывается ясно и нелицемерно, то «в высшем кругу, среди утонченных людей, употребляется большое искусство, чтобы скрыть это»: «Они притворяются, что обед, еда им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды».

Весной следующего года он знакомится с книгой английского автора Говарда Уильямса «Этика пищи, или Нравственные основы безубойного питания человека». Книга составлена из высказываний знаменитых людей всех времен, выступавших против питания мясом, поддерживавших вегетарианскую идею. Эти высказывания, собранные под общим переплетом, интересны и убедительны. Лев Николаевич находит книгу «прекрасной, нужной», хлопочет о ее переводе. Вскоре уже на русском языке она выйдет в издательстве «Посредник». Сам же Толстой берется за предисловие к ней. Но в ходе увлеченной

работы сочинение вырывается за рамки предисловия и превращается, по собственному определению Льва Николаевича, в «статью о вегетарианстве, обжорстве, воздержании». Статью Толстой называет «Первая ступень».

Человек на протяжении жизни (если жизнь не проживается зря) обязан подниматься вверх по лестнице совершенствования себя. Совершенствование же прежде всего предполагает умение обуздывать свои похоти, предполагает воздержание. Началом пути вверх всего проще и естественнее может стать отказ от излишества в пище, от «жранья». Задумывая статью, Толстой в письме к знакомому обозначает давно выношенный умом и в муках совести выстраданный ее смысл: «Сущность дела то, что человек ест теперь большей частью во много раз больше, чем это нужно для наилучшего проявления его сил (под силами я разумею наивыгоднейшее отношение для человеческой деятельности духовных и физических сил) и что поэтому всем полезно постничество, сознательное уничтожение чревобесия, т.е. приучение себя к наименьшему количеству пищи, при котором достигается наивыгоднейшее состояние».

(Заметим, что, говоря о постничестве, Толстой не имеет в виду аскетического религиозного отказа от пищи: «Мотив постничества, состоящий в казнении своего тела и в надежде через постничество усилить свою духовную силу, мне кажется неверным», — пишет он. И еще: «Законна пища для тела такая, при которой человек может служить другим людям».)

Первой ступенью в сознательной борьбе за улучшение себя опять-таки всего проще и естественнее может стать отказ от мясной пищи, дурно влияющей на человека физически, поскольку эта пища не соответствует изначальным потребностям человеческой природы, и нравственно, поскольку непременно является результатом совершённого преступления — убийства.

В первой части статьи Толстой выступает со страстной проповедью против «жранья» вообще, мешающего каждому человеку вести добрую жизнь, разделяющего людей или подменяющего их духовное общение. Во второй части могучей кистью художника он пишет страшную картину бойни (собирая материал, посетил 6 июня 1891 года тульскую бойню).

Мы видим оголенную от снятой шкуры голову вола, красную с белыми прожилками, между тем как вол все не перестает «носить» животом и дергать задними ногами. Мы слышим хруст хрящей, когда мясник перекручивает, зажав в кулаке хвост быка, понуждая животное идти вперед — к гибели. Наше сердце стучит в такт отчаянно помахивающему хвостику барашка, положенного на стол, тогда как малый с бойни, не вынимая папироску изо рта и не переставая беседовать с

приятелем, перерезает ему горло. Человек, питающийся мясом, — непременный соучастник убийства. «А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными головами, обливаясь кровью, комично, странно прыгают, вскидывая крыльями?» В статье появляется образ «нежной утонченной барыни», которая, по уверениям ее доктора, «так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи», но «так чувствительна, что не может не только сама причинять страданий животным, но переносить и вида их».

Вспоминается забавный эпизод яснополянской жизни, когда Толстого, в отсутствие Софьи Андреевны, навестила ее сестра, Татьяна Андреевна Кузминская, нежно им любимая, но отъявленная «мясоедка». Толстой наполовину в шутку, наполовину, кажется, всерьез, привязал к ножке стула, на котором должна была сидеть за обедом гостья, живую курицу, а на тарелку прибора положил большой кухонный нож. Он предложил ей самой зарезать птицу, которую ей приготовят на обед.

Нравственное движение человечества совершается всегда медленно, как выводит Толстой. И для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков. В этом порядке первое, над чем будет работать человек, окажется воздержание, самообладание. Начальным станет воздержание в пище, и здесь первая ступень — отказ от «безнравственной животной пищи».

Толстому представляется, что движение к идеалу уже началось в мире. Заканчивая статью, он пишет: «Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходиться, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у нее, зная, что хода наверх не может быть, помимо этой первой ступени лестницы».

Глава 4
«ВИДНО, ОПЯТЬ ЖИТЬ НАДО»

Вдруг ясно представился конец

8 новогоднюю ночь с 1900 на 1901-й Лев Николаевич записывает в дневнике: «1 января нового года и столетия». Подчеркивает. И следом: «Е.б.ж.» Его обычное сокращение: *если буду жив.*

1 января нового века продолжает: «Пишу утром, потому что ничего не делаю, кроме чтения... Совершенно здоров, если не считать потери геморроидальной крови. Но нет потребности выражать мысли».

9 января: «Ничего не писал все это время, кроме ничтожных писем. Последнее время был нездоров и теперь еще не хорош».

Конец минувшего и первые дни наступившего года ознаменованы смертью маленького внука, сына Льва Львовича, рождением мертвой девочки, которой разрешилась Татьяна Львовна. Даже при «неодолимой, как кашель», постоянной потребности работать, эти события выбивают его из колеи. «Не могли пройти бесследно все горести семейные», — предполагает и Софья Андреевна.

В ее дневнике — систематически о здоровье Льва Николаевича:

«Л.Н. жалуется на нытье под ложечкой и боль печени. Он ест мало, не вовремя, много лежит, сонлив и вял... Пишет письма разным лицам и ничего не работает»... «Л.Н. болен, то зябнет, то живот болит, уныл и скучен ужасно»... «У Л.Н. печень болезненна; и он очень угнетен духом»... «Л.Н. худеет и слабеет нынешний год очень очевидно»... «Он три дня принимал хинин, по-видимому, ему легче, только ноги болят по вечерам. Умственно он совсем завял, и это гнетет его».

Физическое состояние и творческое, по обыкновению, сплавлены воедино.

О физическом сам Лев Николаевич пишет: «Нездоровье мое состоит в скрытой лихорадке, производящей большую слабость и временно усиливающей мою обычную болезнь печени».

Приглашен доктор Усов; по свидетельству Софьи Андреевны, он нашел положение пациента хорошим. Через несколько дней Толстой пишет своему другу Черткову: «Здоровье мое как будто поправляется, по крайней мере начинается умственная работа, и даже очень интересная».

На протяжении следующих нескольких недель Лев Николаевич все же чувствует слабость, у него увеличена печень, болят ноги и руки. По совету Усова он пьет карлсбадскую воду, принимает порошки от болей. Близкие замечают его похудание, слабость, унылое, мрачное настроение.

24 февраля 1901-го в газетах появляется Определение Святейшего Синода об отлучении Л.Н.Толстого от церкви. Это вызывает сильное волнение в обществе: студенческие демонстрации, издание гектографических и рукописных листков с возмущенными и сатирическими откликами, овации на площадях и улицах в честь Толстого, депутации, письма, адреса, телеграммы, подношение корзин с цветами и т.п. «Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей — целые толпы...» — рассказывает Софья Андреевна. И спустя несколько недель (пропуск в дневнике) продолжает: «Здоровье Льва Николаевича лучше, если не считать еще боли в руках. Внешние события как будто придали ему бодрости и силы». И даже: «Со мной он ласков и опять очень страстен».

Лев Николаевич в те же дни подтверждает: «Здоровье хорошо. Хотел кончить «Хаджи-Мурата», но не работалось». «Я здоров, но очень осуетился. Нынче кончил ответ Синоду».

Но возбуждение проходит — он снова жалуется на боли в руках и ногах («ревматизм»), слабость, у него часто повышается температура («лихорадка»), ухудшается деятельность сердца. Такое состояние продолжается несколько месяцев, пока наконец, в последних числах июня та же ли самая болезнь или наслоившаяся на нее новая не принимает угрожающий характер.

Сперва сильный сердечный приступ, через неделю, в последних числах июня, тяжелое общее самочувствие, боль в груди и в боку, жар, пульс 150 ударов в минуту, боль и похолодание в ногах, слабость такая, что больного приходится на руках перекладывать, переворачивать; при этом — невыносимая тоска.

Первый прибывший врач, тульский, Рудольф Августович Дрейер, определяет малярию, прописывает хинин, а также кофеин и строфант для поддержания работы сердца. Следом выписывают главного врача калужской городской больницы Ивана Ивановича Дубенского, семейного знакомого Толстых. Доктор Дубенский сомневается в диагнозе малярии, предполагает желудочно-кишечное заболевание, от пульса у больного приходит в ужас: «пульс агонии».

Лев Николаевич говорит Софье Андреевне (она записывает его слова): «Я теперь на распутье: и вперед (к смерти) хорошо, и назад (к жизни) хорошо. Если и пройдет теперь, то только отсрочка». Задумавшись, прибавляет: «Еще многое есть и хотелось бы сказать людям».

Вызванный из Москвы известный терапевт Владимир Андреевич Щуровский (ему вскоре еще предстоит пользовать Толстого) подтверждает малярию. «Врачи все нашли, что причина общего заболевания и ослабления сердца — присутствие малярийного яда в организме, — записывает за медиками Софья Андреевна. — Давали хинин, предлагали впрыскивания мышьяком, от которого, к сожалению, Л.Н. упорно отказывается. Сейчас он очень худ и слаб, но аппетит прекрасный, сон тоже, болей нет, занимается он каждое утро своей статьей о рабочем вопросе».

Опекая оправляющегося от болезни мужа, итожит: «Слава Богу, слава Богу, еще отсрочка! Сколько придется еще пожить вместе!.. Теперь вдруг ясно представился конец. Нет обновления, нет здоровья, нет сил — всего мало, мало осталось в Левочке. А какой был богатырь!»

Но и тут не в силах сдержать неудовольствие: «Грустно часто слышать от него упреки за лечение мне и докторам. Как только ему лучше, он сейчас же высказывает ряд обвинений. А когда плохо, всегда лечится».

Толстой тоже подводит итоги:

«Болезнь была сплошной духовный праздник: и усиленная духовность, и спокойствие при приближении к смерти, и выражение любви со всех сторон».

Какие бы ни высматривал «обвинения», главное — любовь со всех сторон — и чувствует, и ценит. Потому и сомнения («обвинения»), что чувствует и ценит эту заботливую любовь.

Выздоравливая, пишет брату Сергею: «Одно смущало и смущает меня, что так ли это было бы, если бы за мной не было такого облегчающего болезнь — боли — ухода. Если бы я лежал во вшах на печи с тараканами под крик детей, баб и некому бы было подать напиться».

Болезнь Толстого вызывает всеобщую тревогу. «Приезжало много друзей, — рассказывает Софья Андреевна. — Телеграммы, письма, суета большого стечения детей, внуков, знакомых...» Читая сочувственные письма, Лев Николаевич, шутит: «Теперь, если начну умирать, то уж непременно надо умереть, шутить нельзя. Да и совестно, что же, опять сначала: все съедутся, корреспонденты приедут, письма, телеграммы — и вдруг опять напрасно... Просто неприлично».

Слушая шутливый разговор, Софья Андреевна, отзывается: в старости, и правда, жить скучно — что до нее, она хотела бы поскорее умереть. «А Л.Н. вдруг оживился, и у него как-то вырвался горячий протест: «Нет, надо жить, жизнь так прекрасна!..» Хороша эта энергия в 73 года, она и спасает и его и меня».

Телесное и душевное

Остаток лета тянется, как на качелях: «стало было лучше, потом опять хуже», и через несколько дней «мое здоровье то ухудшается, то улучшается», — обозначает положение сам Толстой.

Узнав о болезни Толстого, графиня Софья Владимировна Панина предлагает для лечения и отдыха свою дачу в Гаспре. Врачи советуют не отказываться от поездки. В сентябре Толстые отправляются в Крым.

В поезде Льву Николаевичу поначалу худо — затрудненное дыхание, жар. Но ближе к югу за окном, вместо дождя и тумана, яркое солнце, ясное голубое небо — и сразу полегчало. Из Севастополя в Ялту едут в экипажах. По дороге Лев Николаевич узнает знакомые места, вспоминает войну, события 46-летней давности.

С первых же дней в Крыму Толстой ездит верхом, совершает дальние пешие прогулки. Он нетерпелив. Одолевая себя, ждет привычно быстрого восстановления утраченных сил и огорчается, чувствуя, что тело неподвластно его желаниям, что болезнь постоянно напоминает о себе: «Здоровье все chancelante <*колеблющееся*> под гору»; «Прежнее здоровье окончательно кончилось».

В письме к брату Сергею он подробно рассказывает о своем телесном и душевном состоянии:

«Телесное, по общепринятому взгляду, плохо: плохо то, чтр болезнь сердца. Чуть сделаешь усилие самое небольшое —подымешься в гору... и начнутся перебои, т.е. раз пять ударит пульс и остановится на один, на два удара, и неприятное чувство в груди, даже боль. А это пройдет, начнутся боли в ногах и, главное, в руках. Так что, по общепринятому, плохо, т.е. явно идет к концу этой жизни, но есть много хорошего. Хорошо, что, по всем вероятиям, конец будет от сердца, т.е. скорый, и то, что ревматизмы-боли — подстегивают к выходу из этого помещения. От этого и душевное состояние мое хорошо, тем более что я поддерживаю его хорошими мыслями и работой о религии (я пишу), которая меня очень занимает...» <*статья «Что такое религия и в чем ее сущность?»*>.

Но следом — «о внешней жизни здесь» («Гаспра, именье Паниной») — и это тоже про душевное состояние: «... Дом <*в другом письме к брату — «роскошнейшее палаццо»*>, в котором мы живем, есть верх удобства и роскоши, в которых я никогда не жил в жизни. Вот те и простота, в которой я хотел жить».

Черткову он пишет, что едет верхом к морю (версты четыре зигзагами): «Красота здесь удивительная. И мне было бы совсем хорошо, если бы не совестно».

Доктор Чехов

Почти тотчас, как Толстой поселяется в Гаспре, его навещает живущий неподалеку, на окраине Ялты, Чехов. Он, конечно, тоже наслышан о болезни Льва Николаевича; кроме того, собирается на месяц в Москву, спешит повидаться перед отъездом. Уже из Москвы в письме Горькому рассказывает, каким нашел Толстого, — здесь интересен и взгляд Чехова-врача: «Перед отъездом из Ялты я был у Льва Николаевича, виделся с ним; ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость чисто детскую, но здоровье его мне не понравилось. Постарел очень, и главная болезнь его — это старость, которая уже овладела им».

В свою очередь, Гольденвейзер, свидетель этой встречи, заносит в дневник о Чехове — и, скорей всего, не только собственное впечатление: «Вид у него плохой: постарел и все кашляет». (Здесь, наверно, нелишне вспомнить, что шестью годами раньше, когда Антон Павлович из-за резкого обострения туберкулезного процесса в легких оказался в московской клинике профессора Остроумова на Девичьем поле, Толстой навещает его там. Они долго гуляют по коридору, им никто не мешает — и беседа их значительна. Толстой рассказывает о своей работе над «Воскресением» и статьей «Что такое искусство?», но главный, конечно, для той встречи разговор — о смерти и бессмертии. Чехов не принимал толстовской теории, согласно которой личное *я* человека, его индивидуальность, сознание сольются с неким всеобщим «началом», — и это удивляло и огорчало Толстого.)

Будучи в Москве, Чехов просит знакомого ялтинского врача сообщить ему о здоровье Толстого, встречается с доктором Щуровским (помним: его вызывали летом в Ясную Поляну), чтобы поговорить о Толстом. По возвращении в Крым отправляется в Гаспру: «Здоровье его лучше, чем было, но все же это лишь теплые дни в конце октября, а зима тем не менее близко, близко!» Это опять же — про старость, не про погоду.

«Видно, опять жить надо»

Новое мощное наступление болезни — зима 1902-го, январь, февраль. В середине января резко поднимается температура, возникает сильная боль в левом боку. Врачи предполагают возврат малярии, хроническое недомогание кишечника; боль считают невралгической. Прописывают хинин, строфант, на бок — йод и компресс.

В конце января Чехов сообщает жене: «Толстому вчера было нехорошо, температура хватила до 39, а пульс до 140 с перебоями. Главная болезнь — старость, а еще — перемежающаяся лихорадка, которую он схватил очень давно».

Начинаются приступы стенокардии («грудной жабы», как именуют ее в те годы), в левом боку прослушивается плеврит, развивается воспаление легких. Ему не хватает воздуха, мучает боль в груди, жар, сменяющийся резкими падениями температуры. Врачи «прыскают» камфару и морфин. В дневнике Софьи Андреевны читаем: «Плеврит идет своим ужасающим ходом, сердце все слабеет, пульс частый и слабый, дыхание короткое...»

Приехавший из Москвы доктор Щуровский обозначает возможное: «Мы, врачи, не можем утверждать, что положение безнадежно, но мы называем подобное воспаление легких у стариков pneumonia terminalis (конечным воспалением легких)».

26 января 1902 года Софья Андреевна в отчаянии заносит в дневник: «Мой Левочка умирает...»

На другой день Чехов пишет жене из Ялты в Москву: «*<Тол-стой>* очень плох; у него была грудная жаба, потом плеврит и воспаление легких. Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо. Грустно, на душе пасмурно».

Но худшее еще впереди: с начала февраля начинает отказывать сердце. 7-го февраля Софья Андреевна записывает: «Положение почти, если не сказать — совсем, безнадежное».

В тот же день Чехов снова сообщает жене: «Толстой, вероятно, не выживет; сегодня Альтшуллер *<врач>* говорил по телефону, что сердце у старика работает плохо».

Старик выжил. И хотя до нормального положения еще далеко, хотя он слаб, изможден болезнью, — свойственная ему энергия выздоровления тотчас передается окружающим.

7-го февраля Чехов «пасмурен»: старик «не выживет». 8-го: «Здоровье дедушки неважно, Альтшуллер глядит пессимистически». 9-го: «Здоровье Толстого совсем хорошо». 13-го: «Толстой, слава Богу, уже выздоровел».

Не «совсем хорошо», подчас еще — совсем не хорошо, болезнь то и дело возвращается, впереди еще и брюшной тиф, к счастью, не в тяжелой форме, но — пик позади.

— Видно, опять жить надо, — говорит Лев Николаевич.

Софья Андреевна спрашивает:

— А что, скучно?

Отзывается горячо:

— Как скучно? Совсем нет, очень хорошо.

Местные доктора

В критический час болезни Толстой роняет как-то:

— Вот не выздоравливаю и не умираю, всё доктора мешают.

По слогу — шутка; но в каждой шутке есть доля правды.

Михаил Сергеевич Сухотин, муж Татьяны Львовны, пишет о борьбе за его жизнь: «Особенно я проникаюсь уважением к докторам, а из числа докторов не столько к знаменитостям, как Бертенсон и Щуровский, сколько к трем местным докторам — Альтшуллеру, Елпатьевскому, Волкову... кладущим всю свою энергию на то, чтобы хоть на короткое время отвоевать у смерти того Льва Толстого, который... неустанно насмехался над докторами и над их наукой. Теперь, конечно, дело несколько иное, и Л.Н., не иронизируя над лекарствами и их целебными свойствами, преисправно глотает всю эту латинскую кухню, которую в него вливают. Но все-таки нет-нет, а поворчит иногда на докторов».

Первым из местных докторов посещает Толстого земский врач Константин Васильевич Волков. Сам Волков вспоминает, что случилось это недели через две-три после приезда Толстых: он успел даже позавидовать тем, кому уже повезло увидеть Льва Николаевича на прогулке. Но, похоже, — здесь обычное смещение памяти. Волкова приглашают в Гаспру едва ли не на третий день после того, как там поселились Толстые.

Его находят поздно вечером на репетиции пьесы Островского в Народном доме, построенном по соседству с Гаспрой, в Кореизе, той самой графиней Паниной, которая предоставила Толстым свое «палацо». (Она щедро давала деньги на благотворительные цели.) Константин Васильевич, торопясь, не снимает костюма, в котором репетировал, — красную рубаху, плисовые шаровары, высокие смазные сапоги.

«Замечательно, что после первых же нескольких слов Льва Николаевича все мое волнение и страх исчезли без остатка; я видел перед собой простого, милого, доброго старика, которого можно только любить. Никаких внешних изъявлений того величия, которым увенчал его мир... Лев Николаевич — аристократ по рождению, по таланту и по духу — со всеми умел быть равным. Поэтому с ним чувствовалось и говорилось легко: собеседник не старался говорить «умных» речей, чтобы не ударить в грязь лицом, а говорил то, что есть за душой...»

Это, конечно, обобщенное впечатление; о чем они говорят при первой встрече доподлинно не знаем; знаем только, что говорят о пьесе Островского (костюм Волкова подсказывает тему), Толстой одобряет выбор пьесы, обещает прийти на репетицию (и через несколько дней придет), беседа вызывает в нем желание написать пьесу для народа.

Облик Толстого, характер беседы, скупо запечатленный в воспоминаниях Волкова, передает отношения, тотчас возникшие у Льва Николаевича с посетившим его впервые врачом, представителем столь отрицаемой им вообще, как мы привыкли считать, медицины. Земский врач, прибавим, в два с половиной раза младше его, но — разговор на равных, без поучений, без явных насмешек.

Другой местный доктор, приятель Чехова и лечащий его врач Исаак Наумович Альтшуллер — один из лучших ялтинских медиков той поры. Знаем требовательную сдержанность Чехова в выборе людей, с которыми он устанавливает и поддерживает близкие, доверительные отношения. Близость с Чеховым свидетельствует о нравственных достоинствах Альтшуллера, но вместе, конечно же, укрепляет и углубляет в нем эти нравственные достоинства; влияние на него Чехова несомненно, тем более, что он и младше Антона Павловича на целых десять лет. Позже, из эмиграции, он напишет Марии Павловне, сестре Чехова, что постоянно чувствует «тамошнее» — ялтинское, чеховское, чувствует, как «крепко это вошло».

Впервые Альтшуллер приезжает к Толстым 5 ноября 1901-го вместе с Чеховым, не исключено, что по его рекомендации: Чехов считает Альтшуллера врачом «очень порядочным и много знающим». С этого времени Альтшуллер регулярно навещает Гаспру. Софья Андреевна дает характеристику «доктора, который тут его *<Льва Николаевича>* лечит»: «Альтшуллер, приятный, даровитый еврей, совсем непохожий на евреев, и Лев Николаевич ему верит и слушается его, и даже любит».

Однажды в трудный час болезни Толстой говорит Альтшуллеру: «В молитве “Отче наш” различно понимаются слова: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Это просьба у Бога дать на каждый день духовную пищу. И вот вы, доктора, ежедневно служите больным, и это хорошо, особенно когда бескорыстно». Прибавим: молитву «Отче наш» Толстой считает самой полной молитвой из всех, какие он знает, постоянно повторяет ее, ищет наиболее глубокого ее толкования. Сопряжение этой молитвы с деятельностью врачей многое означает в его отношении к медицине.

Во время тяжелой болезни Толстого находящийся почти неотлучно при нем Альтшуллер постоянно сообщает Чехову о происходящем. «Доктор, который лечит его, бывает у меня очень часто и рассказывает все, что нужно», — подтверждает Чехов. Когда не удается встретиться, Альтшуллер о состоянии больного «говорит в телефон». Доктор Чехов, подробно осведомляясь о ходе болезни, в беседе с Сергеем Львовичем Толстым сетует: «Я бы тоже по очереди дежурил у постели вашего отца, но я не могу, я сам больной».

Имя Сергея Яковлевича Елпатьевского, до того, как они знакомятся в Крыму, видимо, известно Толстому по литературе. Доктор Елпатьевский, «русский литератор с головы до ног», по характеристике Горького, выступает в печати как прозаик и публицист. Помимо рассказов, в которых широко и правдиво является российская жизнь, читатели ценят его «Очерки Сибири», представленные в них образы «гонимой России». Сибирь Сергей Яковлевич знает не понаслышке: у него, как уча-

стника революционного движения, за плечами арест, ссылки; среди прочих отдаленных мест — в Благовещенск и в Енисейскую губернию. Всё это, конечно, не может не привлекать интереса Толстого.

О наружности Льва Николаевича мы уже подробно говорили, но здесь еще раз вернемся к ее описанию, — трудно удержаться: очень уж хорошо, выразительно рассказывает доктор Елпатьевский о первом, внешнем впечатлении от своего именитого пациента. «Как ни хорошо знал я Толстого по портретам, лицо его поразило меня. У него были изумительные глаза, острые, пронзительные... Глубоко посаженные, смотревшие из-под больших лобных дуг, они как-то сразу охватывали всего человека — и именно пронизывали его. Они были суровые и немножко насмешливые, и все лицо с косматыми бровями и глубокими морщинами, избороздившими большой лоб, было строгое и суровое. Весь он, с широкими сутуловатыми плечами, с большими, длинными руками, казался крупным, массивным, — крупнее, чем он был в действительности. Но больше всего поразил меня глубоко крестьянский облик его, — и сутуловатые плечи, и большие руки, словно всю жизнь тяжко работавшие, и мужицкая седая борода, не по-графски обряженная, — типичный облик крупного и костистого старика, великорусского крестьянина — властного и сурового».

Лев Николаевич с первой же встречи с Елпатьевским очень разговорчив; когда остаются один на один, расспрашивает, какие книги в ранней юности оказали на него наибольшее влияние, радуется, когда среди названных слышит имя Диккенса («И на вас тоже Диккенс?»).

Елпатьевский вспоминает: в «черные дни для Льва Николаевича, когда в продолжение двух-трех недель смерть неотступно реяла над его кроватью», он «безропотно переносил все то, что мы назначали ему: и компрессы, и мушки, и впрыскивания под кожу, и лекарства».

«Мне кажется, — передает Сергей Яковлевич свое любопытное наблюдение, — что и отношение к медицине у него было, так сказать, крестьянское <*наблюдение не умозрительное: как врач Елпатьевский много практиковал в провинции, “в глубинке*”>. Он так же, как крестьяне, признавал только серьезное лечение, действенное, очевидное, показательное. Он сколько угодно позволял себя выстукивать и выслушивать, хотя ему было тяжело и с помощью других держать свое тело на весу, охотно измерял температуру, охотно ставил спиртовые компрессы. В особенности, кажется, уважительно относился он к мушкам <*пластырь, сильно раздражающий кожу, наподобие горчичника*>, и, сколько мы ни терзали его, он никогда против мушек не протестовал, — и мне думается, не только потому, что мушки всегда сказывались значительным эффектом и улучшали его состояние, а и потому, что мушки вообще “серьезное” средство, которое и у крестьян в большом почете. Но он глубоко презирал всякие “микстуры”...»

За все время лечения у Елпатьевского лишь одно-единственное недоразумение с пациентом: крайне слабый, изнемогавший от бессонницы, одышки и кашля, Лев Николаевич вдруг заупрямился и нипочем не хотел проглотить очередную ложку дигиталиса <*настойка наперстянки — улучшает работу сердца*>. Недоразумение разрешилось деликатной, но строгой фразой Елпатьевского: «Лев Николаевич, помогите нам лечить вас и не делайте моего пребывания здесь излишним».

Александра Львовна, младшая дочь Толстого, пишет про местных докторов: «Мы смотрели на них как на спасителей, мы ждали их, мы надоедали им своими бесконечными вопросами. А мать тревожилась: «Но что ж мы для них сделаем, ведь это ужасно. Никто не хочет брать денег».

Необыкновенность обыкновенного

Дневник Софьи Андреевны полнится заботой о здоровье мужа, тревогой за него и — обидой, что мало ценит ее заботы, укорами, что не желает подчиняться предписаниям врачей, что недостаточно благодарен им. Софья Андреевна включает докторов в систему своих отношений с мужем. Но у них, у докторов, в ходе лечения Льва Николаевича, при постоянном общении — днем и ночью они, сменяя друг друга, не отходят от его кровати — возникает собственная система отношений с ним. В их представлении создается иной образ больного Толстого, чем предполагает Софья Андреевна.

Об этом хорошо у Елпатьевского: с каждой встречей все более вставал и вырисовывался перед ним подлинный Толстой в его огромности, сложности и необыкновенности. «Именно необыкновенности... Я говорю не об умственном голоде Толстого и его вечно несытой совести, не о его вечных исканиях — я говорю об огромности его, как человека, о необыкновенности его индивидуальных обыкновенных человеческих черт».

Там, где для жены и некоторых из близких на первый план выступает «обыкновенный» Лев Николаевич, с его противоречиями, неудобством суждений и поступков, слабостями, перед докторами (можем судить об этом не по одного Елпатьевского воспоминаниям) является поражающая их необыкновенность обыкновенного в нем.

Беседуя с ним днем, и не только на медицинские темы, проводя возле него долгие бессонные ночи, они оказываются в мире его сокровенных мыслей, искренних признаний. Отсюда это впечатление вечных исканий, вечно несытой совести. «За всю мою долгую медицинскую жизнь, — читаем у Елпатьевского, — я не запомню ни

одного случая, где бы так думали в то самое время, как подходила смерть, думали не о детях, не об неустроенных делах, не о неснятых с совести камнях, а об общем, о дальнем, о том, что не касалось личной жизни...»

Доктор Волков рассказывает, что Льва Николаевича, всегда очень смущенного заботами врачей о его физиологических отправлениях, «постоянно мучила разница в положении больного — его и больного мужика, который должен и в самой тяжкой болезни выходить оправляться зимой куда-нибудь под клеть. Я раз десять слышал от него эти сокрушения о том, как плохо хворать мужику». Свидетельницей одного из таких разговоров оказалась Софья Андреевна: «Вчера спросил у доктора Волкова, как лечат в простонародье таких стариков, как он, впрыскивают ли им камфару, кто их поднимает, чем питают?» Здесь вместе — и общая жизнь и вечно несытая совесть.

Домашние и близкие, по мере сил, часто — сверх всяких сил, помогают врачам. «Нанимать кого-нибудь для ухода нечего было и думать, так как посторонний человек крайне стеснял бы больного и заставлял бы его постоянно конфузиться, принимая его услуги, — рассказывает один из близких знакомых семьи, находившийся в Гаспре. — Мы все обратились в сиделок и сестер милосердия и распределили между собою денное и ночное дежурство».

Доктора́, отвоевывающие у смерти своего пациента, сопоставляют его поведение не с собственными представлениями о том, как должен был бы вести себя в данном случае Лев Толстой, а (читаем опять же у Елпатьевского) с прошедшими через их руки тысячами лежачих больных, — «они умирали и выздоравливали, были раздраженные и злые, бунтовавшие против надвигавшейся смерти, были кроткие и покорные, — по-русски покорные, мирившиеся с тем, что приближалось к ним», — и при такого рода сопоставлении Лев Николаевич трогает их «крайней деликатностью и не высказывавшейся, но чувствовавшейся благодарностью за то, что мы возимся с ним»: «Чем дальше шла болезнь и чем больше изнемогало тело, тем серьезнее становилось лицо, тем меньше говорил он слов нам, докторам и родным. И тем покорнее становился к медицине. И временами мне казалось, что он проделывает всю эту сложную и тяжелую, временами мучительную систему лечения только из деликатности, чтобы не огорчить родных отказом от лечения, чтобы не обидеть нас, врачей, которые так много хлопотали около него и которым так хотелось вылечить его».

И если в беседе срывается с уст Льва Николаевича острая шутка, если заводит он спор и высказывается с сердитой резкостью, доктора усматривают в этом не упорную непоследовательность, а значимую особенность его толстовской натуры.

«Даже покорный нам, он и в самые тяжелые минуты оставался тем же непокорным, каким он был всю жизнь, и случалось, насмешливый огонек блестел в его глубоких пронзительных глазах», — читаем у Елпатьевского. У Волкова о том же — еще сильнее, размашистее: «Лев Николаевич вообще был склонен впадать в гнев и легко раздражался, — этого требовала, видимо, его натура. Но с высоты своего мировоззрения строго осуждал эту склонность и обычно обрывал себя на такой вспышке высказываемым вслух замечанием: «Зачем я рассердился... Это нехорошо», и погашал таким замечанием вспышку гнева. А мне, правду сказать, казалось тогда, — да и теперь кажется, — наоборот: хороши были эти возмущения его духа и облеченные в резкую форму протесты, как рефлекс сильной натуры».

Знаменитости

О приезде *знаменитостей* (так именует их в приведенной записи Сухотин) извещает дневник Софьи Андреевны:

«23 января <*1902*>. Вчера вечером приехал доктор Бертенсон (почетный лейб-медик) из Петербурга. Умный, простой в обращении человек и, очевидно, опытный и знающий доктор.

Сегодня приехал из Москвы тоже умный доктор Щуровский. Вместе с Альтшуллером состоялся серьезный консилиум...»

На приезд Льва Бернардовича Бертенсона, известного столичного врача (они знакомы заочно), Толстой откликается по-своему:

«Приехал Бертенсон...» И тут же: «Нет более явного доказательства ложного пути, на котором стоит наука, это ее уверенность в том, что она всё узнает».

Видимо, при первой встрече Бертенсон обнадеживает его — обещает разобраться в характере заболевания, найти лечение. Замечание Толстого — вовсе не критика Бертенсона: он, по обыкновению, смотрит шире — речь об относительности научных знаний, о склонности представителей науки объявить знания, которыми они владеют, истиной в последней инстанции. Это — еще увидим — важная составляющая отношения Толстого к медицине.

Всероссийски известный медик Лев Бернардович Бертенсон приезжает из Петербурга в Крым, к Толстому, по собственной охоте, полагая, что может оказаться полезным. Московский терапевт Владимир Андреевич Щуровский, приглашенный родными для консультации, видя тяжелое состояние пациента, задерживается и в критические дни оказывается одним из ведущих лечащих врачей Толстого. «Умница и способный, бодрый, живой», — характеризует его Софья Андреевна. Обязанности распределяются так: в ночные

часы поочередно дежурят Альтшуллер, Волков и Елпа-тьевский, в течение всего дня — Щуровский. Если дело осложняется, Щуровского будят и ночью.

«Лечат его превосходно, — выносит свой приговор Чехов. — При нем московский врач Щуровский и ялтинский Альтшуллер. То, что Толстой остался жив, что есть надежда, я, хотя бы наполовину, отдаю на долю этих двух докторов».

После консилиума с участием Бертенсона составлены подписанные им подробные наставления о лечении и поведении больного. Не приводим их полностью, скажем лишь, что предусмотрено едва ли не всё, что возможно предусмотреть: режим дня, отдых и прогулки, ванны, лекарственные средства, еда (учтено вегетарианство Льва Николаевича). Вряд ли Толстой всерьез принимает все эти пункты, предполагающие нелюбимую им «подробную» до мелочей жизнь, к тому же жизнь телесную, в которой для душевного остается немного места. Можно не сомневаться, что стократ дороже для него тот результат консилиума, который закреплен в полученном от Бертенсона письме, вскоре после отъезда знаменитости: «Если бы сердце было бы само по себе органически слабо, Вы бы не перенесли двустороннего воспаления легких — это ясно, как день!.. В сознании, что Ваш организм крепок, я черпаю уверенность, что Вы можете жить еще много лет на великую радость миллионам людей».

«Не прерывающаяся работа мысли»

Снова послушаем доктора Елпатьевского:

«Больше всего поразила меня в Льве Николаевиче за время его болезни его неустанная мысль, и мне думается, что именно за болезнь я понял, как он мыслил всю жизнь. Лев Николаевич знал свое положение, и тем поразительнее было наблюдать эту непрестанную, никогда не прерывающуюся работу мысли, которая шла в нем все время болезни. Помню — на другой же день после страшной ночи Льву Николаевичу стало лучше... и я утром оставил его с радостным, успокоенным чувством. А когда вечером вернулся из Ялты, я застал у постели Льва Николаевича Марию Львовну с тетрадкой и карандашом... В этот день он частью диктовал новые мысли, а частью заставил... исправить некоторые места из старой заброшенной работы, к которой он давно не возвращался. Было очевидно, что в ту ночь, когда сердце его изнемогало, он все думал и мысль его все работала».

Замечательны перепады в записях Софьи Андреевны:

«Ночь Левочка мой (теперь уже не мой, а Божий) провел очень тяжелую. Как только начнет засыпать, его душит, он вскрикнет и не спит...» И: «Вчера с утра... спросил свою статью о свободе совести и стал диктовать в разных местах поправки».

«Ночь до четырех часов провел тяжелую. Метался, задыхался...» И: «Диктовал опять и в записную книгу и в статьи начатые».

«Ночь провел ужасную... В семь часов разбудили доктора Щуровского, и он впрыснул морфий... К левому боку Щуровский поставил еще мушку...»

И прямо — следом: «Диктовал Маше в записную книгу».

И т.п.

Павел Александрович Буланже, близкий знакомый Толстого, взявший на себя немалую часть забот во время его болезни, рассказывает:

«Иногда, когда сидишь вечером где-нибудь в уголке полутемной комнаты и наблюдаешь за малейшим движением больного, чтобы помочь, или, когда кажется, что он уснул и ждешь его пробуждения, чтобы дать ему лекарства, и подходишь с лекарством, когда видишь слабое движение руки, Лев Николаевич вдруг остановит:

— Не надо пока этого, — говорит он, указывая на лекарство. И, видя умоляющий взгляд, добавляет: — Потом, возьмите, друг мой, бумаги, запишите.

И начинает диктовать вдруг поправки или дополнения к своим последним произведениям».

У него же находим, как после одной диктовки Лев Николаевич до того ослабел, что как бы впал в полную прострацию... «До девяти часов вечера он находился в таком состоянии, но в это время опять позвал меня, попросил меня прочесть продиктованное днем... собрал последние силы и продиктовал поправки и изменения».

Страстная устремленность к творчеству подчас пугает тех, кто находится рядом с Толстым в гаспринском доме, ощущает холодное дыхание поселившейся там смерти. Но еще более приводят в смятение и близких, и докторов овладевающие иногда больным часы и минуты равнодушия, безразличия к своим трудам, словно бы наступающего, пусть короткого, перерыва в работе мысли. Известная латинская поговорка: «живу — надеюсь» означает для Толстого: «живу — творю».

Толстые покидают Крым в последних числах июня 1902-го — провели там без двух месяцев год.

На третий день после приезда в Ясную Поляну он докладывает брату Сергею Николаевичу: «Положение мое такое: ходить могу шагов 200 по ровному и согнувшись. Коленки и суставы в руках болят, сплю мало, но могу работать и все понимаю и чувствую...»

Через неделю он уже выходит из дому, прогулки становятся все дольше, через месяц, по словам близких, он «бодр физически»; через три — «здоров, бодро работает, гуляет, ездит верхом». Радуется: «Присесть на корточки и встать мне теперь ничего не стоит, а еще недавно я не мог этого сделать».

И все же болезни, то одна, то другая, настигают его, донимают. Приходится вызывать знакомых врачей из Москвы, из Тулы, «очень старается и умно действует» (хвалит Софья Андреевна) Дмитрий Васильевич Никитин, первый домашний врач Толстых.

Конец года снова проходит в недомогании. В начале декабря появляется бюллетень, подписанный докторами Щуровским, Усовым и Никитиным: «Пятого декабря Лев Николаевич заболел инфлюэнцией и слег в постель. Высокая температура продержалась три дня и седьмого к вечеру пала до нормы. В настоящее время остается значительная общая слабость и явления ослабления сердечной деятельности».

Общественный интерес к состоянию здоровья Толстого продолжает оставаться напряженным. Правительство то вовсе запрещает что-либо сообщать о нем в печати, то лишь с большой неохотой разрешает это.

Подводя итог «больному» году, Толстой отправляет письмо в редакцию газеты «Русские ведомости»:

> Милостивый государь г. редактор,
>
> по моим годам и перенесенным, оставившим след болезням, я, очевидно, не могу быть вполне здоров, и, естественно, будут повторяться ухудшения моего положения. Думаю, что подобные сведения об этих ухудшениях хотя и могут быть интересны для некоторых, — и то в двух самых противоположных смыслах, — для большинства не имеют значения, и потому я бы просил редакции газет не печатать сведений о моих болезнях.
>
> Лев Толстой.

В эти декабрьские дни он много занят «Хаджи-Муратом», пишет статьи, обдумывает воспоминания.

Исполнение будущего

Близкие постоянно поражаются скорости его выздоровления после самых тяжких болезней. Тут, конечно, и дарованная ему природой могучая сила организма, и — может быть, еще больше — сила духа, убежденность, что должен действовать, что не имеет права остановиться, что для того и явился в мир, чтобы светить людям, глаголом жечь сердца: «я пришел огонь свести на землю». В записной книжке помечает — для себя: «Сила тела нужна, чтобы сжигать ее для духа».

Черткову, сообщившему о болезни жены, отвечает: «Пускай ее лечат, но чтоб она не лечилась *<то есть не подчиняла себя физически и духовно лишь задаче лечения>,* не думала о своем здоровье иначе, как так, что у ней много сил, которые она может и должна употреблять для других».

Когда заболевает сын Лев (тяжелая неврастения, депрессия) и даже знаменитые врачи не могут точно определить его страдания, некоторые и вовсе пророчат ему скорую кончину, он, этот отрицатель медицины, точнее всех определяет болезнь, ставит диагноз, намечает путь к выздоровлению. «Ужасно то, что это заколдованный круг — от нездоровья ты думаешь о своем здоровье, а от думы ты делаешься нездоров. Нужнее всего и полезнее всего тебе было бы увлечение сильное мыслью и делом». Лев Львович отправляется за медицинской помощью в Париж. Толстой, помним, с удовлетворением встречает известие, что, помыкавшись среди тамошних специалистов, сын обратился к видному невропатологу Бриссо, поскольку невропатологи ищут корень болезни «в высших функциях, а не в низших»... Выздоровление приходит к Льву Львовичу с вспыхнувшей в его душе любовью к дочери известного шведского врача Эрнеста Вестерлунда, у которого он консультируется, а затем и женитьбой на ней. Толстой полагает, что болезнь побеждена мощной, стихийной силой, побуждающей человека к действию.

Он знает это по себе — всякий раз будто новое рождение, когда чувствуешь эту неизбежность деятельности: «будущее требует от настоящего своего исполнения».

Лев Николаевич неизменно удивляет врачей тем, как по-юношески легко и быстро он выздоравливает. Ну, конечно, по-юношески! Ведь в нем и в шестьдесят лет, и в семьдесят, и в семьдесят пять живет, волнуется это молодое чувство будущего. Он живет созидателем будущего, с молодой энергией стремится перенести его в настоящее.

Радуясь встречам с ним после не обещавших благоприятного исхода болезней 1901–1902 годов, Михаил Сергеевич Сухотин заносит в дневник: «Я уже не раз мысленно хоронил Л.Н. Тем с большим удивлением гляжу на этого старца, свежего, бодрого, сильного. Он много ходит пешком и много ездит верхом... много пишет и читает... многим интересуется».

И — еще три года спустя:

«Я позавидовал несокрушимой юности этого человека, этой его возбудимости к гневу, негодованию, любви, радости, восторгу».

Глава 5
КОРОМЫСЛО ВЕСОВ

Нравственные дилеммы

Ближние сердятся, что Лев Николаевич не ценит самоотверженного труда докторов, возвративших его к жизни, сами доктора, похоже, находят с пациентом общий язык, а он, едва поднялся с одра, который все без исключения, и он тоже, почитали смертным, — опять за свое.

«Думал о безнравственности медицины. Все безнравственно. Безнравствен страх болезни и смерти, который вызывает медицинская помощь, безнравственно пользование исключительной помощью врачей, доступной только богатым. Безнравственно пользоваться исключительными удобствами, удовольствиями, но пользоваться исключительной возможностью сохранения жизни есть верх безнравственности. Безнравственно требование медицины скрывания от больного опасности его положения и близости смерти. Безнравственны советы и требования врачей о том, чтобы больной следил за собой — своими отправлениями, вообще жил как можно меньше духовно, а только материально: не думал бы, не волновался, не работал».

На первый взгляд, в самом деле, ужасная неблагодарность и упрямое нежелание понять благо, для всех очевидное. Но вчитаемся повнимательнее. Разве он — о медицине как таковой? Вовсе нет. Он — *о нравственности*. В том числе и о нравственных началах медицины, о которых по мере развития науки много думают лучшие ее представители, освобождаясь от казавшихся прежде неколебимыми представлений.

Он — о том, что в заботах о теле нельзя поступаться жизнью духа, о духовной силе человека, о нравственных основах, с которых начинается осмысленная жизнь на пользу себе и людям.

В другое время и в другом месте он пишет о двух взглядах на медицину. Первый взгляд (именно этот обычно ему приписывают), что медицина есть зло, надо от нее избавляться и ни в коем случае ею не пользоваться. «Этот взгляд неправилен», — четко, без колебаний выносит приговор Толстой. Другой, более распространенный взгляд, как раз наоборот, отдает медицине первенство в вопросе о жизни и смерти человека: человек связывает решение жизненных задач со своим физиче-

ским состоянием и, соответственно, с врачебными советами, поисками подходящего лекарства, возможностями медицинской науки. Такой взгляд, по мнению Толстого, еще более ложный и вредный. От приверженности первому взгляду страдает тело, при следовании второму всегда страдает дух. О себе он пишет, что не намерен искать вперед помощи от постоянно угрожающей (и неизбежной) смерти: на это уйдет вся жизнь, и все равно ее недостанет; но пользоваться средствами ограждения себя от смерти и страданий, которые даруют людям врачи, он будет. Стараясь только, чтобы пользование такими средствами не нарушало его нравственных требований. «Тут, разумеется, нравственные дилеммы, и решение их в душе каждого», — завершает свое суждение Толстой.

Коромысло весов

Как и во всем остальном, в размышлениях о духовном и телесном, искать и находить «противоречия» у Толстого не составляет большого труда. Несколько сложнее (зато и плодотворнее) осознавать, что и эти противоречия — часто лишь кажутся таковыми, сопрягать их, видеть цельность толстовских суждений.

Физическая работа, телесные упражнения на протяжении всей жизни привлекают Толстого. В чем, в чем, в невнимании к своему телу, к его развитию, постоянному укреплению Льва Николаевича не упрекнешь.

Отвечая неизвестному молодому человеку, спросившему, надо ли заботиться о здоровье, он объясняет: только в здоровом теле может расцвести и дать плод высший дар природы, наша духовная жизнь. «По-моему, тело человеческое есть такая же святыня, как и дух, с которым оно нераздельно... И потому я считаю, что человек никогда не имеет права пренебрегать своим здоровьем, если только это пренебрежение не нужно для дела Божия, как жертва...»

На протяжении жизни Толстой постоянно на себе проверяет (мы уже не раз убеждались в этом) ему самому, как никому другому, особенно свойственную взаимозависимость состояний тела и духа. Когда ему не работается, его настигают болезни, но и причину того, что не работается, он ищет в переменах и утратах своего самочувствия. «Я все это время духом смущен, растерян. Должно быть, нездорово тело. Я ездил в Москву, советовался с Захарьиным». Однажды, в поздние годы, он выразил ту же мысль попросту — задорно и крепко: «Я по себе знаю: когда болит живот, я утром гуляю и по дороге вижу одни собачьи экскременты, а когда здоров и в хорошем духе, на снегу блестят бриллианты».

Но одновременно, более того — несравненно чаще, совсем иные суждения.

«В здоровом теле — здоровый дух... Я не люблю эту поговорку. Это неверно. В здоровом теле редко бывает здоровый дух. Чем здоровее тело, тем меньше духовной жизни...»

Нечто подобное — и в дневнике:

«Обыкновенно думают (и я всегда думал, прикладывая это к себе), что можно служить Богу и быть полезным людям, только будучи здоровым. Неправда. Часто напротив. Христос больше всего послужил Богу и людям, будучи совсем умирающим — на кресте, когда он прощал убивающих его. То же может сделать всякий человек больной. И нельзя сказать, какое состояние, здоровья или болезни, более удобно для служения Богу и людям».

На первый взгляд, все здесь прямо противоположно словам его, приведенным прежде, но на самом деле пропасти неодолимой, столкновения нет — главная мысль та же, только взята, что называется, с другой стороны.

В самые опасные дни крымской болезни он заносит в дневник:

«Надо проболеть тяжелой болезнью, чтобы убедиться, в чем жизнь: чем слабее тело, тем сильнее становится духовная деятельность».

И — страницей выше — поясняет, размышляет с пером в руке, намечая дорогу к выводу: «Огонь разрушает и греет. Так же и болезнь. Когда здоровый, стараешься жить хорошо, освобождаясь от пороков, соблазнов, то это делаешь с усилием и то как бы приподнимаешь одну давящую сторону, а все остальное давит. Болезнь же сразу поднимает всю эту давящую чешую, и сразу делается легко, и так страшно думать, что, как это знаешь по опыту, как только пройдет болезнь, она *<чешуя пороков, соблазнов>* опять наляжет всей своей тяжестью».

Болезнь для человека (Толстой, конечно, ни на минуту не забывая про собственные «пороки, соблазны», все, о чем думает, прежде всего к себе «прикладывает») — время очищения, предлагаемая духу возможность сделать шаг ввысь, с новой, более высокой точки, освободившись от тревог мирской суеты, окинуть взглядом свою жизнь, глубже проникнуть в ее смысл, точнее определить свое поведение в ней. «Лежу теперь больной и все новые и новые мерзости моей жизни выступают из сумрака забвения. Удивляешься, как мог в одну жизнь наделать столько скверного».

Он находит для болезни «сравнение самое простое — коромысло весов»: «Чем больше тяжесть на конце телесном, тем выше поднимается конец духовный».

Тяжело заболевшей невестке советует: «Я бы желал, чтобы ты воспользовалась своей болезнью как можно лучше и вынесла бы из нее освежение и укрепление души. Я всегда испытываю это... Душа наша, как дети, растет во время болезни».

Толстой придает особое значение этому духовному движению, потому что при нынешнем мироустройстве люди все более живут плотской жизнью, пренебрегая жизнью внутренней, духовной, душевной, без которой невозможно подлинное служение другим, обществу. Стремление усовершенствовать эту плотскую жизнь производит целую систему удобств и удовольствий, цель которых — служение собственному телу.

«Пренебрежение к здоровью тела лишает возможности служить людям», — духовная проповедь Толстого предполагает и подъем по лестнице телесного здоровья: неслучайно, важное место в ней отведено физическому труду, умеренности в еде, половому воздержанию вне брачной жизни, отказу от алкоголя, табака и иных средств одурманивания, привычке закалять свои мышцы работой, не расслаблять себя чрезмерными удобствами.

Но: излишняя забота о своем теле приводит к такой же невозможности служить всему, что за его пределами. Болезнь тела (необходимо отличать болезнь от пренебрежения к здоровью), даже самая тяжелая, не может помешать человеку исполнять свой долг, наполнять жизнь смыслом (в крайнем случае, «не можешь служить людям трудами, служи примером любовного терпения»), тогда как «болезнь мысли», духовная недостаточность, ложный взгляд на мир и свое положение в нем мешают нам выполнить главное свое предназначение. И медицина, если она сосредоточивает наше внимание на телесных отправлениях, раздумьях о болезнях, поисках лечения, отвлекает каждого из нас от нравственного совершенствования себя, а без этого не может быть здоровым мир, в котором мы живем.

Новый ад

Осенью 1902 года, понемногу оправляясь от тяжелой болезни, Лев Николаевич работает над легендой «Разрушение ада и восстановление его». Адом становится наш сегодняшний мир, в котором умственные и материальные изобретения человечества, даже самые полезные, оборачиваются не на благо ему, а во зло.

Главное зло, которое тревожит, Толстого, покоя ему не дает, в том, что достижения человечества, способные, по замыслу, крепче соединить людей, на деле все более разъединяют их.

В легенде, написанной в сатирическом тоне, дьяволы, каждый из которых обращает во вред какую-либо из освоенных людьми областей жизни, докладывают о своих «подвигах» Вельзевулу, «отцу и повелителю всех дьяволов».

Дьявол технических усовершенствований, к примеру, внушает людям, что, чем больше понаделают они разных вещей, тем для них луч-

ше. И люди, губя свои жизни, спешат производить вещи, которые не нужны тем, кто заставляет их делать, и недоступны тем, кто их делает. Дьявол путей сообщения убеждает людей, как можно чаще и с большой скоростью переезжать с места на место. И люди, вместо того, чтобы улучшать жизнь там, где довелось им жить, заняты переездами и гордятся, что могут проехать пятьдесят верст в час. Дьявол искусства, под видом утешения людей и пробуждения в них возвышенных чувств, потворствует людским порокам, изображая их в привлекательном виде. И т.д.

Толстой вовсе не против изобретений и открытий, которыми с растущей скоростью одаривает себя человечество. Он против того, чтобы эти открытия опережали, оттесняли, а то и просто заменяли неторопливое и всеобщее уяснение смысла жизни. Против того, чтобы новинки техники и удобства быта, часто доступные немногим, принимались за движение человечества вперед. Об этом и в дневнике:

«Машины, чтобы делать что? Теле-графы-фоны, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы учить чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей для того, чтобы делать что?..»

Остро, конечно, преувеличено, но как иначе передать веление здравого смысла: прежде чем заботиться о средствах, следует задуматься о цели.

Последний, завершающий вопрос разителен: «Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?»

Он все в ту же точку: *зачем я? С* этой точки и надо начинать движение.

В легенде о восстановлении ада, само собой понятно, не обходится и без дьявола медицины. «Дьявол медицины объяснил, что их дело состоит в том, чтобы внушать людям, что самое нужное для них дело — это забота о своем теле. А так как забота о своем теле не имеет конца, то люди, заботящиеся с помощью медицины о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной».

Человек, сосредоточенный на такой заботе, по мысли Толстого, отдаляется от других людей и при этом теряет себя как личность.

Вопросы и ответы. Мечников

Уяснить взгляд Толстого на медицину помогает его отношение к трудам Ильи Ильича Мечникова. Замечательный русский ученый жил за границей, в Париже. В 1909 году, получив присужденную ему за открытия в области биологии Нобелевскую премию, он приезжает в Россию, и, похоже, едва ли не главная цель приезда — увидеть Толстого,

побеседовать с ним. Мечников объясняет: с молодых лет интересуясь «общими вопросами о человеческих делах и особенно вопросом об основе нравственности, о смысле жизни и неизбежности конца ее», он давно хотел познакомиться с Толстым, в личном общении узнать его истинное отношение к этим вопросам.

Илья Ильич — внимательный читатель Толстого. В своих работах он неоднократно обращается к его размышлениям и высказываниям. Одна из статей ученого посвящена разбору некоторых произведений Толстого с точки зрения биологической и медицинской науки.

Нелишне также напомнить, что в повести «Смерть Ивана Ильича» нашла отражение, конечно, по-своему преображенная и переданная писателем история жизни и смерти старшего брата Мечникова (даже имя сохранено), то духовное движение, перемена в отношении к миру, которые происходили в нем по мере приближения конца. «Я присутствовал при последних минутах жизни моего старшего брата (имя его было Иван Ильич, его смерть послужила темой для знаменитой повести Толстого “Смерть Ивана Ильича”), — рассказывает ученый. — 45-летний брат мой, чувствуя приближение смерти от гнойного заражения, сохранил полную ясность своего большого ума. Пока я сидел у его изголовья, он сообщал мне свои размышления... Мысль о смерти долго страшила его. “Но так как все мы должны умереть”, то он кончил тем, что примирился, говоря себе, что в сущности между смертью в 45 лет или позднее — лишь одна количественная разница».

В предисловии к своей книге «Этюды о природе человека» Мечников отметил, что Толстой дал «наилучшее описание страха смерти». Это очень важная оценка: проблемы продолжительности жизни, страха смерти — в числе важнейших проблем, рассматриваемых Мечниковым с позиций своей науки.

Но и Лев Николаевич — внимательный читатель Мечникова. То, над чем думает ученый, не может не интересовать его. Более того: не может не увлекать, пусть даже при крайне отрицательных оценках положений и выводов, которые Толстой находит в его трудах. «Человеческие дела», смысл жизни и конец ее — центр размышлений Толстого, занят ли он чисто философским или художественным исследованием мира. Его сближает с ученым убежденность, что необходимо одолеть царящую в обществе несправедливость, что люди, каждый из нас, должны изменить правила жизни, положить в их основу умеренность и самоограничение. Но путь, на котором ищет ответы на вопросы жизни Толстой, не просто не совпадает с путем, которым идет Мечников, но исключает его.

«Он очень образованный и ученый человек, но он не понимает того, что нужно людям, — определяет Толстой идеи Мечникова. — Горе не в том, что мы живем мало времени, а в том, что мы плохо живем, живем

против себя и своей совести. Мы наполняем свою жизнь делами, которых не надо бы было делать, или тратим ее на шумиху слов. Одно надо, чтобы проснулось сердце человеческое и чтобы там засела мысль о Боге. Чтобы эту вот мысль человек признал единственным своим руководителем, единственной властью над собой и жил по ее указаниям».

Мечников же полагает, что все мировые религии лишь потому и привлекают людей, что обещают им загробную жизнь. Это обещание есть не что иное, как «утешение человечества ввиду неизбежности смерти». Смерть не может пугать нас, поскольку небытие есть ничто. Причина боязни смерти не в ней самой, а в природе человека, в присущем ему инстинкте самосохранения. И вера в Бога — всего лишь защитная реакция стремящегося сохранить себя организма. Страх смерти — следствие того, что человек не проживает положенного срока. Из-за несправедливого общественного устройства, неправильного образа жизни люди умирают преждевременно, не достигают возраста, когда смерть становится для них естественной и желанной. Мечников вспоминает библейских патриархов, которые умирали, «насыщенные жизнью». Он высказывает уверенность, что наука, отыскивая средства продления жизни, победит страх смерти.

Мысль, что наука, улучшая организм человека, продлит сроки нашего существования, освободит нас от страха смерти и подвинет к постижению смысла жизни, вызывает страстное, насмешливое даже, неприятие Толстого: «Ну, а как же до этого жить всем?.. А что как, по вашей же науке, солнце остынет, мир кончится до полного усовершенствования человеческого организма?..»

Основной причиной преждевременного старения Мечников считает яды гнилостных бактерий, гнездящихся в толстой кишке; сама кишка, по его мнению, относится к органам, которые достались нам от предков и ныне совершенно бесполезны; она без всякого вреда может быть удалена из организма.

Дальнейшие исследования покажут, что Мечников заблуждается в этих своих посылках. Но для Толстого важны не ученые предположения и опровержения: для него здесь почти художественной силы образ несовершенства медицинской науки с ее обращенностью не к духу, а к телу.

«Думали прежде вас, г-н Мечников, и думали не такие дети по мысли, как вы, а величайшие умы мира, и решали и решили вопрос о том, как обезвредить старость и смерть, только решали этот вопрос умно, а не так, как вы: искали ответа на вопрос не в заднице, а в духовном существе человека».

Это он — в дневнике. Существо сказанного точь-в-точь совпадает с тем, что сказано им о трудности работы скульптора: «должен передать душу человека, а ему нужно лепить его задницу» (даже крепкое словцо кстати). Продолжает:

«Смерть (и старость) не страшны и не тяжелы тому, кто, установив свое отношение к Богу, живет в нем, знает, что то, что составляет его сущность, не умирает, а только изменяется... Умереть легко и хорошо, когда знаешь, за что, зачем умираешь, и самой смертью своей делаешь предназначенное себе дело...»

Их единственная встреча, 30 мая 1909 года, — этот день Мечников проводит в Ясной Поляне — не омрачена острыми спорами. Ожидая гостя, Толстой готовится «не оскорбить его неуважением к его деятельности, на которую он посвятил жизнь и которую считает очень важной». Едва познакомившись с ним, отмечает: «Он мне очень симпатичен», «приятен и как будто широк». В беседе они взаимно проясняют свои взгляды и разногласия. Сойтись им вроде бы не на чем. Толстой хочет выяснить религиозно-нравственные основы научных исследований Мечникова — и не находит их («арелигиозный» — охарактеризует его в дневнике). Мечников же видит свою задачу в том, чтобы убедить Толстого, что именно наука может привести человека к нравственному пониманию жизни, — и, понятно, тоже не преуспевает.

Но, как говаривает Лев Николаевич, — «крайности сходятся». Толстой, по воспоминаниям Мечникова, в конечном счете нашел много общего в их мировоззрениях. Но яснополянская беседа обозначила и решающую разницу их точек зрения. Идеи Мечникова основаны на первичности материального, толстовские идеи — на первичности духовного.

Общие положения. Из предисловия к статье Карпентера

Он произносит однажды огорченно и задорно: «Вот что удивительно: я всю жизнь стремился к знанию, искал и ищу его, а так называемые люди науки говорят, что я отрицаю науку; я всю жизнь занят религиозными вопросами и вне их не вижу смысла в человеческом существовании, а так называемые религиозные люди считают меня безбожником».

Наука и религия не случайно поставлены рядом: Толстой, высказываясь, отмечает не факт биографии, а связь понятий. Наука и религия, для многих, для большинства, противостоящие одна другой, более того, одна другой враждебные, пребывающие в состоянии вечной войны, по Толстому начинают, продолжают и завершают одна другую: «Науку нельзя противопоставить религии. Обе одно — просвещение».

Не забудем, что религия для Толстого прежде всего этическое, нравственное начало, постоянные поиски любовного объединения людей: «Одно для всех людей учение о том, что такое жизнь человеческая и как надо проживать ее, и есть настоящая вера». Потому-то он и зовет

не искать Бога в храмах, а искать Его в себе самом. Одна из важнейших религиозных книг Толстого знаменательно названа «Царство Божие внутри вас». Сущность религии — в предвидении и указании пути, по которому должно идти человечество, чтобы установить новое, справедливое мироустройство.

Разговор о связи религии и науки, то есть, по существу, о нравственности в науке Толстой ведет в предисловии к статье английского поэта и публициста Эдуарда Карпентера «Современная наука» (статья с предисловием напечатана в мартовском номере журнала «Северный вестник» 1898 года). Читая корректуру, Лев Николаевич сокрушается, что оскорбляет, огорчает многих «добрых заблудших»: «Очевидно, 0,999 не поймут, во имя чего я осуждаю нашу науку, и будут возмущены. Надо было сделать это с большей добротой. И в этом я виноват...»

Начиная предисловие, он пишет об укоренившемся с развитием опытных наук убеждении (по-Толстому: «суеверии»), «что для блага человечества совсем не нужно распространение истинных религиозных и нравственных знаний, а нужно только изучение опытных наук, и что знание этих наук удовлетворяет всем духовным запросам человечества».

Речь, по сути, о том, что повторится несколько десятилетий спустя и останется памятным старшим поколениям как «спор физиков и лириков». Повторяемость явления предопределена размахом и скоростью движения научной мысли: увлечение новыми поражающими открытиями науки и замечательными практическими результатами, которые они приносят, возобладает над интересом к «вечным вопросам», нравственным и гуманистическим.

Толстой не отрицает успехов современной науки — тысячелетия не принесли того, что сделано за последнее столетие. Но была ли при этом наука сосредоточена на главном вопросе: как сделать жизнь человеческую добрее и счастливее. Когда же вопрос этот не поставлен, оказывается, что научные достижения приводят на практике к еще более тяжелой эксплуатации миллионов тружеников, уничтожению богатств природы, усовершенствованию орудий уничтожения людей, приумножению роскоши и разврата. В иных же случаях наука занята лишь удовлетворением «праздного любопытства»: ее выводы не только не приносят пользы людям, но никак не соотносятся с жизнью большинства живущих на земле.

Здесь, справедливо предполагает Толстой, собеседник, с которым он ведет мысленный спор, непременно вспомнит, предъявит главный козырь:

« — А медицина? Вы забываете благодетельные успехи медицины? А прививки бактерий? А теперешние операции? — восклицают, как обыкновенно, защитники науки в последней инстанции, в доказательство плодотворности всей науки выставляя успехи медицины».

Послушаем ответ Толстого.

«“Мы можем прививкой предохранять от болезней и излечивать, можем безболезненно делать операции — разрезать внутренности, очищать их, можем вправлять горбы”, — говорят обыкновенно защитники науки, почему-то полагая, что вылеченное от дифтерита одно дитя из тысячи тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей в благотворности науки вообще.

Строй нашей жизни таков, что... детские болезни, сифилис, чахотка, алкоголизм захватывает все больше и больше людей, что большая доля трудов людей отбирается от них на приготовление к войне, что каждые десять-двадцать лет миллионы людей истребляются войною. И все это происходит оттого, что наука, вместо того, чтобы распространять между людьми правильные религиозные, нравственные и общественные понятия, вследствие которых сами собой уничтожились бы все эти бедствия, занимается, с одной стороны, оправданием существующего порядка, с другой — игрушками; и нам в доказательство плодотворности науки указывают на то, что она исцеляет одну тысячную тех больных, которые и заболевают-то только оттого, что наука не исполняет свойственного ей дела.

Да если бы хоть малую долю тех усилий, того внимания и труда, которые кладет наука на те пустяки, какими она занимается, она направила бы на установление среди людей правильных религиозных, нравственных, общественных, даже гигиенических понятий, не было бы сотой доли тех дифтеритов, маточных болезней, горбов, исцелением которых так гордится наука, производя эти исцеления в своих клиниках, роскошь которых не может быть распространена на всех».

Много ли найдется на это возражений у современной медицинской науки, — имеем в виду науку подлинную, которая непременно связывает свои исследования и выводы с общественными и нравственными задачами? Завершая предисловие, Толстой как раз и зовет ученых перейти от науки опытной, которая считает своим делом изучение того, что есть, к науке единственно разумной и плодотворной, предмет изучения которой — *как должны жить люди*...

Нешутливый разговор

Лев Николаевич сочиняет однажды — сам для себя — полушутливый диалог:

Доктор. Вы больны?

Больной. Да.

Доктор. Лечитесь, принимайте лекарства.

Больной. Что ж я от лекарства никогда не буду болен?

Доктор. Нет, будете, но вылечитесь от этой болезни.

Больной. Наверное?

Доктор. Наверное мы никогда не можем сказать, но есть большое вероятие.

Больной. Не стоит лечиться, если только вероятие.

Доктор. Вы ничего не теряете, испытав.

Больной. Нет, теряю. То лекарство, которое вы предлагаете, всегда ли и всеми признавалось?

Доктор. Нет, только в последнее время нашей истинной школой медицины.

Больной. Вот видите, если я знаю, что в прежнее время лечили другим, противная школа (гомеопатия) тоже лечит другим и признает предлагаемое вами лечение вредным, то я, несомненно, теряю, слушаясь вас. Во-первых, вероятие, что ваше лекарство полезно, такое же, как и то, что оно не полезно; во-вторых, есть даже вероятие, что оно вредно»...

В форме явно окрашенного насмешкой разговора Толстой хочет закрепить некоторые волнующие его мысли. Прежде всего, конечно, о медицине и своем отношении к ней. Но в еще большей степени — об относительности истины в науке вообще и в медицинской, в частности. Медицина, будучи непосредственно связана с жизнью и смертью человека, особенно его тревожит.

Само понятие «опытная медицина» усвоено сознанием Толстого, утвердилось в его памяти, скорее всего при чтении книги крупнейшего физиолога того времени Клода Бернара «Введение по изучению опытной медицины». Книгу перевел на русский язык близкий друг Толстого, философ, публицист и литературный критик Николай Николаевич Страхов.

В физиологии Толстой ищет ответ на вопрос о взаимоотношении сознательного и бессознательного. В середине 1870-х он берется было за статью «Разговор о науке». В черновом наброске читаем: «Физиология говорит, что она знает ход деятельности нервов, но вопросы о свободе или несвободе человека вне ее области».

Замысел статьи, возможно, связан с работой над романом «Анна Каренина», который в ту пору пишется. В одной из начальных глав романа Левин слушает и по-своему осмысляет ученую беседу о взаимоотношении психического и физиологического в деятельности человека. Толстой объясняет, что беседа была вызвана жаркой полемикой по этому вопросу, которая велась в журналах. Тогдашние читатели романа без большого труда догадываются, что Толстой имеет в виду полемику между историком и публицистом Константином Дмитриевичем Кавелиным и физиологом Иваном Михайловичем Сеченовым. Кавелин напечатал статью «Задачи психологии», в которой утверждал, что «непо-

средственной связи между психическими и материальными явлениями мы не знаем». В ответной статье «Кому и как разрабатывать психологию» Сеченов доказывал противное: все психические акты совершаются «по типу рефлексов», следовательно, доступны и подлежат физиологическому исследованию.

Тема (между прочим, тоже в шутливом тоне) задана уже на первых страницах романа. Стива (Степан Аркадьич) Облонский вспоминает свое объяснение с женой, уличившей его в неверности. «Он *не сумел приготовить свое лицо* к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал! — его лицо совершенно невольно (*"рефлексы головного мозга"*, — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой».

«Рефлексы головного мозга» — книга русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова (Клод Бернар, к слову, один из его учителей), в которой выясняется рефлекторная природа сознательного и бессознательного. Книгой зачитывались в шестидесятые годы XIX столетия, в особенности демократически настроенная молодежь. Труд Сеченова почитался своего рода «манифестом» материализма русской науки.

Вопрос о том, насколько свободен человек в своих поступках или подчиняется в своих решениях определенным физиологическим закономерностям, для Толстого один из важнейших вопросов. Ответ на него помогает писателю уяснять судьбы своих героев, по-своему воплощенные в поступках, уточняет общий замысел произведения.

Еще в эпилоге «Войны и мира», размышляя об истории, о жизни народов и человечества, Толстой обращается к физиологии, психологии, теории нервной деятельности. Он хочет понять, действуют ли в истории такие силы, как воля, совесть, духовный опыт, или «души и свободы нет, потому что жизнь человека выражается мускульными движениями, а мускульные движения обусловливаются нервной деятельностью».

Заглянув в черновики эпилога, понимаем, насколько глубоко исследует Толстой проблему. Он пишет о «сложной упорной работе» в поисках «новой истины» и называет при этом труды Дарвина, Сеченова, Вундта (психолог, автор книги «Душа человека и животных»). Но понимаем и другое — как чутко следит Толстой за движением науки, за упорной работой ученых. Упомянутые труды, к которым он обращается, которые уясняет, включает в систему собственных поисков истины, тогда, в годы создания «Войны и мира», только выходят в свет, обозначают новейшие рубежи научной мысли.

Много позже («Анна Каренина» уже два десятилетия как написана) Толстой читает статью Страхова «Клод Бернар и методы опытов». Читает внимательно, хотя о Клоде Бернаре знает «более или менее главную мысль» (его слова), кое-что просит разъяснить. Страхов пишет в ответ: «Вы всегда найдете важное и больное место!» и между прочим сообщает интересное суждение Клода Бернара: материя подчас обнаруживает, позволяет наблюдать явления, которых она не производит.

Мысль для Толстого очень важная: причина и следствие связаны не столь очевидно, как это может представляться на первый взгляд. Подобно художнику Михайлову, всё в той же «Анне Карениной», который, открывая сущность изображаемого на портрете лица, будто откидывает то, что скрывает эту сущность, наука на каждом этапе своего развития все глубже и с иной точки зрения проникает взглядом в изучаемые явления.

Толстой пишет, ссылаясь на Клода Бернара, что лучшие ученые признают: с какой тщательностью не исследовали бы мы самую простую клеточку, в ее основании всегда останется нечто, *х* (икс), которого мы не знаем. Следовательно, весь организм в совокупности есть *х* в степени *х* — бесконечно заново открывающийся науке предмет изучения.

Не к отрицанию медицины приводит нас шутливый разговор, намеченный однажды Толстым, а к признанию этим «отрицателем» неисчерпаемых и неисповедимых возможностей науки.

Истины своего времени

«Я восстаю против того, чтобы теперешняя наука считалась непогрешимой истиной (она ведь меняется), и на меня нападают, что я противник науки, я же против лжи в науке», — объясняет свою позицию Толстой.

И едва ли не главная ложь для него — именно это сознание непогрешимости, всезнайство, которые сами по себе отрицают развитие, движение. Ему, по словам его, всегда бросалось в глаза, что на всем историческом пути человечества, то, что считалось научной истиной в предшествующем поколении, оказывалось заблуждением в следующем. Так неужели то, что в наше время считается наукой, все правда? — спрашивает он с вызовом. И, по обыкновению, задиристо кивает на медицину: теперь смеются над кровопусканием, без которого еще на его памяти не обходилось никакое лечение, а через пятьдесят лет будут смеяться над бациллами.

Замечательно, что Чехов, который, как правило, отвергает нападки Толстого на медицину, в этом ему вторит. Перечитывая «Войну и мир», пишет приятелю: «Если бы я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводивше-

го дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина! Толстой, пока писал свой толстый роман, невольно должен был пропитаться насквозь ненавистью к медицине».

Но за плечами Толстого к тому времени, когда Чехов пишет эти строки, не только роман, работая над которым он изучил множество свидетельств современников запечатленных им событий, за его спиной — долгая жизнь, в которой он своим зорким взглядом постоянно замечает движение, перемены во всем, и в медицине тоже.

В нем живет непреходящий интерес к этим переменам, к тому новому, которое приходит на смену старому. Он выщупывает мыслью уходящее, и наступившее, и то, что, невидимое многим другим, только приближается к порогу. Он связывает, как всегда, частное с общим, соединяет все, что узнает, что обдумывает, *радиусами с центром* — с неизменно творимым учением о жизни.

Ведя речь о медицине, не забудем десятки медицинских книг на полках яснополянской библиотеки, приобретаемых им и его домашними, но безмерно чаще присылаемых авторами. Он, конечно, не успевает читать многие из них, пусть даже большинство, что-то просто перелистывает, просматривает, иногда довольствуется одной-двумя на ходу схваченными фразами, но не забудем также проницательной зоркости Толстого, его умения тотчас замечать *самое больное и важное*.

Про интерес Толстого к новым открытиям медицины замечательно свидетельствует один из виднейших русских врачей 19-го столетия, Николай Андреевич Белоголовый, — он пользовал многих выдающихся деятелей своего времени. Толстой заходит к нему осенью 1894 года, желая узнать мнение специалиста о болезни сына Льва.

«Передо мной сидел коренастый, бодрый старик характерного типа великорусского мужика, с очень смуглым, загорелым цветом лица, с крупными неправильными чертами, с большим некрасивым носом и с большим выпуклым лбом — и это лицо, в сущности не имевшее права быть названным красивым, освещалось такими глазами, или вернее, выражением глаз, которые делали его привлекательнее красивого; взгляд их был глубокий и выражал большую нравственную и умственную силу, лежащую внутри этого человека, который невольно притягивал к себе», — рассказывает Белоголовый.

В начале беседы доктор (он шестью годами младше Льва Николаевича) жалуется между прочим, что вследствие тяжелого переутомления вынужден в последние годы почти полностью отойти от дел. «Ну вот, — горячо отзывается Лев Николаевич, — а я так на себе убедился, что никогда так ясно и так легко не работал мой мозг, как в этот период моей жизни, то есть между шестьюдесятью и семьюдесятью годами».

И тут же спрашивает заинтересованно: «Но вы все же следите за успехами вашей науки?»

Разговор о болезни сына скоро поворачивает к проблеме наследственности, и Лев Николаевич спешит заявить, что ни в какую наследственность не верит. В доказательство вспоминает судебный процесс, где подсудимый в свое оправдание толковал о наследственности — его отец, как и он, привлекался к суду за покушение на убийство. Доктор Белоголовый, в полном согласии с собеседником, также отвергает теорию наследственных преступных типов, но объясняет при этом, что научная медицина понятие наследственности рассматривает иначе. «Как самое бьющее в глаза доказательство», он приводит сифилис: болезнь родителей «передается детям часто в разных маскированных формах вырождений, которые для врачей несомненны», — их изучение сильно подвинулось вперед за последнее время.

«Толстой очень внимательно меня выслушал, но ничего не возразил, как мне показалось потому, что вопрос ему с этой стороны до сих пор ни разу не представлялся».

Продолжение разговора приводит собеседников к весьма подробному обсуждению новых методов лечения нервных заболеваний, значимости вакцин и сывороток, в частности оспопрививания и новых тогда прививок против дифтерита... И снова Толстой оказывается терпеливым, внимательным слушателем. При этом он охотно соглашается с замечанием Белоголового о вреде, который могут нанести выводы недостаточно осведомленных людей, когда речь идет о специальных медицинских вопросах: «Это верно, ведь мы профаны и совершенно незнакомы с цифрами вашей статистики».

Сделанную по горячему следу запись беседы доктор Белоголовый завершает словами: «Из этой записи видно, что *говорил больше я,* но я говорил только потому, что чувствовал, что передо мной был человек большого ума, чрезвычайно искренний — и меня, в защите достоинства науки, невольно подмывало желание вызвать его на объяснение более детальное своих взглядов, потому что многое, высказанное мною, должно было идти в разрез с ними. Но он перчатки не поднял, внимательно меня выслушал, но не возразил».

Доктор Белоголовый, предубежденный против взглядов Толстого, беседуя, ждал полемики, но Толстой пришел к нему услышать о новых успехах медицины, а не опровергать их.

На празднике науки

Зимой того же 1894 года Толстой появляется на заседании Девятого съезда естествоиспытателей и врачей, проходившего в Москве, в Колонном зале Благородного собрания. Его привлек доклад профессора-

математика В.Я.Цингера «Недоразумения во взглядах на основания геометрии». Привлекательной оказалась не только тема — Толстой всегда интересовался математикой, но и тот факт, что доклад посвящен памяти великого Лобачевского, о котором Лев Николаевич хранит добрые воспоминания как о ректоре Казанского университета.

Он немного опаздывает к началу заседания. Студенты-распорядители, посовещавшись между собой, решают провести его на эстраду. Климентий Аркадьевич Тимирязев, председательствующий на съезде, увидев Толстого, направляется к нему навстречу и усаживает рядом с собой за столом президиума. Публика, переполняющая зал, разражается громом рукоплесканий. Лев Николаевич несколько растерян, но справляется с собой, встает и трижды кланяется — прямо, направо и налево. Участники заседания не могут не заметить несколько комического соседства толстовской блузы, подпоясанной тонким ремнем, и его простецких штанов с черными сюртуками сидящих рядом. Лев Николаевич, вспоминая, пошучивает: «Пропасть народу, все фраки и все точно именинники... Не «праздник науки», а какая-то «ученая масленица»... Но это — шутка. На самом деле на съезде празднует наука. Толстой празднует вместе с ней, делает ее праздник более значимым.

В этот день на общем заседании читаются и другие доклады: академика Н.Н.Бекетова «Химическая энергия в природе», профессора М.А.Мензбира «Современные направления в биологии», профессора А.И.Чупрова «Статистика как связующее звено между естествознанием и обществоведением». Можно не сомневаться, что Толстой с обычным проницательным вниманием выслушивает и эти сообщения.

Через несколько дней с ним происходит курьезный случай. По дороге из Москвы в Ясную Поляну он беседует в поезде с незнакомым господином и, когда разговор заходит о недавнем съезде естествоиспытателей, замечает, что особенно не понравился ему доклад профессора-физиолога Данилевского «Чувство и жизнь». В докладе с позиции естественных наук рассматривалась душевная деятельность человека, формирование нравственности. Каково же смущение Льва Николаевича, когда выясняется, что его случайный собеседник и есть профессор Василий Яковлевич Данилевский. «Очень умный и симпатичный человек, — пишет Толстой о случившемся сыну Льву. — Речь его получила такой резкий смысл потому, что она урезана. Мы приятно поговорили. И я вновь подтвердил себе, как не надо осуждать». Для нас, однако, не сам по себе курьез любопытен. Другое примечательно. Данилевский делал доклад не на том заседании съезда, которое посетил Толстой, но Толстому доклад известен. Он знакомится с ним по «Дневнику съезда», где все выступления публикуются в сокращенном — «урезанном» — виде. Совершенно очевидно, что в «Дневнике» им прочитаны и другие материалы (недаром доклад Данилевского ему

«особенно» не понравился). Интерес Толстого к развитию науки поистине огромен. Идея относительности науки, которую он настойчиво проповедует, не отрицание научных знаний, а признание скорости и непрерывности их развития.

Во время перерыва пьют чай. Тимирязев устраивает Толстого за кулисами на диване, распоряжается, чтобы ему подали кипятку с сахаром и лимоном: «Лев Николаевич чаю не пьет». Рядом на диване усаживают Ивана Михайловича Сеченова. «И вот два великих старца повели между собою оживленную беседу, — вспоминает один из тогдашних студентов-распорядителей. — Это произвело на нас, студентов, очень сильное впечатление. Ведь на съезде было очень много выдающихся ученых, съехавшихся со всех концов России, но наиболее интересным собеседником для Толстого оказался Сеченов. Их беседа продолжалась в течение всего перерыва, а потом пошли в Колонный зал слушать остальные доклады».

«Плоды просвещения»

«Через пятьдесят лет будут говорить про теперешнюю медицину с таким отвращением, как мы про колдовство», — энергично утверждает Толстой. Тем большее негодование вызывают у него попытки выдавать колдовство за последние достижения науки.

В середине 1870-х годов в России, особенно в высшем обществе, широко распространяется спиритизм. Образованные дамы и господа просиживают часами в темноте, вызывают для беседы дух умерших великих людей, родственников и знакомых, двигают пальцами блюдечко на круглом столике с надписанными буквами: из букв складываются слова, не всегда понятные фразы, которые тут же толкуются как провидческие. Странно, а для Толстого непостижимо, что веру в спиритизм пытаются оправдать и объяснить известные ученые. Профессор зоологии Н.П.Вагнер публикует в защиту спиритизма статью «Медиумизм», профессор химии А.М.Бутлеров — статью «Медиумические явления».

Такие статьи, по признанию Толстого, страшно его волнуют. «Встречи» с духами, беседы и переписка с ними, угадывание присутствия духов в почудившейся вдруг музыке, стуке стола или скрипе стула, весь этот спиритизм, который именитые профессора предлагают «подвергнуть *научному* исследованию» <*курсив Толстого*>, для Толстого то же самое, что вера мужиков в чертей: спросите в деревне — там чертей «видят беспрестанно», но отчего-то профессора не находят это «явлением, заслуживающим внимания».

Толстой «чуть было» сам не садится за статью о спиритизме, в голове она у него «вся готова», но статья не пишется, зато пишется не-

большая сцена в «Анне Карениной»: разговор о спиритизме возникает на вечере у князей Щербацких. С гостьей-графиней, рассказывающей про чудеса спиритизма, резко спорит Левин:

«— Мое мнение только то... что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в приворот, а мы...

— Что ж, вы не верите?

— Не могу верить, графиня.

— Но если я сама видела?

— И бабы рассказывают, как они сами видели домовых».

Желая смягчить тон беседы, Вронский пробует направить ее на ученый путь.

«— Вы совсем не допускаете возможности? — спросил он. — Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...

— Когда найдено было электричество, — быстро перебил Левин, — то было только открыто явление... и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что есть сила неизвестная...

— Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...

— А потому, — опять перебил Левин, — что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление».

(Читая диалог, не упустим из виду объема знаний об электричестве и его применении в то время, когда он пишется.)

В другой главе романа сатирически изображен сам спиритический сеанс. Оказавшийся его свидетелем Стива Облонский широко отворял глаза, желая разбудить себя, если он спит, и «чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо». При первой же возможности он, «как из зараженного дома, выбежал на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство».

Более чем десятью годами позже «Анны Карениной» пишется комедия «Плоды просвещения» — и здесь Толстой вновь сердито и непримиримо смеется над спиритизмом и теми, кто в него верит, над так называемыми «просвещенными» людьми — знатными господами, профессорами и кандидатами всевозможных наук.

В одном из главных действующих лиц, профессоре Кругосветове, не без оснований угадываются черты академика Бутлерова, убе-

жденно отстаивавшего спиритизм (в рукописях профессор поначалу именуется Кутлером, Кутлеровым), а также его друга, профессора Вагнера.

После публичного чтения комедии Вагнер, лично знакомый с Толстым, пишет ему: «Мне тяжело и больно было слышать, как вы с обычным вам художественным мастерством глумились надо мной и моим покойным другом А.М.Бутлеровым». Толстой сожалеет, что огорчил, хотя и нечаянно, человека, которого любит и уважает. Он отрицает, что намеревался вывести какое-либо определенное лицо, когда сочинял комедию. И это, конечно, правда. Черточки, совпадения, даже сходство фамилии — это вешки на пути к образу. Задачей же своей он ставил вывести не какое-то определенное лицо, а некий тип: «Профессор же является, как олицетворение того беспрестанно встречающегося и комического противоречия: исповедание строгих научных приемов и самых фантастических построений и утверждений».

Толстой заканчивает письмо исключительно миролюбиво: «Я скажу, как дети: простите, это в первый и последний раз, последний раз потому, что, раз высказавшись, я уже никогда не буду впредь говорить с вами о спиритизме, а если вы не лишите меня своей дружбы и общения, буду общаться с вами теми сторонами, которые у нас согласны». Но — общение прекращается. Между покаянным началом и миролюбивым концом в письме слишком много высказано о суевериях вообще и спиритизме в частности, и высказано с толстовской ясностью и неподатливостью. Он пишет о своем отвращении к суевериям, которые, прирастая с разных сторон к истинному учению, мешают ему проникнуть в души людей. «Суеверия это те же ложки дегтя, губящие бочки меду, и их нельзя не ненавидеть или, по крайней мере, не смеяться над ними... Не могу я не ненавидеть этих суеверий».

Бесчисленные страдания и духовное существо

Путь к истине в науке — как движение к идеалу: цель никогда не может быть достигнута, главное — не останавливаться, не сбиваться с курса. Понимание относительности знания больше приближает к цели, чем самодовольное заблуждение, будто обладаешь этим знанием во всей полноте. В медицине, полагает Толстой, относительность знания выказывает себя особенно зримо. Он даже не убежден, что медицина может быть названа «опытной» наукой. При химических опытах, например, всякий раз более или менее точно воспроизводятся одинаковые условия и, таким образом, есть основания весьма точно судить о результатах. В медицине прежде бывшие условия никогда не повторяются, «хотя бы из одного того, что меняется индивидуальность больного и с нею почти если не буквально, все».

Припомним, что пишет Толстой в «Войне и мире» о болезни Наташи — прочитаем написанное до конца, не обрывая многоточием. Докторам, объясняет он, не могла быть известна ее болезнь, «как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек; ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, *не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т.д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений и страданий этих органов*».

Среди любимых авторов Толстого — Блез Паскаль, французский математик, физик, мыслитель, живший в 17-м веке. Читая суждения этого «человека великого ума и великого сердца», собранные в книге «Мысли», Лев Николаевич, по его признанию, умиляется до слез, сознавая свое полное единение с ним. Из книги он выписывает мысль о бесконечности познания — доказательства Паскаль основывает как раз на возможностях медицины:

«У нас не хватает знаний, чтобы даже понять хоть только жизнь человеческого тела. Посмотрите, что нужно знать для этого: телу нужны место, время, движение, теплота, свет, пища, вода, воздух и многое другое. В природе же все так тесно связано между собою, что нельзя познать одного, не изучив другого... Жизнь тела нашего мы поймем только тогда, когда изучим все то, что нужно ему; а для этого необходимо изучить всю вселенную. Но вселенная бесконечна, и познание ее недостижимо для человека. Следовательно, мы не можем вполне уяснить себе и жизнь нашего тела».

Толстой идет дальше. Поскольку каждый человек неповторим, наше тело и, соответственно, наши болезни предлагают медицине «бесчисленные соединения и страдания».

Неизвестное — *«х в степени х»* — еще труднее постижимо, поскольку медицина должна быть обращена не только к физической, но в неменьшей степени к духовной, душевной жизни человека. Толстой убежден, что «едва ли не 50%, иногда больше, иногда меньше в каждом страдании зависит от духовных причин». Эти причины могут быть, в свою очередь, устранены «духовным лечением».

Именно духовными причинами (увлечение недостойным человеком, разрушившее ее любовь к князю Андрею) вызвана тяжелая болезнь Наташи Ростовой. Между тем болеет Наташа всерьез: «она не ела, не спала, заметно худела, кашляла». Ошибка докторов, ее пользующих, в том, что они подходят к делу, что называется, с другой стороны: лечат кашель, дурной аппетит, бессонницу. Молитва приносит исцеление не потому, что чудотворна сама по себе: она помогает Наташе разобраться в душевном неустройстве, обрести наде-

жду, подсказывает новый взгляд на жизнь. «Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастья».

Точно так же крушение любви становится причиной болезни Кити в «Анне Карениной», и на заграничном курорте, куда отправляют ее доктора, выздоровление ей приносит не медицина, а встреча с прежде незнакомой ей жизнью, сравнение своего положения с тем, что происходит в этой жизни. «Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила».

Толстой, по его словам, время от времени переживает состояние «чистки души». В «Воскресении», рассказывая о герое романа Нехлюдове, он объясняет: «Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки». В одном из вариантов романа Толстой определяет такое состояние как пробуждение подлинного духовного существа человека.

Болезнь, когда коромысло весов склоняется в сторону духовного и душевного, часто оказывается лучшим временем для такой внутренней перемены: не выпадение из жизни, а часть жизни. Все люди отделены друг от друга своими телами, но в каждом человеке живет то же самое, что живет во мне («в чем эта связь, я не могу ни понять, ни высказать, но знаю, что она есть»), все соединены общим духовным началом, которое дает жизнь всему; — убежден Толстой. Во время болезни, которая выявляет в телесном устройстве разных людей не поддающиеся обобщению «бесчисленные соединения и страдания», как раз в это время в самых несхожих людях пробуждается их подлинная духовная сущность, объединяющая людей на земле.

Именно так протекает болезнь Пьера Безухова — выздоровлением от нее завершается четвертый том «Войны и мира» (впереди — лишь эпилог).

Причина его болезни — не душевные тревоги, а физические лишения и напряжения, испытанные в плену и выказавшие себя, как это большею частью бывает, позже, когда эти лишения и напряжения остались позади. Тяжелая болезнь — медики именовали ее желчной горячкой — тянулась три месяца. «Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел», — с веселым вызовом, словно не в силах удержаться, замечает Толстой. Но реплика как бы со стороны. Из самого текста (в противоположность тому, что говорилось о Наташе) никак не явствует, что диагноз поставлен

неверно или что лечат нехорошо. Мы почти физически ощущаем испытываемую Пьером радость телесного обновления, когда он счастливым «Ах, как хорошо! Как славно!» приветствует мягкую чистую постель или чашку душистого бульона. Но пробуждение от болезни, как называет выздоровление Толстой («проснувшись от своей болезни»!), — это обновление духовное.

В те три месяца, пока тело немоществует и радостно вспоминает то, что прежде было его привычкой, душа Пьера перерабатывает пережитое им в горящей Москве, в плену, освобождается от многого, что мешало прежде видеть подлинное содержание и смысл жизни. В этом, а не только в спасении из плена, «радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье».

Раньше, думая о цели жизни, он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел вдаль, поверх голов окружающих людей, пишет Толстой о своем герое. Теперь, проснувшись от болезни, он понял, что надо не напрягать глаз, а только смотреть перед собой. Когда он смотрит так, в окружающих людях ему открывается их подлинное духовное существо, но и его подлинное духовное существо теперь открывается окружающим людям.

И потому «доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных...»

После болезни, а с нею и чистки души, коромысло весов выравнивается, в жизнь приходит новый человек, не утративший всех своих бесчисленных телесных особенностей, но освобожденный от прежней духовной обособленности: «Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь».

ПАССАЖИР ПОЕЗДА №12

«Все мы пассажиры в этой жизни.
Но один только входит в свой поезд,
а другой, как я, схожу».

Лев Толстой

Глава 1
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

«Спал хорошо...»

Толстой смолоду и до старости заботливо относится к своему сну. Чужой сон оберегает с неменьшим уважением. Близкие вспоминают, что он попросту не мог разбудить спящего. Дневниковые записи сплошь и рядом открываются пометой, сколько спал минувшей ночью и как спал:

«Лег поздно, спал дурно...», «Встал в 8-м...», «Дурно спал. Встал рано, не выспался и слаб...», «Спал хорошо до 5, потом бессонница, к утру заснул...», «Мало спал, но приятно возбужден...». Помета 37-летнего Толстого: «Встал нездоровый, столетний...». Помета Толстого 82-летнего: «Опять спал часа три, даже меньше, но головой свеж и бодр...». И т.п.

Накануне ухода из Ясной Поляны: «Встал очень рано. Всю ночь видел дурные сны». В напряженном, трагическом описании самого ухода опять-таки: «Лег в половине 12. Спал до 3-го часа». Подробности сна появляются и на страницах, отмечающих его последний, стремительный путь: «Я здоров, хотя не спал...», «Спал тревожно...», «Сонлив, а это дурной признак...» Пишется уже в Оптиной Пустыни: до Астапова, до конца пути, до конца — рукой подать.

Дневной сон тоже почти обязателен в толстовском распорядке дня. Присказка старого князя Болконского: после обеда серебряный сон, а до обеда золотой — скорее всего отражение собственного опыта.

В 1900-е годы в яснополянском обиходе дневной сон нередко обозначается шутливым выражением «ноги греть». «Так, ноги грел», — отзываются домашние, когда кого-нибудь из них спрашивают, спал ли он днем. Но для самого Толстого заснуть с молодых лет означает как раз противоположное — остудить ноги. Об этой — физиологической особенности (или привычке) читаем у доктора Маковицкого: «Был разговор о том, что делать для того, чтобы заснуть, когда бывает бессонница. Л.Н. сказал, что раньше он, когда не мог спать, ходил босыми ногами по полу, а теперь он просто студит их о железные прутья кровати и думает, что, когда ноги после этого начинают согреваться, кровь приливает к ним от головы, и засыпает».

«Моя теория о сне»

«Не переставая думаю о сне и сновидениях», — заносит Толстой в дневник уже в старости. Но мысли о предмете, который он считает необыкновенно важным, непрестанно занимают его смолоду. Разговор об этом предмете — уже в первом, неоконченном рассказе «История вчерашнего дня»; рассказ — начальный подступ к обнаружению «беспредельности» внутренней жизни человека, к тому, что вскоре, после «Детства», будет именоваться «диалектикой души».

На последних страницах (более пятой части текста) повествователь подробно описывает, как, возвратившись из гостей, укладывается спать, засыпает. Начальным аккордом — «Прекрасная вещь — сон во всех фазах: приготовление, засыпание и самый сон» открывается ряд картин, наблюдений, суждений; они объединены названием «моя теория о сне».

Человек воспринимает мир вокруг умом, чувством и телом. Смотря по тому, как отзывается человек на впечатления, «сознает» их, в нем действуют и три «сознания»: «сознание ума», «сознание чувства» и «сознание тела». «Сон есть такое положение человека, в котором он совершенно теряет сознание; но так как засыпает человек постепенно, то теряет он сознание тоже постепенно». Первым засыпает высшее «сознание ума», за ним «сознание чувства», последним — «сознание тела», и редко засыпает полностью, обычно оно так или иначе продолжает отзываться на то, что происходит вокруг.

В «Истории вчерашнего дня» подробно воспроизводится процесс засыпания, возникновения сновидения.

«Только что я лег, я думал: какое наслаждение увернуться потеплее и сейчас забыться; но только что я стал засыпать, я вспомнил, что приятно засыпать, и очнулся. Все наслаждения тела уничтожаются сознанием. Не надо сознавать; но я сознал, что сознаю, и пошло, и пошло, и заснуть не могу. Фу, досада какая!» Здесь — целая наука для тех, кто плохо засыпает: не следует проверять, оценивать рассудком свое физическое состояние, надо уметь отдаться на его волю.

Но желание спать берет свое. Он пробует снова. Говорит себе: «Морфей, прими меня в свои объятия». Ум еще не выключен — он услужливо преподносит очередное рассуждение: Морфей <*в античной мифологии — бог сновидений*> — «это божество, которого я охотно бы сделался жрецом». В дело вступает память: повествователь вспоминает, как обиделась какая-то барыня, которой сказали, что застали ее в объятиях Морфея. Барыня решила, что Морфей — такое же имя, как Андрей, Малафей (тут же — от себя: «Какое смешное имя!»). Воображение (чувственное), потеснив ум, застревает на «объятиях» — и «так ясно и изящно» представляет себе «до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку». Он потягива-

ется — сознание ума включается на мгновение и напоминает, что гувернер, следивший за ним в отрочестве, не велел потягиваться. Он успевает подумать, что гувернер похож на знакомого тульского кондитера. Затем картины наплывают одна на другую — верховая езда, охота, снова барыня со своими объятиями, гора, которую повествователь толкает руками (в скобках объяснение: «подушку сбросил» — пробудившееся сознание тела), его лакей в камзоле с лентой через плечо, впрочем, это уже не лакей, а снова барыня, «она». Тульский кондитер стреляет (в скобках: «ставня хлопнула»), начинаются танцы, повествователь вдруг чувствует, что у него панталоны коротки («раскрылись голые колени») — «нельзя описать, как я страдал», потом оказывается, панталон вовсе нет. «Не может быть, чтобы это было наяву; верно я сплю. Проснулся» (снова включается «сознание ума»).

«Моя теория о сне», намеченная в незавершенной «Истории вчерашнего дня», через несколько лет обретает гениальное творческое воплощение в рассказе «Метель». К замыслу произведения Толстого подтолкнул случай, происшедший с ним на пути с Кавказа в Ясную Поляну, когда из-за непогоды он «плутал целую ночь». Теория не осмысляется автором вслух, она таится за страницами рассказа, являет себя в описаниях и образах. Вместе с путником мы незаметно переходим из бодрствования в сон, из яви в сновидение. Дорожные впечатления вызывают быстрые, яркие воспоминания, соединяющиеся затем в общую картину, связное видение. Это видение — еще не сон. Все в нем для путника пока еще ясно, связано одно с другим, объяснимо. И все же это теперь и не воспоминание. В возникшей картине что-то происходит уже по своему «сюжету», не подчиняется ни воле, ни памяти засыпающего путника. Толстой передает состояние, которое, кажется, невозможно передать словами. Он удерживает видение на грани бодрствования и сна. Все вроде бы точно так, как в действительности, но тончайшие, едва уловимые подробности будто сдвигают возникшее в воображении в какое-то иное пространство, отделяют его от нас тончайшей пеленой, которую мы не видим, но ощущаем. Наступление сна обозначается превращением реальных образов видения, вызванных из глубин памяти внешними впечатлениями, в образы фантастические, «темные представления», — смысл их трудно поддается толкованию, но в них, конечно же, тайные желания уснувшего человека, чувства и побуждения, может быть, ему самому неведомые.

«О безнравственности во сне...»

Эту строчку, оборванную многоточием, находим в дневнике 1910 года. Не знаем, как намеревался Толстой продолжать, но знаем, *с чем* пришел к неоконченной записи.

На других страницах его тетрадей находим размышления об отсутствии в сновидении разумного нравственного усилия. Во сне человек думает, чувствует, действует, часто не сдерживая себя границами, которых не переступает наяву.

Толстой убежден: ничто так, как сновидения, не открывает тайн душевной жизни. Без изучения сновидений вряд ли возможно постигнуть человека во всех, часто им самим не сознаваемых возможностях, во всей его «текучести». В сновидениях, при их «безнравственности», в том смысле, какое вкладывает в это понятие Толстой, обнаруживаются особенности и устремления личности, которые заложены, существуют в человеке, но которые человек предпочитает не замечать, забыть, старательно прячет от сторонних глаз, от собственного взгляда.

Человеку, избравшему единственно действенный путь улучшения жизни, мира — совершенствование самого себя, стоит быть внимательным к сновидениям. «То, что о себе узнаешь во сне... гораздо правдивее, чем тò, что о себе думаешь наяву. Видишь во сне, что имеешь те слабости, от которых считаешь себя свободным наяву, и что не имеешь уже тех слабостей, за которые боишься наяву, и видишь, к чему стремишься. Я часто себя вижу военным, часто вижу себя изменяющим жене и ужасаюсь этого, часто вижу себя сочиняющим только для своей радости».

Но так ли безнадежно отсутствует в сновидении нравственная сила? Среди записанных им снов обнаружим и такой: «Я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т.п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь *<военная присяга, по убеждению Толстого, противоречит подлинному учению Христа>,* и тут же думаю, что должен сейчас отказаться от учения. И внутренняя борьба. И борьба, в которой верх взяла совесть».

Многоточие, оборвавшее строку о безнравственности во сне, означает, скорее всего, что мысль, которую намеревался записать, еще не уяснилась вполне. Знаем, как преимущественно думал об этом Толстой, но последнее слово не сказано, а человек «текуч», может быть, оттого и препнулся, что открылось мысли какое-то новое русло.

«Сопрягать надо»

Ночью перед битвой Николай Ростов едет верхом по линии цепи, в которой рассыпаны его гусары, старается не заснуть — и то и дело засыпает. В голове его странно соединяются, перетекают одно в другое, обретая новое значение, пятна цвета, предметы, слова.

«В левой стороне виднелся... черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог по-

нять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома?.. «Должно быть, снег — это пятно; пятно — une tache, — думал Ростов. — Вот тебе и не таш...» И следом: «Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... (Вот удивится, когда я скажу ей, как я увидал государя!) Наташку... ташку возьми...» (Напомним: ташка — еще и гусарская сумка.)

« — Поправей-то, ваше благородие, а то тут кусты, — сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов».

Интерес к «механизмам» сна, воспроизведение процессов засыпания, возникновения сновидений, пробуждения тут и там отзывается в художественных сочинениях Толстого.

С поразительной красотой и силой передано «волшебное царство», пограничное состояние между бодрствованием и сном, там же в «Войне и мире», в описании последней ночи юного Пети Ростова — на рассвете ему предстоит быть убитым в бою. «Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть, глаз огромного чудовища...» Цветовые образы сменяются музыкальными. Свист натачиваемой сабли, звуки капели, ржание лошадей, храп спящих гусаров сливаются с музыкой, звучащей в душе мальчика, начинает рождаться стройная мелодия, фуга (о чем Петя понятия не имел), слышатся голоса. «С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него...»

Припомним еще, как в «Воскресении» засыпает приехавший в деревню Нехлюдов. Здесь смело сопрягаются впечатления последних дней, круто вторгшиеся в жизнь героя, картины, рожденные и подсказанные воображением, наконец, то и другое, уже переработанное в образы сновидения. «Слушая соловьев и лягушек, Нехлюдов вспомнил о музыке дочери смотрителя *<тюрьмы, где содержалась Катюша Маслова>;* вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой, как у нее, так же, как кваканье лягушек (!), дрожали губы, когда она говорила: «Вы это совсем оставьте». Потом немец-управляющий *<имением Нехлюдова>* стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но сделался Масловой и стал упрекать его: «Я каторжная, а вы князь». «Нет, не поддамся», — подумал Нехлюдов, и очнулся, и спросил себя: «Что же, хорошо или дурно я делаю? Не знаю, да и мне все равно. Все равно. Надо только спать». И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, и там все кончилось».

В «Божеском и человеческом», рассказе о казни революционера Светлогуба, пробуждение героя в утро приведения приговора в испол-

нение связано с его последним сновидением, перед самым пробуждением. Сновидение — светлое, веселое. «Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой таз... Какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни, и подбрасывают кверху и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне... Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, ...с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю. И он просыпается, улыбаясь и слушая грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает всё».

И напоследок — снова «Война и мир»: уже почти хрестоматийное пробуждение Пьера на постоялом дворе, наутро после Бородинского боя. Он видит во сне старого масона, встреча с которым повернула его жизнь, слышит от него слова, которыми «разрешается весь мучающий его вопрос»:

« — Да, сопрягать надо, надо сопрягать.

— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство!..

Это был голос берейтора, будивший Пьера».

Куда движется время?

Еще раз вернемся к описанию сна Светлогуба. Пробудившись, герой сознает, что грохот упавшего таза с ягодами, от которого он проснулся, на самом деле звук отпираемых тюремных засовов и бряканье ружей солдат, явившихся, чтобы вести его на казнь. Получается, что весь сон с девочкой, собирающей черешню, «пристроился» спереди к грохоту, ставшему причиной пробуждения.

То же самое происходит с Пьером. Слова, которыми будит его слуга, преобразованные во сне («запрягать» — «сопрягать»), подводят итог каким-то чудом оказавшемуся впереди них сновидению, открывшему Пьеру нечто самое существенное в прошлой жизни и в жизни, еще предстоящей.

Перед нами удивительное явление, которое очень занимает Толстого. Он задумывается над необходимостью объяснить это как бы обратное движение времени в сновидении, когда «вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило».

За год до смерти он записывает свое сновидение: «Я приезжаю к брату и встречаю его на крыльце с ружьем и собакой. Он зовет меня идти с собой на охоту, я говорю, что у меня ружья нет. Он говорит, что можно вместо ружья взять, почему-то, кларнет. Я не удивляюсь и иду с ним по знакомым местам на охоту, но по знакомым местам этим мы

приходим к морю (я тоже не удивляюсь). По морю плывут корабли, они же и лебеди. Брат говорит: стреляй. Я исполняю его желание, беру кларнет в рот, но никак не могу дуть. Тогда он говорит: ну, так я, — и стреляет. И выстрел так громок, что я просыпаюсь в постели и вижу, что то́, что был выстрел, это стук от упавших ширм, стоявших против окна и поваленных ветром. Мы все знаем такие сны и удивляемся, как это сейчас совершившееся дело, разбудившее меня, могло во сне подготовляться всем тем, что я до этого видел во сне и что привело к этому только что совершившемуся мгновенному событию?»

Ответ дан сжато, все, что давно обдумывалось, оставаясь в сделанных для себя записях и пометках, нашло завершенную форму: «Этот обман времени имеет, по моему мнению, очень важное значение. А именно то, что времени нет, а нам представляется все во времени только потому, что таково свойство нашего ума».

Толстой предполагает, что жизнь в сновидении происходит вне времени; память, воображение, внешние воздействия рождают образы сновидения почти одновременно; пробуждаясь, мы усилием разума («сознанием ума») расставляем все явившиеся впечатления в нужной последовательности.

«Я от страха захотела проснуться...»

Мистические сны героев Толстого не столько объясняют, сколько в странных образах приоткрывают, дают почувствовать им смысл и даже исход происходящего.

«Анна Каренина» начинается воспоминанием пробуждающегося Стивы Облонского о только что виденном сне: званый обед, отчего-то на стеклянных столах, стеклянные столы поют любовную песню, и тут же «какие-то маленькие графинчики, и они же женщины». При всех искажениях, привнесенных сном, сновидение не ощущается фантасмагорическим, «нелепым». Через страницу-другую мы понимаем полное его совпадение с обычной жизнью Стивы. Да и сам Толстой тут же открыто говорит об этом, связывая сон и бодрствование Стивы в единое понятие проживаемой им жизни: «Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины: стало быть, надо забыться сном жизни».

Супружеская измена Анны переходит кошмаром в ее сновидения: ей снится, что оба, и Каренин, и Вронский, «оба вместе были ее мужья». Бодрствуя, она гонит от себя мысли о том, что произошло в ее жизни, «зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей». Это тот же «сон жизни» (как и сон Стивы), продолжающийся в сновидении.

Другой сон, который снится Анне, имеет таинственную власть над ее судьбой. Сон этот ужасен: маленький мужик с взъерошенной бородой копошится руками в мешке, делает что-то с железом и приговаривает по-французски. Ужас сна в том, что в нем не схватывается, внешне утрачена связь с действительностью.

Сон про мужика как бы наполнен обратным течением времени. Предчувствуемое в его странных образах будущее обгоняет настоящее: «Я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне».

Можно попытаться расшифровать странные образы сна. Они, видимо, сопрягаются с «железнодорожными» впечатлениями Анны: раздавленный поездом станционный сторож, появляющийся в романе одновременно с главной героиней, страшное забытье на обратном пути из Москвы в Петербург (после встречи с Вронским), когда вошедший в вагон истопник «оборачивается» опять-таки мужиком, который грызет что-то в стене. Слова про железо, которое надо «ковать, толочь, мять», произносимые во сне мужиком по-французски, отзовутся в подробностях гибели Анны: «Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие чугунные колеса...» Последний образ в ее угасающем сознании: «Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом».

Значение сновидения в дальнейшей судьбе Анны, ужас сновидения удваиваются его «парностью». За час до того, как Анна рассказывает свой сон Вронскому, ему снится почти точно такой же. Вронский только что расстался с иностранным принцем, к которому был приставлен и которому должен был доставлять «русские удовольствия», и, прежде чем ехать к Анне, прилег отдохнуть. «В пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул. Он проснулся... дрожа от страха... «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне?» Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова... Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине».

Сон, сновидения — частый и важный элемент сочинений Толстого. Не просто яркая, интересная, пусть даже необходимая подробность, нет, нечто большее, — ключ, помогающий проникнуть в глубины личности, судеб. Вот и в работе над «Анной Карениной» история со сном оказывается необходима Толстому уже в самом начале, когда многое в содержании романа вообще не определено, когда для героев еще имена не найдены. Но в раннем плане уже находим: «Ее сон опять».

«Во сне видел...»

«Очень яркие, последовательные сны», — отмечает Толстой в дневнике. Иногда пересказывает сновидения — весьма подробно или совсем коротко.

Вот ему снится, что он с четырьмя мужиками вытаскивает канатом съехавшую с пути конку. «Мы потянули — тронулись. Налегли еще раз — раз, два, три, задумались, но тронулись. Еще раз, и пошли. Только я уже не на улице, а в большом разливе. И мне хорошо. Хороший сон».

Или — несколько неожиданное: «Видел приятный сон: собаки лизали меня, любя».

Но, как правило, страницы дневника отдаются сновидениям, которые участвуют во внутренней работе Толстого, помогают ему в уяснении каких-то важных истин. Конфликт многих из них — стремление и вместе невозможность поддерживать любовные отношения в кругу людей, которые не готовы, не способны понять его. Семейные сюжеты отражают не житейский разлад в доме — жизненный.

«Видел сон, что я выгоняю сына; сын — соединение Ильи, Андрея, Сережи. Он не уходит. Мне совестно, что я употребил насилие, и то, что не довел его до конца... Вдруг этот собирательный сын начинает меня своим задом вытеснять с того стула, на котором я сижу. Я долго терплю, потом вскакиваю и замахиваюсь на сына стулом. Он бежит. Мне еще совестнее... Приходит Таня в сенях и говорит мне, что я не прав. И прибавляет, что она опять начинает ревновать своего мужа...» Толстой итожит: «Вся психология необыкновенно верна, а нет ни времени, ни пространства, ни личности...»

В том-то и дело, что психология необыкновенно верна — вне времени, пространства, личности. И «собирательный» сын. И стул, «на котором я сижу», но который, когда начинают вытеснять с него, оборачивается орудием насилия. И совестно — оттого, что на зло отвечал насилием, и вместе оттого, что не поборол им зла. И в финале — дочь с не идущим к событию, но необыкновенно сильно — творчески сильно — оттеняющим его неуместным здесь разговором о ревности, который она заводит.

В некоторых записях передано лишь эмоциональное впечатление, доставленное сновидением. В начальную пору семейного разлада, например: «Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь...» И — в последних числах октября 1910-го, накануне ухода: «Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней. Проснусь, засну и опять то же».

В толстовских сновидениях продолжается творческая работа писателя — осваивается жизненный материал, преобразуется в реальность искусства. И его радует неостановимая даже во сне, при спящем сознании, «особенно оживленная деятельность мозга».

«Во сне видел тип неясности, слабости: ходит, спустивши кисти рук, мотает ими, как кисточками».

Или: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов <*в одном из рассказов Чехова он встретил образ, занимавший и его самого*>... Я в первый раз ясно понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи-Мурате и Марье Дмитриевне» <*персонаж повести «Хаджи-Мурат»*>.

За сутки до ухода, 26 октября 1910-го, в мучительных перипетиях последних яснополянских часов, ему снится роман, или повесть, герой которой похож на его приятеля Н.Н. Страхова, а героиня наделена чертами Грушеньки из «Братьев Карамазовых». Сон увлекает его: «Чудный сюжет».

«Думал во сне...»

«Видел необычайный сон — мысли...» Запись ранняя —1860 года. Толстой в ту пору редко записывает сны. Сновидение, наверно, поразило его именно своей необычностью. Позже такие сновидения, где внешняя образность полностью отсутствует, где содержание и образы — не картина, а мысль, у Толстого, похоже, не редкость.

Ему, к примеру, не действия какие-то, не лица являются в сновидении — разговор: «Видел во сне. *Вопрос.* Вы признаете, что любовь радостное чувство? *Ответ.* Да. *Вопрос.* Признаете, что могут быть условия, увеличивающие и уменьшающие ее? *Ответ.* Да. *Вопрос.* Какое действие на возможность любви производит забота о себе? *Ответ.* Уменьшающее. *Вопрос.* А обратное, самоотречение? *Ответ.* Увеличивающее. — Давайте так и делать...» <*курсив Толстого*>.

Самые главные мысли, над которыми постоянно, подчас мучительно, бьется Толстой, настолько сильны и необходимы, что они выдерживают нетронутыми обработку сном, не превращаются в «нелепости», «темные представления» сновидений, продолжают жить в них, не облекаясь в другие формы, как чистая материя мысли. Такие сновидения сродни тому менделеевскому, когда ученому представилась во сне периодическая таблица элементов. Раздумье, целиком охватившее Толстого, переходит из бодрствования в сон и из сна обратно в бодрствование, не преломляясь в призмах сна.

«Во сне видел: цель жизни всякого человека — улучшение мира, людей: себя и других. Так я видел во сне, но это неправильно. Цель моей жизни, как и всякой: улучшение жизни; средство для этого од-

но: улучшение себя. (Не могу разобраться в этом — после.) А очень важно. Так и есть, думал об этом, гуляя, и пришел к тому, что удовлетворило меня».

В записи явственна эта непрерывность духовной работы (бодрствование — сон — бодрствование). Помета в скобках — в сути сновидения он вполне разберется после — сделана будто прямо на месте, «во сне». В общем-то, так оно и было. Мысли и наблюдения сперва сосредоточиваются в записных книжках, а затем уже, с исправлениями и дополнениями, переносятся в дневник. «Денную» записную книжку Лев Николаевич обычно держит при себе в часы бодрствования, «спальная книжечка» лежит на его ночном столике. В «спальную книжечку» он вписывает мысли вечером — перед сном, утром — вставая, и ночью — пробуждаясь. Во время утренней прогулки ночные мысли, в том числе и мысли-сновидения, проверяются и уточняются.

Действительная действительность

Из толстовских записей узнаем про одно из ранних, «молодых» его сновидений. Сновидение это — очень характерное, типическое. Редко кому не снилось нечто подобное по внешнему развитию событий.

«Я видел во сне, что в моей темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал мне: «Поди, притвори», я пошел и хотел отворить сначала, кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописанный ужас. Я проснулся, и был счастлив пробуждением».

Сюжет интересен не только сам по себе, еще и по тому, как осмысляет его Толстой. «Чем же я был счастлив? — продолжает он. — Я получил сознание и потерял то, которое было во сне. Не может ли так же быть счастлив человек, умирая? Он теряет сознание *я,* говорят. Да разве я не теряю его, засыпая, а все-таки живу».

Реальное сновидение по-своему повторится в последнем томе «Войны и мира» — непреодолимым рубежом отсечет от всей прошлой жизни последние дни тяжело раненого князя Андрея. Сначала ему снятся многие люди, с которыми он встречался прежде, но в какой-то момент все события сновидения заменяются «одним вопросом о затворенной двери». Князь Андрей идет к двери, чтобы запереть ее. От того, успеет или не успеет он запереть дверь, зависит все. Он спешит, ноги его не двигаются, мучительный страх охватывает его. Он подползает к двери, но с другой стороны ломится в нее что-то ужасное. «Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вошло, и оно есть *смерть*. И князь Андрей

умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновенье, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся. «Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих нор неведомое, была приподнята перед его душевным взором... С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение от жизни...» <*курсив Толстого*>.

С годами Толстой все чаще возвращается к открывшейся ему еще в молодости мысли, уясняет ее все более четко. Человеку дана бесконечная жизнь, бесконечное бодрствование. Оно перебивается недолгими временными засыпаниями, которые мы воспринимаем, как жизнь в настоящем. Они заканчиваются пробуждением в смерть, в бесконечную жизнь. Время условно. Наш земной разум приобрел эту способность, чтобы расставлять события в определенной последовательности — иначе он не может правильно воспринимать их. Но также условно и пространство. Разум не в состоянии воспринимать в одно и то же время множество предметов, если не разместит их в определенном порядке.

Умирая, переходя в бесконечное, человек освобождается от оболочки своего *я*, сливается с каким-то безграничным общим, с тем, чтобы в какой-то момент снова на время в той или иной форме обрести его и снова утратить («пробудиться в смерть»).

Как в нашей земной жизни мы многажды засыпаем, как бы уходим из нее, теряем «сознание бодрствования» и обретаем «сознание сна», а затем пробуждаемся, возвращаемся в бодрствование, не представляя себе, какое состояние более настоящее, так рождаемся мы и умираем в нашей бесконечной жизни. «Когда рождаешься, то не знаешь, из какой жизни пришел, и когда умираешь, не знаешь, в какую сторону уходишь».

«Жизнь в сновидении показывает, — полагает Толстой, — какою должна быть жизнь настоящая до- и посмертная, не связанная пространством и временем. Жизнь такая, в которой я могу быть всем везде, всегда». Ему бы хотелось, бодрствуя в земной жизни (в той, которую он именует «сон жизни»), жить, как в сновидении. Он даже составляет для себя молитву: «Помоги мне, Господи, жить вне времени в настоящем и вне пространства в других».

Почувствовав, что такое возможно, Иван Ильич в последний момент перестает бояться смерти.

«Жизнь будущая, загробная мне так же ясна и несомненна, как и настоящая жизнь. Не только ясна и несомненна — она есть та же самая, одна жизнь». Но вера в бессмертие, жизнь после смерти, утверждает веру в жизнь бесконечную. Не бывает бесконечности в одну сторону, объясняет Толстой. Если мы куда-то уходим, то откуда-то и

пришли. «Умереть — значит уйти туда, откуда пришел. Что там? Должно быть, хорошо, по тем чудесным существам детям, которые приходят оттуда».

Он верит в бессмертие, в бесконечность жизни, но на слова Софьи Андреевны, что смерть лучше скучной старости, отзывается страстным протестом: «Нет, надо жить, жизнь так прекрасна!»

В дневнике последнего, тяжелейшего для него 1910 года, среди прочих записей о желании умереть, о приближении смерти, находим: «Пора проснуться, т.е. умереть. Чувствую уже изредка пробуждение и другую, более действительную действительность».

Но как не отпускает, манит, как прекрасна та полная испытаний действительность, в которой он пребывает! В последний свой год он с особенным наслаждением совершает далекие прогулки верхом по любимой Засеке, восхищается природой, красотой леса, собирает цветы, молодо нагибаясь с лошади.

«Я видел Толстого нынешним летом, — расскажет, когда совершится неизбежное, скульптор Паоло Трубецкой, посетивший Ясную Поляну в 1910 году. — ... Нет, он не похож был на человека, которому суждено вскоре умереть. Однако он думал о смерти. Вспоминаю, однажды мы проезжали с ним, как всегда, верхом, через цветущие луга... Толстой долго смотрел на набухшие древесные почки, на синее небо, на светлую влагу, сверкавшую в траве. Казалось его взгляд хотел вобрать в себя всю эту живую свежесть и выпить ее.

— Никогда, — сказал он мне, — я не чувствовал, как сегодня, всю эту красоту. Я сильнее чувствую неумирающую прелесть теперь, когда вскоре должен все это утратить!..»

Глава 2
«КОГДА Я ВЫРАСТУ БОЛЬШОЙ»

Юбиляр

28 августа 1908 года Льву Николаевичу Толстому — восемьдесят.

Созданный за полгода до торжественной даты юбилейный комитет призвал сделать предстоящее чествование не только всероссийским, но и мировым. Правительство и церковные власти принимают свои меры, чтобы возможно ограничить размах празднования. Но всех больше желает этого сам юбиляр. Едва стало известно о создании комитета, Лев Николаевич обращается к одному из его участников, давнему своему знакомому с «великой просьбой»: «Сделайте, что можете, чтобы уничтожить этот юбилей и освободить меня. Навеки буду вам очень, очень благодарен». Уступая желанию Толстого, комитет прекращает свою деятельность.

День рождения отмечают в Ясной, в семейном кругу — родные, домашние, несколько близких друзей, всего 22 человека. Но и за пределами Ясной Поляны — в России, во всем мире — люди празднуют дорогую для них дату. Лев Николаевич узнает об этом из газетных статей, писем, телеграмм, которых поступило в этот день более двух тысяч.

За обед в яснополянском доме садятся без четверти семь вечера, Лев Николаевич выезжает из кабинета в кресле на колесах и устраивается за отдельным круглым столом. Когда Софья Андреевна с бокалом шампанского подходит к нему чокнуться, он просит гостей оставаться на местах, говорит:

— Благодарю и радуюсь такому хорошему собранию, и даже страшно, слишком уж хорошо...

Больше месяца Толстого мучает тяжелый тромбофлебит левой ноги. Когда воспаление вены только началось, он не желал придавать этому должного значения, ездил верхом, купался. Болезнь приняла угрожающий характер — опухоль на ноге сильно распространилась, появились новые тромбы, температура постоянно повышалась, простуда и застои от неподвижного положения вызвали хрипы в легком. К дню рождения болезнь начала отступать. Лев Николаевич

уже в силах сам перебраться из кровати в кресло на колесах, но еще только через две с лишним недели впервые после двухмесячного заточения выйдет из дому. (Полгода спустя болезнь повторится, снова обречет Толстого на томящую его неподвижность.)

И все же, если внимательно пересмотреть все сохранившиеся свидетельства, в последние три года жизни Толстого «набор» болезней, его одолевающих, заметно сокращается (куда реже, например, неизменно изнурявшие его всю жизнь приступы печени). Те же заболевания, которые его навещают — простуды, перебои сердца, плохое пищеварение, — проходят, кажется, не так остро, как прежде. Правда, и восприятие болезней в эти последние годы несколько иное, чем прежде. Из «новенького» добавляется и приносит ему немало страданий изжога, — «какой никогда не было», добавляет он после особенно сильных приступов. Иногда изжога начинается ночью, сопровождается потливостью, не дает спать.

В записной книжке он ведет заочный разговор с врачами: «У меня изжога. Что это? Медицина не знает, но знает, что есть желудок, желудочный сок, кишки и т.п., и на основании этих знаний предписывает лечение, дает внешние и внутренние средства. Но ведь кроме желудочного сока, кишечника и т.п. известных вам причин и условий совершающихся процессов есть еще сложнейшие причины и условия, совершенно неизвестные вам... Оттого-то не могу верить в медицину». Для врачей, которые возле Толстого и лечат его изжогу массажем живота, такие разговоры, если не обидны, то привычны, но сегодняшняя наука, сопоставляя свои знания с уровнем тогдашней медицины, наверно, прислушается к несговорчивому пациенту.

«В мои годы изжога — слава Богу, что нет паралича», — утешает себя Лев Николаевич. Но она, изжога, нередко становится причиной дурного расположения духа. Впрочем, именно в эти годы Толстой приходит к формуле, которая окружающим, в их числе и большинству врачей, кажется тогда, конечно, парадоксом: вместо того, чтобы думать, что на душе мрачно оттого, что печень не в порядке, нельзя ли думать, что печень не в порядке оттого, что на душе мрачно?

В июне 1908-го его неделю донимает сильная головная боль, особенно ночью (головные боли вернутся год спустя, в июне 1909-го). Он огорчается, что недостаточно терпеливо переносит боль, будит Душана Петровича Маковицкого, домашнего врача, — пора бы научиться жить со страданием. Душан Петрович массирует и гальванизирует ему голову.

Но это, как говорится в сказках, «службишка, не служба». Особую тревогу вызывают у близких и врачей обмороки, которые стали неожиданно случаться у Льва Николаевича.

Во всяком случае грустно. 2 марта 1908-го

Первый такой обморок — 2 марта 1908-го.

Не станем пересказывать засвидетельствованное очевидцами — предоставим им слово.

В момент обморока в кабинете с Львом Николаевичем секретарь, Николай Николаевич Гусев.

«Это случилось часа в четыре дня. Перед этим он продиктовал мне свой перевод рассказа Виктора Гюго «Un athee» <*«Неверующий»*>. Рассказ этот, кажется неизвестный ранее Льву Николаевичу и впервые прочитанный им теперь, произвел на него очень сильное впечатление. Содержание рассказа в том, что молодой человек, вышедший из священников потому, что пришел к атеистическому миросозерцанию, <*во время кораблекрушения*>... забыв о всех своих рассуждениях, по которым выходило, что наслаждение — единственная цель жизни, бросается в море спасать погибающих женщин и сам погибает. На последних словах этого рассказа Лев Николаевич заплакал и, окончив, громко всхлипывал...

По окончании записи я не ушел сейчас же, а стал приводить в порядок фонограф <*Толстой интересовался фонографом, который прислал ему изобретатель Томас Эдисон, сделал несколько звукозаписей*>. Лев Николаевич прошелся несколько раз по комнате. Вдруг мне перестали быть слышны его шаги. Я инстинктивно взглянул в его сторону и вижу — он медленно-медленно опускается на спину. Я подбежал к нему, поддержал его за спину, но не в силах был остановить падение его тела, и на моих руках он медленно опустился на пол. На мой крик прибежала Софья Андреевна, бывшая в столовой, стала целовать Льва Николаевича в лоб, позвала лакея, мы подняли его; он сел на полу, но, видимо, еще не приходил в себя и говорил: «Оставьте меня! Я сейчас засну... Тут где-то подушка была... Оставь, оставь...»

Мы уложили его на диван. Минут через пять он пришел в себя и ничего не помнил, что с ним было.

Вечером Лев Николаевич встал, вышел в столовую и попросил обедать, но ел очень мало. Он как будто забыл все — забыл, как зовут его близких родственников, и самые хорошо известные ему места. Не мог вспомнить, где Хамовники... Что это значит?..»

На другой день: «Льву Николаевичу гораздо лучше».

Тогда же, 2 марта, Софья Андреевна сообщает о случившемся в письме к дочери, Татьяне Львовне. Из письма узнаем кое-что о событиях, предшествующих припадку.

В последние дни Лев Николаевич прихварывает. Но: «сегодня ему уже лучше, температура 37,5, и он диктует Гусеву какой-то перевод с французского, что напрасно...»

И дальше: «Меня огорчает не столько болезнь папа, как резко определившееся притупление памяти. Сегодня мне даже жутко стало: он заснул на кресле, я писала рядом в гостиной и пошла за деньгами за телеграмму. Вдруг бежит мне навстречу папа в рубашке и кальсонах, в обеих руках часы, глаза странные. “Что это? Все часы впереди?” — говорит он. Я говорю, что нет, теперь четвертый час дня. Папа стал отрицать, говорил, что теперь утро. Я стала ему припоминать, что было утром. “Ничего не помню, ничего не помню”, — испуганно повторял он. Я упомянула о Черткове <*Чертков незадолго перед тем приехал из Англии, где провел несколько лет в связи с запрещением жить в России*>. “Какой Чертков? Когда приехал? Зачем?” Я побежала за Чертковым, он его стал допрашивать. Потом постепенно все понял, все вспомнил, и обрадовался, и начал диктовать Гусеву перевод».

Вечером 2 марта приезжают из Москвы вызванные телеграммами доктора Никитин и Беркенгейм (домашний врач Маковицкий в это время в Ясной Поляне отсутствует). Они застают Льва Николаевича, хотя бледного, слабого, но уже сидящего с книгой в кресле. В ближайшие дни он работает с обычной нагрузкой: правит корректуры, пишет статью, много читает, обдумывает новые замыслы.

Но Софья Андреевна, глядя, как он поправляется, в следующем письме к дочери не в силах удержаться от горестного вздоха: «Во всяком случае грустно и приходит в голову, что это несомненно начало конца».

«Когда я вырасту большой»...

Толстой тоже убежден, что — начало конца.

У Маковицкого — в «Записках»: «Лев Николаевич больше, чем когда-либо уверен, что ему мало жить осталось и потому «надо торопиться», старается работать. Александра Львовна и Варвара Михайловна не поспевают переписывать» <*младшая дочь Толстого и ее подруга, В.М.Феокритова*>.

Сам Лев Николаевич — в дневнике: «Здоровье уходит. Слава Богу, нет ни малейшего противления. Только, грешен, хочется кончить задуманное. А потом вспомнишь, как это все ничтожно, игрушечно, в сравнении с готовящейся переменой».

«Грешен»... «кончить задуманное»... «ничтожно»... «игрушечно»... — а через несколько страниц там же, в дневнике — *семь (!)* кратко изложенных художественных замыслов, которые он хотел бы исполнить.

На третий день после обморока Гусев записывает за ним: «Когда я вырасту большой, — начал Лев Николаевич в шутливом тоне <*этими словами Толстой обозначает в разговорах то, что хотел бы сделать*>..., — то возьму первое попавшееся судебное дело о революционерах и опишу, что он переживал, когда решил убить провокатора, что переживал этот провокатор, когда он его убивал, что переживал судья, когда постановлял приговор, что переживал палач, который его вешал...»

Он по-прежнему, может быть, в еще большей степени, чем прежде, интересуется диалектикой души людей, с которыми вместе живет на земле, старается понять, как являет себя эта диалектика в сопряжении многих душ, многих судеб.

Занеся в дневник про обморок (ему, по его словам, было очень хорошо, да вот окружающие подняли суматоху), он тут же пишет, что работа внутренняя идет, не переставая и все лучше и лучше: «Хочу написать то, что делается во мне и как делается; то, чего я никому не рассказывал и чего никто не знает».

Толстой много пишет в дневнике о смерти, постоянно думает, говорит о ней. Домашние поддерживают разговор, подчас начинают сами. В Ясной таких разговоров не страшатся, не прячутся от них, не изъясняются обиняками. Наверно, это мужество в обхождении с неизбежно приближающимся концом поддерживается, подкрепляется той обуревающей, захватывающей духовной атмосферой, возникающей вокруг Толстого, которая, даже при всех сложностях разладившейся семейной жизни, не может не влиять на окружающих. Ощущение огромной внутренней работы, вопреки годам и болезням в нем творимой, заразительно. «А я до сих пор думаю, что мне только двадцать лет. Все эти телесные слабости мне не показывают мою старость, а духовная — какая тут старость, все молодеешь». Это он в канун юбилея. А по прошествии: «Нога лучше, но общее состояние тела — желудка — дурно. В душе хорошо. Идет работа. Только теперь настоящая работа, только теперь, в 80 лет, начинается жизнь. И это не шутка, если понимать, что жизнь меряется не временем».

Три свидетельства. 12 апреля 1908-го

В известном смысле жизнь в самом деле меряется не временем. Но (пусть условно) мы привыкли делить ее на отрезки в соответствии

с временами года, протяженностью суток, календарными месяцами. И по такому (пусть условному) измерению жизни через месяц и десять дней после первого обморока, 12 апреля 1908 года, у Толстого — снова обморок, второй.

Три достоверных описания, схожих и вместе в чем-то друг друга поправляющих и уточняющих, создают довольно полную и ясную картину произошедшего.

Из книги-дневника пианиста и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера «Вблизи Толстого»:

Нынче (12 апреля) со Львом Николаевичем случился второй припадок. Это было так: перед обедом Лев Николаевич, вернувшись с прогулки, лег, по обыкновению, отдохнуть... Мы с Львом Львовичем сидели в столовой — в шахматы играли. Потом... я разговаривал с Татьяной Львовной.

В это время Лев Николаевич выходит из дверей, ведущих на лестницу, и говорит:

— Я так крепко спал, что все забыл. Иду сюда, Лева говорит, а я не могу понять, кто это говорит, и мне кажется, что это голос Митеньки (давно умерший брат Толстого).

Потом Лев Николаевич был совершенно такой, как всегда. Сели обедать. За обедом во время второго блюда шел общий разговор, в котором принимал участие и Лев Николаевич. Я сидел напротив него, и вдруг вижу, что он становится все бледнее и бледнее и как будто теряет сознание. Был момент почти полного обморока. И ужасно было, как все не замечают и продолжают свой разговор, а я и Софья Андреевна видим, в чем дело, но боимся сказать, чтобы он не услыхал. Потом Лев Николаевич как бы пришел в себя, но сознание и память не сразу возвратились. Первые минуты Лев Николаевич, очевидно, не сознавал, что он делает. Он стал в кастрюльку со сладким класть кусок хлеба, как бы совершенно не сознавая себя. Через минуту он опомнился и говорит:

— Со мной что-то странное: я здоров, но я ничего не помню. Что это, мне приснилось, или правда здесь был брат Митенька?

Потом он силился припомнить, кто это сидит за столом, но чужих не мог узнать...

Вечером Лев Николаевич сидел в большом кресле у двери в гостиную и молчал.

Потом он сказал:

— Что вы все так беспокоитесь? Мне так хорошо... и такое равнодушие: здоров — здоров, нездоров — нездоров, умру — умру. Только мне хорошо, что вы все тут. Ну, а теперь все прощайте. Я пойду совсем...

Из «Яснополянских записок» доктора Душана Петровича Маковицкого:

Сегодня <*Л.Н.*> гулял, как обыкновенно в последнюю неделю, когда санный путь испортился, по осевшему снегу в саду. Снег липкий, ходьба трудная. Изжога мучает его, мало ест. Вследствие всего этого ослаб. Напряжение мысли <*накануне много писал*>, затруднительные прогулки. И сегодня за обедом случился с ним обморок. Был большой переполох и пререкания, делается ли что нужно, не вызвать ли докторов и кого. Телеграфировали Никитину и Щуровскому. Софья Андреевна сваливала болезненное состояние на изжогу и суетилась, тревожилась, что Л.Н. от изжоги не лечится. Свалили вину на кумыс, которого Л.Н. выпил что-то бутылок 15 в продолжение 10 дней...

Когда Л.Н. вечером, с 9.15 до 10 сидел в зале и его просили идти ложиться, он сказал:

— Что вы мной озабочены? Мне так хорошо, так хорошо! Умереть — так умереть, жить — так жить.

Л.Н. сидел в кресле в зале... Старались говорить между собой. Л.Н. не спрашивали, но иногда Л.Н. сам вовлекался в разговор и не мог вспомнить, о каком Илюше, Андрюше, Ольге Константиновне идет речь <*имена сыновей Толстого и его невестки*>.

Когда ему сказали, что во время обеда с ним была дурнота, Л.Н. с трудом проговорил:

— За обедом сидел? Что вы говорите, что вы! Ничего не помню. А за обедом? Я сидел за столом? Ничего не помню.

Ничего не желал пить. В 10.15 лег.

Л.Н. с осени заметно постарел, стал настоящим стариком... У него теперь есть самостоятельная жизнь, особенная. Перестал многим интересоваться и стал многое забывать. Бывали у него часы явно выраженного стариковского состояния — не мог вспомнить про сына Мишу (это было осенью), а потом вспомнил.

Из записей секретаря Николая Николаевича Гусева «Два года с Л.Н. Толстым»:

12 апреля.

Сегодня Лев Николаевич не спал всю ночь от изжоги. За обедом он вдруг побледнел, и с ним повторилась бывшая полтора месяца назад забывчивость.

— Это кто там сидит с Варварой Михайловной?

— Анночка <*внучка, дочь Ильи Львовича*>? Когда ж ты приехала?

(Анна Ильинична живет здесь уже несколько дней.)

— А ты, Лева, куда поедешь?

— В Петербург.

— Один или с женой?

— Да ведь она там.

— Я так крепко спал перед обедом, что я все забыл. Что это мне во сне снилось или это правда было, что Митя-брат приехал?

(Дмитрий Николаевич, брат Льва Николаевича, умер в 1856 г.)

Всем тяжело. Я с трудом сдерживал слезы. Льву Николаевичу посоветовали пойти к себе, на что он согласился. Послали телеграммы врачам Никитину и Беркенгейму.

Вечером перед чаем Лев Николаевич вышел в столовую. Ему было лучше, но забывчивость продолжалась. Он сел в кресло около дверей в гостиную и сидел, сам не начиная говорить ни о чем, но прислушиваясь к тому, что говорили другие, и изредка задавая вопросы, относящиеся к разговору. Вдруг он спросил:

— А где Сережа?

Ему ответили. Через некоторое время он опять спросил:

— А где Илья?

Всем было тяжело. Насильно заставляли себя разговаривать.

— Ну, Таня, — сказал Лев Николаевич дочери, — расскажи что-нибудь, займи все общество.

Софья Андреевна что-то предложила Льву Николаевичу.

— Что вы суетитесь? — спокойным, вялым и не совсем внятным голосом отозвался Лев Николаевич. — Здоров — здоров, нездоров — нездоров, умер — умер, мне безразлично. А вот, что вы все тут, это хорошо.

Лев Львович предполагает, что он и о сыновьях справлялся потому, что ему хотелось, чтобы все были здесь.

Обобщая тексты, можно прийти к некоторым выводам.

Толстой в день припадка переутомлен: накануне много, напряженно работал, не спал ночь от изжоги, перед обедом устал, гуляя по липкому снегу (он не любит гулять по дорожкам). Недомогание началось не за обедом, а раньше: еще во время предобеденного сна он «все забыл»,

тогда же ему начинает казаться, что приехал умерший более полувека назад брат Митенька. Это заблуждение оказывается стойким: даже приходя в себя, он продолжает спрашивать про Митеньку.

Очевидцы по-разному оценивают состояние Льва Николаевича во время припадка. У Гольденвейзера он как будто теряет сознание, момент почти полного обморока. У Маковицкого — определенно: случился обморок. У Гусева обморок вообще не назван: только неожиданная бледность и забывчивость. Видимо, они не одновременно замечают короткий пик припадка (недаром Гольденвейзер особо отмечает, что сидел напротив), по-разному его воспринимают.

Наверно, в зависимости от характера общения каждого с Львом Николаевичем после припадка, они определяет и силу и длительность настигшей его утраты памяти. Здесь «первенство» за Маковицким: Лев Николаевич не только не помнит каких-то людей — не помнит и того, что сидел за обеденным столом, что ему было дурно. Но у доктора Маковицкого обзор шире: он пишет и о потере памяти, замеченной на полгода раньше.

По указанию Гольденвейзера, на другой день («наутро») Лев Николаевич совсем здоров. Но Гольденвейзер в 11 часов утра уезжает из Ясной, с Львом Николаевичем видится недолго. Но, наверно, как и все в доме, знает, что тот отправился на обычную утреннюю прогулку.

После прогулки Льва Николаевича встречает у дома Гусев, спрашивает о здоровье:

« — Ничего, слабость, все к развязке ближе. Это хорошо, и это совсем не жалкие слова. Ночью так хорошо думал, светло».

Гусев записывает, скорее всего, со слов Толстого, что ночь Лев Николаевич провел хорошо.

Но Маковицкий опровергает это. Ночью Толстого опять мучила изжога, он, преодолевая внутреннее сопротивление, вынужден был позвать доктора, Душана Петровича, который дал ему магнезию и делал массаж живота, после чего изжога прекратилась. Маковицкого беспокоит также, что, возвратившись с прогулки, Лев Николаевич все не в силах вспомнить ни про вчерашнюю дурноту, ни про обед. Зато радостно говорит о вечернем самочувствии, после припадка: «Очень хорошее состояние, очень хорошее».

При всем том он очень усердно занимается. На просьбу Софьи Андреевны отдохнуть, отвечает, что ему всего спокойнее за писанием. Вечер проходит в серьезных, интересных разговорах, игре в шахматы, завершается чтением вслух новой, только что законченной статьи Толстого.

Все думается — и хорошо

В записях самого Толстого и его близких упоминается еще несколько такого рода припадков, — их именуют то обмороками, то приступами забывчивости. В отличие от случившегося 2 марта, когда Толстой (на короткое время) полностью потерял сознание и без чувств упал на пол, при повторных припадках свидетелей больше всего поражает именно утрата памяти; ее сопровождают слабость, побледнение (реже покраснение) лица, холодные руки.

31 мая 1908-го к доктору Маковицкому прибегает испуганная внучка Толстого, Анна Ильинична (ей двадцать лет): дедушка ничего не помнит, спрашивал, кто ее мать. Перед этим, отмечает Маковицкий, за обедом Лев Николаевич мало говорил, два раза покраснел и побледнел, жаловался, что очень слаб.

(Прибавим в скобках, что еще в середине месяца его несколько раз донимала дурнота — состояние, близкое к обмороку, возникали провалы в памяти, обнаруживалась медлительность в разговоре и действиях. На протяжении десяти дней перед приступом Толстой наблюдает у себя какое-то особенное нездоровье: «слабость и мрачность».)

Два дня спустя Софья Андреевна пишет Татьяне Львовне:

«Когда Анночка пришла к нему поговорить о своих делах, он уже почти ничего не понимал. Наступило полное забвение всего, он переспрашивал одно и то же каждую минуту, побледнел и стал заговариваться. Его посадили в большое кресло, откинули спинку, положили голову на подушку и дали ему пить кофе. Потом поставили клистир, ему стало как будто лучше, и ночь он спал довольно хорошо. На другой день был слаб, не хотелось ему есть, но память вернулась. А сегодня ему уже гораздо лучше, и он ездил верхом в Овсянниково».

Припадку предшествовала напряженнейшая творческая работа, потребовавшая от Толстого огромных душевных, эмоциональных затрат. Как раз 31 мая он завершает статью «Не могу молчать», о смертных казнях, изобильно совершающихся в России, — ту самую, где просит и его, вместе с приговоренными крестьянами столкнуть со скамейки, чтобы и он «своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю». Он работал над статьей с ужасом, со слезами на глазах и вместе с бодрой, уверенной энергией, что делает, что должно.

На другой день после припадка Гусев записывает: «Сегодня слаб, утром не занимался, читал Пушкина. Но мысль работает так же

напряженно и плодотворно, как в здоровом состоянии». Сам Лев Николаевич заносит в дневник несколько дней спустя: «Был припадок; хорошо, что приближение к смерти не печалит, скорее не то что радует, но желательно. Думается хорошо, сильно...»

Маковицкий, перебирая события следующего после припадка дня, обращает внимание: «Не помнит вчерашнее». Но при этом — ведет серьезные беседы, играет в шахматы, до усталости трудится над новой статьей.

Можем добавить еще примеры, но не можем уточнить количество схожих приступов в течение последних лет жизни Толстого (да вряд ли здесь необходим такой перечень). Иные из них, не исключено, вообще не фиксируются, некоторые остаются в беглых письменных замечаниях окружающих. Доктор Маковицкий свидетельствует, обобщая, что в последние полтора года жизни Толстого обмороки случаются обыкновенно с шестинедельными интервалами, но иногда и через три, пять, восемь недель. Приступы протекают по одному типу, но явления выражены то слабее, то сильнее.

Самый сильный (сведений о нем дошло немного) — 19 сентября 1909 года.

До этого Лев Николаевич полмесяца проводит в имении Черткова и в Москве. 19-го уезжает из Москвы в Ясную Поляну. На московском вокзале огромная толпа (около пяти тысяч человек) приветствует Толстого, устраивает овацию. По дороге со станции в имение, еще в коляске ему становится дурно, по приезде в Ясную у него два обморока с долгой (не так, как 2 марта 1908-го, а дольше — на несколько часов) потерей сознания. Доктор Беркенгейм и домашние, по словам Софьи Андреевны, энергично приводят его в чувство.

Сам Лев Николаевич рассказывает: «Я помню, как мы сели в коляску, но что было дальше до 10 часов утра 20-го — ничего не помню. Рассказывали, что я сначала заговаривался, потом совсем потерял сознание. Как просто и хорошо умереть так».

Но 20-го — в дневнике, после — «Сегодня проснулся в 10 очень слабый»: «Два раза ходил гулять», «Все думается — и хорошо», «Много писал»...

Еще про «ящики памяти»

Очень интересно это расхождение, даже противоположение: утрата памяти не отражается на работе мысли, не препятствует духовной, творческой работе.

Толстой не просто сознает это расхождение, противоположение, — он объясняет его, что называется, «подводит под него базу», видит в нем нечто существенное и нужное для себя.

«Я потерял память. И — удивительное дело — ни разу не пожалел об этом. Могу пожалеть о том, что теряю волосы, и жалею, но не о памяти... Как выбрасывают выжимки, когда взято масло, так и с памятью».

В его годы все прожитое и пережитое, все из прошлого, доброе и дурное, что было необходимо, чтобы определить пути к идеалу, уже осмыслено, переработано, нашло свое место в понимании лучшего мироустройства и устройства собственной жизни. Ненужные «выжимки» лишь загромождают мозг, «ящики памяти» (вспомним давний толстовский образ) вываливаются в «коридор», препятствуют движению мысли. Когда голова не заполнена отжитым, тем, что было, работа в умственной, религиозной области идет сильнее, энергичнее, плодотворнее.

Вряд ли эту особенность умственной деятельности Толстого: «Все больше и больше теряю память и сознаю то, что приобретаю. И так хорошо!» можно назвать всеобщей. Скорее здесь особенность все-таки именно толстовская, не всякому свойственная. Того более: хотя многие «ящики памяти» все реже готовы или даже вовсе потеряли способность выдвигаться в «коридор», другие, оставшиеся в действии, по-прежнему хранят огромные запасы самых разнообразных сведений — философских, естественнонаучных, теологических, исторических, политических, экономических, библиографических и иных, полнятся стихами и прозой, музыкой, словарными запасами по меньшей мере семи-восьми языков. И еще более того: совершенно очевидно, что память Толстого и в эти годы еще способна набивать в свои ящики новую информацию. Он много читает, художественную литературу и специальную, много беседует, постоянно выспрашивая или неосознанно схватывая то, что пойдет в дело, без труда пересказывает другим мысли и впечатления, его занимающие, сюжеты и подробности прочитанного. Наконец, утраты памяти не ограничивают его творческой работы: трудясь над новыми сочинениями, он удерживает в голове идеи, замыслы, целые страницы текста. Видно, мозг его был рассчитан с большим запасом прочности.

Провалы в памяти, которые так пугают окружающих, помогают ему сосредоточиваться на чем-то особенно важном для него в эти последние годы, меньше засорять «выжимками» уже отдуманного, не значимыми для него размышлениями ощутимо небольшой остаток отпущенного времени, что, впрочем, даже при этих провалах в памяти куда как не вполне ему удается.

«Я все забыл и забываю, так что прошедшее исчезает для меня. Также, еще больше, исчезает будущее. Как это хорошо! Вся сила жизни — а сила эта страшно умножилась — переносится в настоящее... Как это радостно!».

«Не могу забыть, не видеть»

Но настоящее — не радостно...

2 июля 1908-го Толстой записывает в дневник:

«Мучительно тяжело на душе. Знаю, что это к добру душе, но тяжело. Когда спрошу себя: что же мне нужно — уйти от всех. Куда? К Богу, умереть. Преступно желаю смерти».

Эти строки он заносит не в обычный дневник. В тот день: 2 июля, он решает завести еще один — тайный. Только для самого себя.

Толстой начинает семейную жизнь с того, что дает читать невесте дневники своей молодости. И после Софья Андреевна имеет доступ к его заветным тетрадям. Сокровенные строки читают и переписывают дочери. Когда появляется верный друг и настойчивый последователь Чертков, копии дневников снимают и для него. Толстой хочет сделать свою внутреннюю жизнь открытой людям («Он жил, ни от кого не прячась», — скажет Татьяна Львовна), но разрушение тайны дневника тяготит его. Порой мысль, что кто-то, почти стоя за его плечом, читает еще непросохшие чернила слов, сковывает его руку. Ко всему право «владеть» дневниками Толстого становится одной из острых причин и без того недоброжелательных отношений Софьи Андреевны и Черткова.

Вслед за приведенной записью Лев Николаевич — в «Тайном дневнике» — продолжает:

«После того, как я написал это — непонятно грубая, жестокая сцена из-за того, что Чертков снимал фотографии <*Софье Андреевне не нравится, что Чертков фотографирует Толстого*>. Приходит в голову сомнение, хорошо ли я делаю, что молчу, и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться...»

Но дело не в одном семейном разладе, и суть семейного разлада не замыкается четырьмя стенами яснополянского дома.

«Жизнь здесь, в Ясной Поляне вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание. То грумондские мужики в остроге, то стражники... То эта безумно и гадко корыстная, несправедливая дорога...»

Он говорит, что русский мужик — его первая и самая главная любовь в жизни. А по жалобе Софьи Андреевны грумантские крестьяне <*Грумант — деревня в трех верстах от Ясной*> посажены в

тюрьму за порубку ее леса. Он объявляет себя адвокатом стомиллионного «земледельческого народа», а в Ясную, по просьбе семейства, присланы вооруженные стражники — охранять его от этого самого народа. Начата починка ведущей к усадьбе дороги, но чинят ее так, что от этого страдают яснополянские крестьяне.

«Помоги, Господи, помоги, помоги!!! Уйти хорошо можно только в смерть». Но знакомый крестьянин, которому, будучи на деревне, говорит, что умрет охотно, отвечает без обиняков: «Что ж вам умирать, у вас капиталу хватит, и хлеба на вас хватит».

Люди пишут ему — спрашивают, правда ли, что владеет землей, не верят, что владеет, уговаривают отказаться. «Вам так нейдет, дедушка, быть помещиком, судя по вашим писаньям... — обращается к нему группа крестьян... — Да и зачем Вам та земля; Вы ею хорошо уже попользовались; пора и другим уступить. Дети же у Вас уже все взрослые, образованные, могут трудиться, работать, служить, а графам, как известно, очень служебная широкая дорога».

Авторы иных писем жестоко ругают его, обвиняют в лицемерии. Он давно отказался от собственности в пользу семьи — что толку, если он продолжает жить на этой земле, пользоваться ею, притом, что уже лишил себя возможности передать ее крестьянам. Кому объяснишь, да и имеет ли право объяснять, что, проснувшись среди ночи от гула ветра, от бушующей за окном февральской метели, он тоскует и плачет, думая о несчастных в нетопленной избе, в поле. «Я думаю, что всякий думает: проклятый старикашка, говорит одно, а делает другое и живет иначе; пора тебе подохнуть, будет фарисействовать-то! И это совершенно справедливо. Я часто такие письма получаю, и это — мои друзья, кто мне так пишет. Они правы».

Из Костромской губернии к нему приходит слепой крестьянин, сидит на дворе, дрожа от холода, в рваном армяке, с котомкой за плечами, с мокрыми по колено ногами. Толстой просит его зайти в дом, обогреться, выпить чаю.

— Я к тебе не чай пить пришел, а за делом, — резко обрывает слепой. — Я от Тулы с ночи шел сюда по воде не за теплом твоим. Ты мне душу обогрей... Брось все, оставь, уходи.

«Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу — заносит он в «Тайный дневник». — Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть».

Толстой давно отказался от собственности на литературные сочинения, написанные им после 1881 года, после «перелома», — все, что написано до этого, остается во владении семьи. Такое положение

мучает его — он желал бы передать «в общее пользование» и прежние свои творения: «Не понимает она <*Софья Андреевна*>, не понимают и дети, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание и позор мой». Странно и страшно: миллионы людей лишаются, может быть, нужного им для души, а заветные творения его духовной жизни становятся источником дохода, позволяют сыновьям тратить вырученные за книги деньги на свои прихоти.

Он снова и снова просит, чтобы, хоть после смерти, его писания были безвозмездно отданы людям, если уж не все, то «непременно все народное, как-то: «Азбуки», «Книги для чтения», — и снова и снова получает отказ. Софья Андреевна, заботясь о семейном благополучии, заявляет однажды: «Я сказала Льву Николаевичу, что если он умрет раньше меня, я не исполню его желания и не откажусь от прав на его сочинения; и если б я считала это хорошим и справедливым, я при жизни его доставила бы ему эту радость отказа от прав, а после смерти это не имеет уже смысла для него».

Видя неминуемо приближающийся конец, Софья Андреевна, ссылаясь на желание сыновей, требует, чтобы в завещании Толстой вновь возвратил семье собственность на все сочинения.

«У Льва Николаевича кровь отхлынула от лица, он сгорбился, ноги подогнулись, — рассказывает очевидец.

— Соня!.. Ты хочешь отнять у меня последнюю честь! — проговорил он ослабевшим от волнения голосом».

В автобиографии «Моя жизнь» Софья Андреевна убежденно повторяет: «Ему хотелось сломить человечество, а он не мог сломить семьи. Да если бы меня убили тогда, чтоб я следовала идеям и учению мужа, я не сумела бы ни шагу сделать, чтоб переменить жизнь».

Двойная конституция

Природа не поскупилась, наделила Софью Андреевну многими и всевозможными способностями. Она свободно владеет пером — ее литературное и мемуарное наследие весьма обширно. Сызмала и до старости она живет музыкой, и как слушатель, и как исполнитель. Уже на склоне лет всерьез потянулась к живописи — успех и тут ей сопутствует. Она серьезный читатель, притом литературы не только художественной, но и научной. Любовь к литературе, музыке, пластическим искусствам, собственные «эстетические стремления» соединяются в Софье Андреевне с «живительной» будничной деятельностью, умением вертеться в «жизненной тормошне». И — что замечательно — как в ее духовной жизни, так и в этой «тормошне» повсе-

дневности равно и сильно являют себя природный ум Софьи Андреевны, образованность, обретенная не только стараниями родителей и педагогов, но и неизменной любознательностью, поразительное трудолюбие и деловитость («не люблю праздников с их безделием...»).

Долгие годы она — главная (и почти столь же долго — единственная) переписчица трудов мужа, не разгибая спины за маленьким письменным столом в углу яснополянской гостиной снова и снова переносит на бумагу сотни, тысячи страниц творений Льва Толстого. И так же неутомимо она — жена Льва Толстого, — передав ему очередную стопу подготовленных для новой правки рукописей, опять спешит шить мужу, детям блузы, рубашки, панталоны, штопать носки, стегать ею же изготовленные лоскутные одеяла. Она следит за кухней — в доме неизменно садится за стол много народу — семья, домашние, гости, а, после того, как Лев Николаевич отходит от хозяйства, перенимает у него и заботы о саде, скотном дворе, покосах, уборке. Она ближайший помощник Льва Толстого в его работе над «Азбукой», но рядом — свои дети, и, при всех гувернерах, гувернантках, наемных учителях, она, когда понадобилась, сама составляет учебник русской грамматики.

Но смолоду на Софью Андреевну находит душевное состояние, которое она определяет словом «заскучала» — ощущение разногласия жизни, которой она живет, и возможностей, которые она в себе находит, убеждение, что она способна не на то лишь, чтобы переписывать и шить, суетиться по хозяйству, беременеть, рожать, кормить детей, что главные, духовные, прежде всего художественные богатства ее натуры остаются невостребованными. С годами, с углублением семейного разлада, с расхождением между ею и Львом Николаевичем в понимании смысла и образа жизни, уровень самооценки все возрастает, мысль, что все свои способности она «задушила для него», что всю жизнь «отдала в жертву семье», не дает ей покоя. Трезвый ум пытается расставить все по местам («в этом и было мое призвание, моя судьба, мое назначение»), но не способен возобладать над эмоциями. Чем дальше, тем все больше проявляется в ней болезненная нервность, истеричность, агрессивность, стремление обличать, желание подчинить всех своей воле.

Нервность Софьи Андреевны являет себя в циклических, чаще всего осенних, недомоганиях: «всякую осень чувствую какое-то умирание». У нее грудь болит, не хватает дыхания, «точно навалили камень на грудь, и так давит день и ночь, просто сил нет». «Я когда-нибудь осенью или умру, или убьюсь. Это время периодического сумасшествия».

В письме к мужу она передает тоску, страх, охватившие ее в вагоне поезда по дороге из Ясной Поляны в Москву (дело происходит опять же осенью — конец сентября 1896-го):

«Когда вчера осталась одна в вагоне, я вдруг так затосковала, что хотела из Тулы опять вернуться в Ясную. Потом стало мне жутко, не людей, а себя. Показалось, что я тут, в купе, умру, что у меня голод сделался, а есть нечего, что я в темноте останусь, а зажечь нечего, что я упаду и убьюсь — дверь выхода так близко — и всякий вздор. Начала я читать свой глупый французский роман, стояла у открытого окна и озябла. Когда стало холодно и темно, я легла и стала вся дрожать и решила, что я простудилась и умру».

Приступ сродни толстовскому «арзамасскому ужасу», но у Льва Николаевича за «ужасом» следует открытие новых жизненных пространств, для Софьи Андреевны ее ужас — периодическое сумасшествие.

Подчас неуравновешенность Софьи Андреевны выказывается в энергичном «безумном» действии или в желании совершить его. Еще в первую пору семейной жизни, когда увидела в Ясной крестьянку Аксинью, прежнюю любовь Льва Николаевича, признается в дневнике: «Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности... И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая». Тогда же ей снится сон: «Я откуда-то достала ее <*Аксиньи*> ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — все оторвала, а сама в страшном бешенстве».

Почти полвека спустя, в 1909-м, Софья Андреевна находит давнюю (1889–1890 годов) повесть Толстого «Дьявол», в которой отразилась эта его любовь к крестьянке. И снова ее охватывает то же «страшное бешенство»: не в силах себя сдержать, она набрасывается с обвинениями на 81-летнего старика-мужа. «За завтраком Соня была ужасна, — пишет Толстой в дневнике. — Оказывается, она читала “Дьявол”, и в ней поднялись старые дрожжи, и мне было очень тяжело».

Маковицкий рассказывает об этом приступе подробнее: «Софья Андреевна сегодня охвачена злом: гневно, злобно упрекала Л.Н. за повесть, которую нашла в его столе и которую он и не помнил, что и когда ее писал. Кричала на Л.Н., что пишет «такие глупости» о женщинах, хотя в той повести как раз о женщинах особенно дурного нет — и о себе... Расстроила Л.Н. Кроме того, ходила к нему жаловаться целый день на народ, на баб, что носят траву через сад, топчут траву... И потому... запрещает им ходить через сад; потом из-за му-

жика, который спилил пять сухих лип и ободрал на лыко три молодые в гуще в овраге и т.д. и т.д. Взбудоражила весь дом, особенно Александру Львовну, своей злобой и лганьем». Очевидно, что репрессии против «народа» — против баб, против мужика — применены как орудие пытки для Льва Николаевича.

В критических ситуациях у Софьи Андреевны почти непременно возникает мысль о самоубийстве. Она, по ее же признанию, чувствует, что не в силах этого сделать, но само обдумывание такой возможности вместе и горячит, и утешает ее.

Когда Лев Николаевич объявляет, что решил отказаться от прав на свои последние сочинения, она бежит на железнодорожную станцию: чтобы «убиться», подобно героине романа; по дороге ложится отдохнуть в тени. «Убиваться» ей уже не хочется, но стыдно (ее слово) вернуться, не исполнив своего намерения. Она дает уговорить себя и отвести домой.

С годами угроза самоубийства все чаще становится средством воздействия на окружающих.

Летом 1909 года Толстой получает приглашение выступить на Конгрессе мира в Стокгольме. Софья Андреевна не желает этой поездки. С ней происходит истерика, после бурной сцены она запирается у себя в комнате, домашние страшатся, что она отравится. Ее тяжелое душевное состояние сопровождается болями в сердце, слабым пульсом, одышкой, невралгией плеч и рук, бронхитом, жаром. Сама Софья Андреевна — и это весьма любопытно — убеждена, что ее «болезнь с невралгиями», как большинство болезней вообще, «душевного происхождения».

Ничего с собой поделать она не может, не спит ночи, говорит о смерти, о заговоре, о том, что доктор Маковицкий ее отравил. Спустя несколько дней, едва Лев Николаевич заводит речь о поездке в Швецию, Софья Андреевна снова впадает в истерику, хочет, или делает вид, что хочет, отравиться морфием, подносит к губам пузырек: «Говори, поедешь или не поедешь?» — Лев Николаевич вырывает у нее пузырек.

Она объявляет домашним: «Вот так и буду сидеть, не раздеваясь и не ложась, пока Конгресс не кончится. Он — зверь, он проповедует любовь, в нем никогда не было ни крошечки любви. Хорошо бы он умер». Но наутро решает ехать вместе с мужем, и теперь вся ее забота о платьях: осенние — еще рано, а шить новые уже не успевает.

Лев Николаевич решает отказаться от поездки: «Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее. Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось».

Маковицкий: «Вечером пришла, как ни в чем не бывало, перебивала и щебетала, как всегда, когда говорил Л.Н.»

В дневнике, который она тоже дает читать другим, Софья Андреевна рассказывает — это уже 1910 год. Лев Николаевич уехал к ненавистному Черткову («если верить в дьявола, то в Черткове он воплотился»). От обиды и негодования у нее сдают нервы. Она просит отправить мужу телеграмму: «Сильный нервный припадок, пульс больше ста, лежит, плачет, бессонница», — но ответа о немедленном возвращении не получает. «К вечеру мне стало настолько дурно, что от спазм в сердце, головной боли и невыносимого какого-то отчаяния я вся тряслась, зубы стучали, рыдания и спазмы душили горло». Она дает новую телеграмму, уже от себя: «Умоляю приехать завтра».

И дальше — о приезде Льва Николаевича:

«Произошло тяжелое объяснение, я высказала все, что было у меня на душе. Сгорбленный, жалкий сидел Лев Ник. на табуретке и почти все время молчал. И что мог бы он мне сказать? Минутами мне было ужасно жаль его. Если я не отравилась в эти дни, то только потому, что я трусиха...

Во время нашего тяжелого объяснения вдруг из Льва Ник. выскочил зверь: злоба засверкала в глазах, он начал говорить что-то резкое, я ненавидела его в эту минуту и сказала ему: «А! вот когда ты настоящий!», и он сразу притих.

На другое утро моя неугасимая любовь взяла верх...»

В последнем для Толстого 1910 году борьба Софьи Андреевны с Чертковым принимает заметно болезненный характер, становится по определению свидетеля, «пунктом умопомешательства душевнобольного». На протяжении одного недолгого разговора Софья Андреевна, требуя забрать от Черткова дневники, падает к ногам мужа, через минуту, когда он выходит из комнаты, кричит, что приняла опий, и, только он вбегает обратно: «Я тебя обманула, я и не думала пить».

Летом 1910-го Софью Андреевну осматривает известный невропатолог, тогда доцент Московского университета Григорий Иванович Россолимо. Его диагноз: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой. В данный момент эпизодическое обострение».

Диагноз разъяснен в письме Г.И.Россолимо к Александре Львовне, отправленном уже после смерти Толстого: «Мнение мое о состоянии здоровья Софьи Андреевны, высказанное лично как покойному Льву Николаевичу, так и вам, сводилось к тому, что под влиянием упадочного периода жизни и сопряженного с ним истощения регу-

лирующих душевных сил, стали все более и более выдвигаться основные особенности характера Софьи Андреевны. Последний же представляет собою сочетание двух дегенеративных конституций: истерической и паранойяльной. Первая сказывается в особенно яркой окраске всех переживаний; в сосредоточенности всех интересов вокруг собственной личности вплоть до принесения в жертву интересов истины и лучших чувств, до полной неразборчивости средств для достижения своих целей. Вторая конституция дает себя знать в чрезмерной подозрительности и построенных на ней неправильных умозаключениях во всем том, что касалось Льва Николаевича, его учения, отношения к В.Г.Черткову и т.д.»

О безумии

В 1910 году Толстой работает над статьей «О безумии». В ней, по его объяснению, он проводит мысль, что человечество в больших массах подвержено общему и поэтому несознаваемому отдельными лицами безумию.

Летом он приезжает погостить к Черткову, который обитает в селе Мещерском, близ станции Столбовой. Здесь же и в недальнем поселке Троицкое размещены две большие психиатрические больницы — на излечении в них более двух тысяч человек. Кроме того, выздоравливающие больные под наблюдением фельдшеров распределены по крестьянским избам в окрестных деревнях. Толстой радуется случайному совпадению, более удивительному, чем обдуманная шахматная комбинация (его сравнение): занятия над статьей делают желанными наблюдения над душевнобольными, беседы с ними: «Я интересуюсь этим чрезвычайно».

Да и при обдумывании домашних обстоятельств оно не лишне: «Возвращаюсь домой и застаю Софью Андреевну, которая, несомненно, больна психически. У нее — тщеславие. Она боится, что про нее будут говорить, что она портила мне жизнь, и она всеми силами хочет доказать обратное, — что все злодеи, лгуны, гадкие, одна она хорошая».

Толстой не впервые посещает больницы для душевнобольных. По соседству с его домом в Хамовниках размещается Психиатрическая клиника Московского университета. За дощатым забором толстовского сада — территория клиники. Больные, случается, перелезают через забор, иногда Лев Николаевич, стоя у забора, беседует с ними. В 1892 году он, по приглашению крупнейшего русского психиатра, профессора Сергея Сергеевича Корсакова, появляется в клинике.

Сохранились письма больных к Толстому. «Мы благодаря нашим чудным докторам во главе с дорогим и душевным для нас всех профессором С.С.Корсаковым, быстро подвигаемся к выздоровлению и готовимся с их большой помощью вновь вступать в жизнь», — пишут они, радуясь встрече с Львом Николаевичем.

В первой половине 1890-х он еще несколько раз приходит в клинику, присутствует на устроенном там концерте.

Тогда же, в 1890-е годы, внимательный интерес Толстого к духовной и душевной жизни человека, особенности и тайны которой он открывает в своих сочинениях, отмечен избранием его почетным членом Московского психологического общества.

Глубокое проникновение Толстого во внутреннюю жизнь каждого человека и вместе умение пробудить в каждом из нас голос совести, чувство ответственности за все, что творится в нашем безумном мире, высоко оценивает Сергей Сергеевич Корсаков, читая «Воскресение», — роман печатается с продолжениями в журнале «Нива»: «Чтение по частям вызывает во мне отдаленное воспоминание о чтении 12 Евангелий в четверг на Страстной неделе, когда описание страданий время от времени прерывается как бы для того, чтобы сильнее было воспринято. И здесь описываются великие страдания — страдания грешников, но которые являются такими же, как мы все, или нашими жертвами. И с каждой картиной вы открываете все более и более свое участие во всех действиях той драмы, которая описывается. Было бы очень тяжело, если бы не было заглавия «Воскресение».

В 1910 году в больницах Мещерского и Троицкого, в деревне, где поселены выздоравливающие, Лев Николаевич переходит от одного пациента к другому, разговаривает со всеми, с некоторыми подолгу — иногда собеседники поражают его своими ответами.

Одного из них, старика, он спрашивает, когда лучше было, в старину или теперь. «Как лучше просторно или тесно? — отвечает тот вопросом же. И объясняет: — В старину было просторнее». С другой больной Толстой очень хорошо (определяет он) поговорил о Боге. «Я — атом Божества», — сказала больная. Но ведь о том, что человек, думая о себе, не может не понимать, не чувствовать, что он — не всё, а отдельная часть чего-то, и это что-то и есть Бог, — буквально тогда же пишет и сам Толстой.

А по соседству с больницей ткацкая фабрика, где производят шелковые ткани и шитые пояса, которые сбывают на Востоке, в Средней Азии. На фабрике двенадцатичасовой рабочий день: молодые женщины, работницы, ходят, не приседая, возле станков и заняты всё одним и тем же — связывают оборвавшуюся нитку. Хозяин

фабрики, зазвавший к себе Толстого, толкует именитому гостю, по какой цене идут ткани, где выгоднее всего продавать пояса. Толстой пробует завести разговор об условиях труда, о нравственности, о Боге, а фабрикант все свое — о товаре, о ценах, о сортах бархата, о крое материи. И от таких встреч потребность показать безумие богатой, так называемой цивилизованной жизни в мире голодного и холодного трудового народа все возрастает.

Психиатрические больницы видятся Толстому «учреждениями, устроенными душевнобольными одной общей повальной формы сумасшествия для больных разнообразными, не подходящими под общую повальную форму, формами сумасшествия». Так напишет он в статье «О безумии».

Врачи, сопровождающие Толстого при осмотре психиатрических больниц, с удивлением и одобрением наблюдают особенности его поведения с душевнобольными. Прежде всего — полное отсутствие боязни, даже тревоги в обращении с ними. Между тем, среди больных есть и беспокойные, даже агрессивные, — Толстой не хочет миновать их, хочет встретиться со всеми. И со всеми, даже беспокойными, агрессивными, он беседует совершенно свободно, искренно, с неподдельным интересом к собеседнику, в разговоре высказывает самые серьезные, волнующие его самого, дорогие ему мысли, — общается с душевнобольными как с душевноздоровыми.

Более того: встречаясь с больными, одолеваемыми бредовыми идеями, галлюцинациями, нелепыми иллюзиями, он пытается вникнуть в ход их размышлений, в их речи, обсуждает с ними их фантазии, старается переубедить их.

Все это производит на врачей сильное впечатление. Они преподносят Льву Николаевичу книгу С.С.Корсакова «Курс психиатрии», которую он внимательно изучает, сопровождая чтение многочисленными пометами.

В книге Толстой находит «в высшей степени полезные сведения». Но одновременно выявляет положения, с которыми не может согласиться. Сергей Сергеевич Корсаков «был очень хороший ученый» <*Корсаков умер в 1900 году*>, но психиатрия — «наука такая шаткая». Толстой, в частности, не согласен со стремлением найти причину болезни в какого-либо рода «материальных изменениях» — видит ее «в нравственном состоянии человека».

Он дает свое понятие безумия: «Я не согласен с учеными в определении того, что такое душевная болезнь, безумие. По-моему, безумие — это невосприимчивость к чужим мыслям: безумный самоуверенно держится только своего, только того, что засело ему в голову. Моего он не поймет. Есть два рода людей. Один человек отличается

восприимчивостью и чуткостью к чужим мыслям. Он находится в общении со всеми мудрецами мира — и древними, и теми, которые теперь живут. Он отовсюду собирает впечатления: от них, и из детства, и из того, что няня говорила... А другой человек знает только то, что его, что раз пришло ему на ум».

Толстого не устраивают также принятые классификации: «Представьте только, есть восемнадцать разных классификаций душевных болезней, и все они отвергают одна другую. А в каждой классификации свои отделы и разряды, которые тоже не сходятся»... Он полагает, что гораздо точнее классификация не нарочито ученая, не книжная, а принятая в больницах, которые он только что посетил. Такая классификация — и в том ее достоинство — равно относится к безумным, запертым в лечебницы, и к безумным, свободно действующим в мире, где мы живем, более того, решающим судьбы этого мира.

В статье «О безумии» он пишет:

«В сущности есть только одно ясное и понятное деление душевнобольных, то, по которому они <*психиатры*> распределяют больных в больницах, и определяется то или другое обращение с ними. Деление это такое:

1. Беспокойные. (Прежде они назывались буйными.)
2. Полубеспокойные.
3. Спокойные и
4. Испытуемые.

И это самое деление вполне точно относится ко всему огромному количеству людей, одержимых безумием так называемой культуры нашего времени».

«Они разрывают меня на части»

Во второй половине лета 1910 года положение Толстого в доме, в семье становится нестерпимым.

22 июля он тайно, в лесу, неподалеку от Ясной Поляны подписывает завещание, согласно которому все им созданное, без исключения, после его смерти переходит в собственность дочери, Александры Львовны (а в случае ее смерти — Татьяны Львовны). Младшая дочь поддерживает отца в его планах, с матерью у нее отношения враждебные, и это очень тяготит Толстого.

Завещание, казалось бы, решает вопрос о будущем сочинений, но душевные страдания от этого не меньше. Его мучает, что документ подписан тайно, что бумага официальная, то есть он, Толстой, как бы обращается за помощью к правительству, которого не прием-

лет. Он убежден, что должен был собрать всю семью и сообщить свое намерение, любовью переубедить тех, кто несогласен с ним. Чертков, которому он пишет, что поступил дурно и теперь платится за это, огорчен, обижен, он упрямо объясняет Льву Николаевичу, что тот никак иначе не смог бы исполнить свой долг.

Софья Андреевна, сыновья Лев и Андрей, которые стоят всецело на стороне матери, предполагают наличие завещания, требуют от Льва Николаевича признания. Скрывать истину, лгать — для него мука, сказать правду — значит обострить и без того невыносимо сложные семейные отношения, тем более отношения Софьи Андреевны с Чертковым.

Психическое состояние Софьи Андреевны определяет ее поведение: она следит за мужем, роется в его бумагах, угрожает ему и его оскорбляет. Взаимная ненависть между нею и Чертковым переходит все пределы. Пристрастное дружеское расположение Льва Николаевича к «обожаемому красивому идолу», «глупому злому гению», она публично объясняет противоестественным половым чувством мужа.

Владимир Григорьевич Чертков в самом деле верный друг Толстого и — что особенно Толстому дорого — верный последователь. «Единение с вами было одной из больших радостей последних лет моей жизни», — пишет к нему Толстой. В последнем, накануне ухода, письме к Черткову прочитаем: «Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, — зная, что я вполне понят, — как с вами». Трудно переоценить все, что делает Чертков для собирания, сохранения, издания рукописей Толстого. Именно этому посвящена, по сути, вся его деятельность, более того — вся жизнь. Чертков — энергичный и бесстрашный пропагандист толстовских идей, он, рискуя собственным благополучием, пропагандирует, издает, распространяет нелегальные, запрещенные в России произведения Толстого. «Главной двигательной пружиной в работе отца» называет его Татьяна Львовна.

Но Владимир Григорьевич при этом из тех правоверных, о которых говорят — «святее самого папы». Он жестко спрямляет и учение Толстого, и личность, какой она является в его представлении. Он не сознает того, что было основой толстовского понимания людей, их мыслей, душевных движений, поступков, — не сознает «текучести человека», неоднозначности его. Он фанатически стремиться привести личность и жизнь Толстого, его писания в полное соответствие с буквой учения, не желая принять, что дух (не буква) учения любви и ненасилия предполагают отступления, варианты в думах, чувствованиях, поведении.

Павел Иванович Бирюков, тоже близкий друг и единомышленник Толстого, высланный, как и Чертков, за пропаганду толстовского учения, его прижизненный биограф, пишет о чертковском деспотизме, о «громадном нравственном насилии», которое тот совершал над людьми: «Но особенно больно мне было видеть, как он подчинял себе Л.Н-ча, часто заставляя его делать поступки, совершенно противные его образу мыслей. Л.Н-ич, искренно любивший Черткова, видимо тяготился этой опекой, но подчинялся ей безусловно, так как она совершалась во имя самых дорогих ему принципов».

Чертков между прочим, со ссылкой на советы врачей и не считаясь с чувствами и правилами Льва Николаевича, предлагает ему жесткие меры воздействия на истерию Софьи Андреевны: возможно меньше общаться с ней, не исполнять ее требований и желаний, при необходимости применять насильственные приемы («стена, замок, держание за руки и т.п.»).

Подписав завещание, Лев Николаевич итожит в заведенном им летом 1910-го «Дневнике для одного себя» (тетрадь будет обнаружена Софьей Андреевной в голенище его сапога и украдена ею): «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне. Буду стараться любя (страшно сказать, так я далек от этого) вести ее».

С одной стороны, Софья Андреевна с истериками, страшными сценами, обвинениями, требованиями, с другой — Владимир Григорьевич с упреками и обличениями ради лучших намерений, и оба требуют от него, чтобы он, 82-летний больной старик, переступил через то, что ему дорого и необходимо: «Они разрывают меня на части».

Но при всем этом, куда как легко было бы ему любя вести борьбу, если бы пределы, в которых она ведется, ограничивались стенами яснополянского дома. В том-то и беда, что самая тяжелая страда борьбы начинается, когда он выезжает за ворота усадьбы: «Ездил верхом, и вид этого царства господского так мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать, скрыться».

Отдыхая от домашних неурядиц в семействе дорогих, заботливо оберегающих его людей, дочери Татьяны Львовны и зятя Михаила Сергеевича Сухотина, он отправляется на прогулку и по дороге, не в силах совладать с муками совести, запечатлевает на листах дорожной книжечки вырвавшуюся, как стон, запись: «Странная моя судьба и странная моя жизнь! Едва ли есть какой бы ни было забитый, страдающий от роскоши богатых бедняк, который бы чувствовал и чувствует всю несправедливость, жестокость, безумие богатства среди бедности так, как я, а между тем я-то и живу и не могу, не умею, не имею сил выбраться из этой ужасной, мучающей меня среды...»

И продолжает: «Может быть, это мое положение затем, чтобы я сильнее, без примеси зависти и озлобления, а с чувством раскаяния и стыда сознавал бы это и яснее, живее высказал бы всю ложь, весь ужас этого положения. Сейчас у скотной голые, оборванные, грязные дети, а дома Танечка <*внучка, дочь Татьяны Львовны*>, маленькая, чистенькая, с нянями, игрушками, сластями, заботами о росте Танечки. Да, только бы дал Бог силы обличить громко, сильно, так, чтобы услышали».

«Странная моя судьба»

Убежать, уйти, выбраться, скрыться — не раз в дневнике последних лет, — но мысль, замысел согласовать свою жизнь с тем, что уяснил для себя, что объявил в «Исповеди» — «Я отрекся от жизни нашего круга» — вызревает много раньше.

Еще в 1884 году он поднимается уйти из дома. Именно тогда он пишет в дневнике об отсутствии любимой и любящей жены — на самом деле говорит об отсутствии жены, понимающей, желающей разделить его взгляды. Но Софья Андреевна уверенно стоит на своем. Всё, к чему пришел в своих раздумьях, муках совести, искании смысла жизни и подлинной веры Толстой, всё это напускное, наросшее, — болезнь. Выздоровеет, одумается — соскоблит: будет по-прежнему. Он не желает соскабливать.

Однажды, после бессмысленного разговора, уходит из дому, пешком в Тулу, чтобы уйти совсем. Но беременность жены заставляет его вернуться с половины дороги. Возвратившись, заносит в дневник: «Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал», — говорит Таня, сестра. «И не хочу видеть». И пошел к себе, спать на диване; но не мог заснуть от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Пошли наверх, начались роды — то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое». В этот день родилась дочь Александра.

Как непохожа запись на ту, давнюю, которой ознаменовано появление в семье первенца!.. И как отчужденно, недобро пишет (сестре Татьяне) о наступающих родах и сама мать, Софья Андреевна: «Жаль, что мои роды не кончатся до вашего приезда. Хорошо бы эту мерзость проделать в одиночестве». И снова: «Не на радость

нынешний год, а на муку еду в Ясную. Лучшее время — купанье, покос, длинные дни и чудные летние ночи я проведу в постели, с криком малыша и пеленками. Иногда на меня находит отчаяние, я готова кричать и приходить в ярость. Кормить я не буду, возьму кормилицу»...

В 1885-м, за четверть века до окончательного ухода, — новый срыв, свидетельство тяжелого душевного состояния, в котором пребывает Толстой. Софья Андреевна рассказывает о событии в письме к сестре Татьяне:

«Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит, я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку». Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Спрашиваю удивленно: «Что случилось?» — «Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет». — Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу — человек сумасшедший, и, когда он сказал: «Где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться... Прибежали дети, рев... Стал умолять: «останься». Я осталась, но вдруг начались истерические рыданья, ужас просто, подумай, Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети четверо — Таня, Илья, Лева, Маша ревут на крик; нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать... и молчу три часа, хоть убей, говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось».

Характерны комментарии Софьи Андреевны в самом письме, ее непонимание случившегося: оно представляется ей «выдуманным, к счастью, не существенным» горем. «Я все эти нервные взрывы, и мрачность, и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе... Топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до худобы и до нервного состояния».

Почти тут же Лев Николаевич с благословения жены уезжает отдохнуть к добрым знакомым, в их имение, «на хорошее содержание», по обозначению Софьи Андреевны. Она этому очень довольна: «Авось, он там образумится».

Толстой не образумился, как мы знаем.

В 1897-м он снова замышляет уйти. От этого намерения остается письмо к жене:

«Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них»...

Теперь, пишет он дальше, он решил сделать то, что давно хотел: «у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие».

Вступая в свой 70-й год, он всеми силами души хочет спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

Он снова не уходит.

Софья Андреевна прочитает письмо только после его смерти.

Можем отыскивать и перечислять попытки уйти, решения об уходе, намеки, — важнее, пожалуй, что желание уйти постоянно живет в нем, то приглушенно, то, по обстоятельствам, внешним и духовным, болезненно, как ожог.

В 1885 году, в письме к Черткову он спрашивает: «Неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть одного года вне того сумасшедшего безнравственного дома, в котором я теперь принужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески разумно, то есть в деревне, не на барском дворе, а в избе, среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело, без стыда, говоря всем ту Христову истину, которую знаю».

Не станем заниматься обсуждением манящего, но для нас сейчас не основного вопроса, мог бы Толстой или нет жить крестьянской жизнью, как сложились бы отношения его и его истины с трудящимися, в избе с которыми он бы оказался. Незадолго до окончательного ухода он говорит дочери, Татьяне Львовне, что знать народ — это значит выйти за пределы Ясной Поляны. Какой же слом должен был произойти в его душе, какой, по словам его, режущий разлад своей жизни с сознанием должен был он почувствовать, чтобы Ясная, без которой он прежде не мог себе представить Россию и своего отношения к ней, стала ему в тягость, «тюрьмой без решеток», как пишет он в одном из писем 1910 года.

Кажущаяся нерешительность Толстого — уйти, не уйти — на самом деле свидетельство глубочайших переживаний, тяжелых душевных исканий. Уйти — значит причинить зло — семье, Софье Андре-

евне, прежде всего. А он убежден, что обязан действовать, бороться только любовью — и это такое же ясное его убеждение, как невозможность остаться. Да и зло, как бы воплощенное в Софье Андреевне, ощущается им совсем иначе, нежели иными, даже самыми верными его сторонниками. Чертковым, который не находит в ней ничего доброго: для него она — убийца своего великого мужа. Или доктором Маковицким: в отличие от консультантов-медиков, он не видит (или не умеет увидеть) у Софьи Андреевны признаков душевной болезни, полагает, что она симулирует, вычитывая симптомы в книге Корсакова.

Толстого связывают с Софьей Андреевной сорок восемь лет общей жизни, в которой общего хорошего, конечно же, не меньше, чем дурного; даже годы «разлада» не уничтожают всего доброго, что есть между ними. Софья Андреевна полагает, что никто не знает Льва Николаевича так, как знает она, — и, какой бы смысл, какой бы оттенок отношения ни вкладывала в эти слова, она права. Не понимает, еще более — не хочет понимать, и этим знанием без понимания, того хуже — пониманием на свой лад, часто особенно больно его ранит, но знает лучше всех. И Лев Николаевич не сомневается в этом. Когда в последнем своем письме к ней, за неделю до смерти, уже покинув ее, он напишет: «Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю», — он напишет о том, что у него в душе. Грош цена нашему отношению к Толстому, если в эту минуту мы ему не поверим.

Герой толстовской повести отец Сергий, в прошлом князь, блестящий гвардейский офицер, потом прославившийся старец-отшельник, завершает жизнь в безвестности, бродягой, живущим подаянием, отказавшимся даже от имени и называющим себя слугой Божьим. Толстой желал бы тоже так, но понимает, что это — не его судьба. «Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им»...

До последнего дня потребность творить, новые замыслы не оставляют его.

И здесь тоже — внутреннее противоречие. Потому что, если рупор в руках, то он — все тот же Лев Толстой, в Ясной ли он Поляне или в какой-либо другой (любой) точке земного шара, в крестьянской ли избе, на постоялом ли дворе, или на станции железной дороги. Все тот же Лев Толстой, с его страстями и страстным, пристрастным интересом к жизни, с его стремлением к добру и справедливости, с его постоянным желанием совершенствовать себя и мир вокруг.

Три дневника. 3 октября 1910-го

Из дневника Л.Н.Толстого:

5 октября, 10 года. ...3-го я после передобеденного сна впал в беспамятство. Меня раздевали, укладывали, ставили клизму, я что-то говорил и ничего не помню. Проснулся, опомнился часов в 11 <*вечера*>. Головная боль и слабость...

Из записей доктора Д.П.Маковицкого:

Воскресенье, 3 октября. Пополудни — верхом 12 верст по оврагам. На одном трудном месте Л.Н. слезал с лошади. Перед обедом спал до 6.45. Зашли к нему. Лежал в забытье, что-то бормотал, несвязно и бессмысленно говорил. Ноги холодные, лицо бледное. Приложили бутылки с горячей водой к подошвам и горчичники к икрам. Состояние полусознательное, сонливое. В 7 ч. t° — 37,1, пульс 88. Л.Н. настаивал на том, чтобы свет был и чтобы ему позволили писать. В 8 ч. — судороги, казалось, начались с ног, после них появилось сознание, хотя и неполное.

Через полчаса опять судороги и еще три раза, так что с 8 до 10.15 пять припадков судорог. Второй и третий — самые сильные и продолжительные — по три минуты. Судороги были тонические и клонические: мышц лица, губ, шеи, спины, рук и больше всего ног. Между припадками Л.Н. настойчиво просил свечу и карандаш и перед тем, как начинались припадки, усиленно делал движения, водил рукой по подушке и по салфетке, как если бы писал и диктовал «добро» о Боге, о душе, о земле. В 10.15 последние, самые короткие судороги, t° 37,7, пульс 75, потом Л.Н. спал до 11-ти.

В 11 ч. проснулся с ясным сознанием. Стал поправлять себе подушку, одеяло, искал спички, часы. Спросил нас, почему мы около него: «Зачем вы здесь?», что с ним было. «Я ничего ненормального не чувствую». Спросил, который час, и сам посмотрел на часы. Собирался заснуть. Мы потушили свечу и вышли. Я сел в спальне. Через две минуты Л.Н. позвонил, попросил потушить свечу, очень настаивал, чтобы Софья Андреевна ушла, и уснул. Спал до 2.30. Опять расспрашивал, что с ним было. На вопрос, как себя чувствует, отвечал, что голова болит, изжога, больше ничего. С 3 до 5 ч. просыпался, отсылал приходившую Софью Андреевну, потом спокойно спал до 9.45. Речь хорошая. Пил боржом, кофе. Когда у Л.Н. были сильные судороги, Бирюков, Булгаков и я держали его за руки, туловище и ноги. Софья Андреевна на этот раз суетилась меньше, чем

обыкновенно, когда Л.Н. заболевал, и нас меньше дергала. Она в этот раз была встревожена и опечалена до смирения. При одном припадке Л.Н., помогая держать ноги, упала на колени и, тихо рыдая, целовала ногу Л.Н., припала к ней губами — ниже колена...

Главная причина припадков — душевные волнения. Л.Н. не имеет надлежащего покоя, к тому же его утомительная верховая езда по оврагам, как сегодня...»

Из дневника Валентина Федоровича Булгакова, последнего секретаря Толстого:

«3 октября. Верхом ездил с Душаном. Вернувшись с прогулки <Л.Н.> проходил через «ремингтонную» <*комната, где работал секретарь, название — от марки стоявшей там пишущей машинки* >.

— Хорошо съездили, без приключений, — улыбнулся Лев Николаевич и забрал с собой со стола полученную на его имя с сегодняшней почтой книгу.

И ни он, ни я никак не предполагали того, что должно было случиться сегодня. Случилось же это вечером.

Лев Николаевич заспался и, прождав его до семи часов, сели обедать без него. Разлив суп, Софья Андреевна встала и еще раз пошла послушать, не встает ли Лев Николаевич. Вернувшись, она сообщила, что в тот момент, как она подошла к двери спальни, она услышала чирканье о коробку зажигаемой спички. Вошла к Льву Николаевичу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза у Льва Николаевича показались ей странными.

— Глаза бессмысленные... Это — перед припадком. Он впадает в забытье... Я уж знаю. У него всегда перед припадком такие глаза бывают.

Она немного поела супу. Потом отодвинула суп, поднялась и снова пошла в кабинет... На вернувшейся Софье Андреевне лица не было.

— Душан Петрович, подите скорее к нему!.. Он впал в беспамятство, опять лежит и что-то такое бормочет... Бог знает что такое!

Все вскочили, точно под действием электрической искры. Душан, за ним остальные побежали через гостиную в кабинет и спальню.

Там — темнота. Лев Николаевич лежал в постели. Он шевелил челюстями и издавал странные, негромкие, похожие на мычание звуки...

На столике у изголовья зажгли свечу. Сняли с Льва Николаевича сапоги и накрыли его одеялом.

Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Лев Николаевич слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насуплены, губы шевелились, точно он что-то пережевывал.

Душан всех выслал из комнаты. Только П.И.Бирюков остался там, присев в кресло... Подавленные вернулись в столовую и принялись за прерванный обед.

Только что разнесли сладкое, прибежал Павел Иванович.

— Душан Петрович, у Льва Николаевича судороги! Снова бросились все в спальню... Когда мы пришли, Лев Николаевич уже успокоился. Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться. Он подумал, что Льву Николаевичу хочется почесать ногу, но, подошедши к кровати, увидел, что и лицо его перекошено судорогой.

— Бегите вниз! Несите бутылки с горячей водой к ногам. Горчичники нужно на икры! Кофею, кофею горячего!

Кто-то отдавал приказания, кажется Душан и Софья Андреевна вместе... Сухонький Душан бесшумно, как тень, скользил по комнате. Лицо Софьи Андреевны было бледно, глаза полузакрыты, точно веки опухли. Нельзя было без боли в сердце видеть лицо этой несчастной женщины...

Но она не потерялась: уложила бутылки вокруг ног, сошла вниз и сама приготовила раствор для клистира. На голову больного, после спора с Душаном, наложила компресс...

Душан заботливо, осторожно, с нежными уговариваниями, хотя больной все время находился в бессознательном состоянии снимал с него платье. Наконец его покойно уложили.

— Общество... общество насчет трех... общество насчет трех...

Лев Николаевич бредил.

— Записать, — попросил он.

Бирюков подал ему карандаш и блокнот. Лев Николаевич накрыл блокнот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его по-прежнему было мрачно.

— Надо прочитать, — сказал он и несколько раз повторил: — Разумность... разумность... разумность...

Было тяжело, непривычно видеть в этом положении обладателя светлого, высокого разума — Льва Николаевича.

— Левочка, перестань милый, ну, что ты напишешь? Ведь это платок, отдай мне его, — просила больного Софья Андреевна, пытаясь взять у него из рук блокнот. Но Лев Николаевич молча отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку...

Потом... потом начались один за другим странные припадки судорог, от которых все тело человека, беспомощно лежавшего в постели, билось и трепетало. Выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их. Душан обнимал Льва Николаевича за плечи, я и Бирюков растирали ноги. Всех припадков было пять. Особенной силой отличался четвертый, когда тело Льва Николаевича перекинулось почти совсем поперек кровати, голова скатилась с подушки, ноги свесились по другую сторону.

Софья Андреевна кинулась на колени, обняла эти ноги, припала к ним головой и долго оставалась в таком положении, пока мы не уложили вновь Льва Николаевича как следует на кровати...

Александре Львовне, вызванной мною запиской, она говорила:

— Я больше тебя страдаю: ты теряешь отца, а я теряю мужа, в смерти которого я виновата!..

После пятого припадка Лев Николаевич успокоился, но все-таки бредил.

— Четыре, шестьдесят, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, семьдесят... — считал он.

Поздно вечером он пришел в сознание.

— Как вы сюда попали? — обратился он к Душану и удивился, узнав, что он болен.

— Ставили клистир? Ничего не помню. Теперь я постараюсь заснуть.

Через некоторое время Софья Андреевна вошла в спальню, стала что-то искать на столике около кровати и нечаянно уронила стакан.

— Кто это? — спросил Лев Николаевич.

— Это я, Левочка.

— Ты откуда здесь?

— Пришла тебя навестить.

— А!..

Он успокоился. Видимо, он продолжал находиться в сознании...

Поздно ночью приехал из Тулы доктор (Щеглов)... Душан объяснил ему болезнь, как отравление мозга желудочным соком <*уже знаем, что в своей записи Маковицкий называет другую причину болезни*>. На вопрос наш о причине судорог приезжий доктор отвечал, что они могли быть обусловлены нервным состоянием, в котором находился Лев Николаевич в последнее время, в связи с наличием у него артериосклероза...

Позже Маковицкий обобщит: причинами припадков врачи считали малокровие мозга, ослабление сердечной деятельности, переутомление литературными занятиями, длинные прогулки, простуду, отравление кишечника ядами при повторном колите, артериосклероз. Если сегодняшняя медицина отвергает эти предположения, то этим она подтверждает сомнения Толстого в достаточных познаниях медицины тогдашней.

4 октября Булгаков продолжает: «Все миновало. Ночью Лев Николаевич спал. Утром проснулся в сознании. Когда Бирюков рассказал ему содержание его бреда, слова: *душа, разумность, государственность,* — он был доволен, по словам Бирюкова...

Как страшно вчера было при опасении смерти Льва Николаевича, так сегодня радостно его выздоровление».

«Мы надеемся...»

В 1909 году — до ухода и смерти Льва Николаевича рукой подать — домашние врачи — Никитин, Беркенгейм и Маковицкий по просьбе Черткова, составляют подробное заключение о состоянии здоровья их пациента. Документ этот, помимо важности содержания, еще и тем дорог, что другого такого в медицинской биографии Л.Н.Толстого не имеется. Думается, нелишне познакомиться с ним, прежде чем выйдем с Толстым на последнюю в его жизни дорогу. Заключение, конечно же, передает уровень медицинских знаний своего времени, притом, что научная истина всегда относительна и постижение ее бесконечно, о чем постоянно твердил врачам сам «неудобный» пациент.

Письмо — заключение

Вы обратились к нам, как к врачам, пользующим в течение последних лет Льва Николаевича Толстого с просьбой высказать наше мнение по поводу состояния его здоровья. Исполняя с готовностью Вашу просьбу, считаем своим долгом сообщить Вам следующие данные:

Со времени тяжелой болезни Льва Николаевича, перенесенной им в Крыму зимой и весной 1902 г., состояние его здоровья можно назвать совершенно удовлетворительным, принимая во внимание его 80-летний возраст. За этот семилетний период Л.Н-ч переносил несколько раз различные случайные заболевания — инфлюэнцу, воспаление вен на ногах и т.д. Но

это были лишь кратковременные болезни, не приковывавшие его надолго к постели и не прекращавшие на более или менее продолжительное время его работу. Рассматривая организм Л.Н-ча, можно сказать, что органы пищеварения его представляются не совсем устойчивыми, что стоит в связи с тем обстоятельством, что они и раньше представляли из себя слабое место, но каких-либо тяжелых органических заболеваний пищеварительной системы у него нет. Органы дыхания совершенно нормальны. Сердце и сосуды для 80-летнего возраста настолько хороши, что приходится удивляться, насколько мало выражен склероз доступных исследованию артерий, насколько велика сила сердечной мышцы, позволяющая Л.Н-чу совершать так много физических движений. Бывавшие иногда у Льва Н-ча приступы сердцебиения и тягостного ощущения в области сердца, сопровождавшиеся перебоями пульса и некоторой аритмией сердечных сокращений, всегда вызывались различными нервными влияниями — сильными волнениями радостного или печального свойства, и быстро уступали нервным средствам.

За истекший год у Л.Н-ча были припадки головокружения с потерей сознания и кратковременным ослаблением памяти, внушавшие серьезные опасения близким Л.Н-ча за его жизнь. Припадки эти всегда вызывались различного рода душевными волнениями, сопровождались расстройствами в сосудистой сфере (покраснение лица, твердый напряженный пульс и затем малокровие мозга — бледность лица, малый, частый пульс, похолодание конечностей и перебои). Все это дает нам твердую уверенность высказать, что эти припадки имеют в своей основе расстройство сосудисто-двигательной нервной системы, выражающееся то расширением мозговых сосудов, то их спазмом (сосудистый невроз). Никаких органических заболеваний мозга или мозговых сосудов (склероз, разрыва или закупорки сосудов мозга), по нашему мнению, нет. Расстройства эти всегда бывали скоропреходящими и по миновании их Л.Н-ч продолжал вести ту же интенсивную и продуктивную умственную работу, которую он вел всю жизнь, интересуясь самыми разнообразными проявлениями жизни и отвечая на все ее жгучие вопросы. Следует заметить, что за последние годы Л.Н-ч особенно много занимался и писал, посвящая этой работе большую часть своего дня.

Правильный, регулярный образ жизни Л.Н-ча, ежедневное движение на свежем воздухе (прогулки верхом или пешком), вегетарианская пища — все это настолько поддерживает

в порядке крепкий от природы организм Л.Н-ча, что мы надеемся при благоприятных условиях он проживет еще долгие годы на радость всего русского общества и всего мыслящего мира, сохранив во всей полноте изумительную ясность мысли и широту художественного творчества.

Глава 3
БЫСТРОТА БИЕНИЯ СЕРДЦА

Окончательное решение. 28 октября 1910-го

28 октября 1910-го, вечером, в Оптиной Пустыни, всероссийски известном монастыре, Толстой заносит в дневник впечатления минувшего — рубежного в его жизни и судьбе — дня:

«Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как в прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, острожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана <*Маковицкого*>, потом Сашу <*Александру Львовну*>, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет — сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать.

В 6-ом часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя <*Феоктистова*> доканчивают укладку. Ночь — глаза выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что

должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева *<узловая ж.д. станция> в* 3-м, набитом рабочим народом, вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь 8 часов и мы в Оптиной».

Так описывает свой уход сам Лев Николаевич. Начинается последняя его дорога: она продлится десять дней и закончится пробуждением в новую жизнь — так хочет он представлять себе смерть.

Приведенные страницы дневника, по сути, начинают историю его последней, гибельной болезни. Не нужно быть врачом, чтобы оценить такие пометы, как: *«неудержимое отвращение, возмущение», «хотел заснуть не могу», «задыхаюсь, считаю пульс: 97», «не могу лежать», «попадаю в чащу», «стукаюсь о деревья», «падаю», «дрожу, ожидая погони», «не спал и почти не ел»...* В них, в этих пометах исподволь, несколькими штрихами передано состояние стресса, как мы бы теперь сказали, который сопутствует совершаемому Толстым решительному шагу.

Умственная работа в эти часы бегства обозначена одной фразой: «жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно» (помним главное толстовское: *«делай, что должно...»)* — и объяснение: спасал то *самое дорогое, что есть во мне*. Ход мыслей, переработка впечатлений в этой стрессовой ситуации не запечатлены, и мы никогда не посмеем присочинять их. Но память подсказывает, что Толстой однажды уже сам сделал это, — нет, нет, тут у нас не сравнение: еще один пример проникновенности великого писателя в глубины душевной жизни. А потому — небольшое отступление...

Быстрота биения сердца

Тридцатью годами раньше Толстой написал последнюю дорогу Анны Карениной, бегство ее в никуда (или — к пробуждению?). Измученная своим унизительным положением, тяжелым душевным расстройством, ссорами с Вронским, ревностью, невозможностью понять, как жить дальше, она, как в ловушке, мечется по городу, сперва к Долли, сестре мужа (Долли ей сочувствует), потом на станцию железной дороги с тем, чтобы найти уехавшего в имение Вронского. Решение покончить с собой еще не принято, но зреет в подсознании, нервы напряжены до предела, она не в силах сосредоточиться с тем, чтобы разумно оценить все, что происходит с ней, и так же не в силах отвлечься, уйти от навязчивых мыслей. Осмысление

совершающегося в ее душе прерывается «кадрами» движущейся навстречу, по сторонам ленты внешних впечатлений, — эти впечатления врываются в ее внутреннюю жизнь, выхватывают что-то из ее памяти, что-то меняют, уточняют в потоке мыслей, возвращают ее к мучительной неразрешимости, как ей представляется, ее положения и вновь привлекают ее взор и сознание бьющей остротой сменяющихся вокруг образов.

«Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна, при несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлениях на чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, увидала свое положение совсем иным, чем каким оно казалось ей дома... «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему. Признала себя виноватою. Зачем? Разве я не могу жить без него?» И, не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, она стала читать вывески. «Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского, но я все скажу ей... Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А мытищенские колодцы и блины». И она вспомнила, как давно, давно, когда ей было еще семнадцать лет, она ездила с теткой к Троице. «На лошадях еще. Неужели это была я, с красными руками?.. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения?.. Но я докажу ему... Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы», — читала она».

И уже в последние свои минуты, на железнодорожной станции, когда делала последние в своей жизни шаги, и «быстрота биения сердца мешала ей дышать»:

«Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете: «Настоящие», — сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они опять, заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя мимо, спросил, едет ли она. Мальчик, продавец квасу, не спускал с нее глаз. «Боже мой, куда мне?» — все дальше и дальше уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она опять едет. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать»...

Письмо Софье Андреевне. 28 октября 1910-го

Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня за все, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с твоим новым положением, в которое тебя ставит мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно; сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому.

Лев Толстой

Роковые три четверти часа. 28 октября 1910-го

С момента ухода Лев Николаевич записывает в дневник мало и нерегулярно. Хронику последних его десяти дней выстроим по записям Маковицкого — Душан Петрович все эти дни, до последней минуты с ним рядом, часто один на один. Не восстанавливаем всех событий: обозначим вешками маршрут и, соответственно, внешнее и внутреннее, физическое и психическое состояние Толстого на разных этапах пути; всего же важнее для нас выявить все, что позволяет пополнить историю его болезни, с медицинской точки зрения взглянуть на завершающие страницы биографии Толстого.

Сопоставляя дневниковую запись Толстого от 28 октября с записью Маковицкого, уже можем сделать некоторые существенные дополнения.

Маковицкий рассказывает, что накануне побега, днем, Лев Николаевич совершил тревожную и утомительную поездку верхом. На пути встретился глубокий овраг, он слез с лошади, спустился по крутизне, на четвереньках переполз по льду замерзший ручей, потом поднимался, хватаясь за ветки кустарника по отвесному склону, сильно задыхался.

Готовясь к побегу, был очень встревожен, неспокоен, говорил взволнованным, прерывающимся голосом. На пути к станции у него мерзла голова.

Вагон третьего класса, куда, по требованию Льва Николаевича, взят билет, очень неудобен («наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России», — пишет Маковицкий). В вагоне набилось много народу, сильно курят. Лев Николаевич выходит на открытую площадку освежиться, три четверти часа сидит на палке с раскладным сиденьем (Маковицкий: «роковые три четверти часа!»). Потом ложится было на скамейку, но на какой-то станции появляется новая толпа пассажиров, среди них женщины с детьми. Лев Николаевич тотчас встает, освобождая место. В вагоне он много и горячо разговаривает. Со всех сторон подходят люди — слушают, соглашаются, спорят. Льву Николаевичу трудно говорить — душно, просит открыть дверь на площадку. Поезд идет медленно: 105 верст за 6 часов 25 минут, Лев Николаевич жалуется на усталость (Маковицкий: «Медленная езда помогала убивать Л.Н.»).

От Козельска до Оптиной Пустыни едут с ямщиком. Дорога грязная, тряская. Когда встряхивает особенно сильно, Лев Николаевич невольно стонет.

В монастырской гостинице, едва входит, тотчас садится за писание. Ничего не ест, только пьет чай с медом. Ложится в десять — таким образом двадцать часов подряд в пути, на поездах, на лошадях, в физическом и душевном напряжении, в ожидании погони.

Спит плохо. По собственному его объяснению оттого, что нервы возбуждены. Просыпается в 7-м часу утра.

Новые сюжеты. 29 октября 1910-го

С утра 29-го он узнает от присланного к нему Алексея Петровича Сергеенко, секретаря Черткова, как воспринят в Ясной Поляне его побег. Узнает, что Софья Андреевна пыталась (или хотела показать, что пытается) покончить с собой, бросилась в пруд; затем отправила на станцию человека выяснить, куда Лев Николаевич брал билеты. Узнает, что, по распоряжению губернатора, за его, Толстого, передвижениями назначена слежка. Все это, конечно его волнует. Тем не менее он принимается за работу — диктует приехавшему чертковскому секретарю окончание начатой прежде статьи против смертных казней.

Потом долго гуляет по монастырю. И — снова пишет. Замечательно: в такую минуту, не зная, куда бежать дальше, притом ожидая погони и спасаясь от нее, 82-летний старик вносит в записную книжку сюжеты новых задуманных произведений!..

В час дня обедает. С аппетитом ест монастырские щи и гречневую кашу с подсолнечным маслом.

После обеда, в третьем часу, отправляется из Оптиной Пустыни в Шамордино, женский монастырь в том же, Козельском уезде, — там обитает его сестра, Мария Николаевна. По обыкновению, Лев Николаевич уходит один вперед, пешком, предоставляя лошадям с повозкой через какое-то время его догнать. Монастырский гостинник, прощаясь с ним, замечает, что он не застегнут — весь нараспашку: «так он простудится». На протяжении пути, Льву Николаевичу все время жарко; сидя в повозке отказывается накинуть свитку поверх армяка.

С сестрой, Марией Николаевной, он радушен, спокоен, весел: беседа «самая милая, обаятельная, из лучших, при каких я в продолжении шести лет <*жизни в Ясной*> присутствовал», — свидетельствует Маковицкий.

Ложится в начале десятого. Перед сном он кажется Маковицкому усталым. Называет его: Душан *Иванович* (вместо — Петрович) — такого прежде не случалось. Спит хорошо. Наутро сетует лишь, что устроен слишком удобно: просит комнату попроще и постель пожестче. Ему и здесь претит «роскошь».

Шамордино. 30 октября 1910-го

Толстой не прочь задержаться в Шамордине: с утра, еще восьми нет, отправляется искать квартиру и находит в крестьянской избе чистую, теплую горницу за пять целковых в месяц.

По возвращении в гостиницу читает, лежа на диване. В 10 часов окликает Маковицкого, расположившегося через стену, — жалуется на слабость и сонливость.

Температура нормальная — 36,3. Пульс 88 ударов в минуту, сильный, полный, правильный. Лицо не красное, но и не бледное. Маковицкий советует ему снять одежду, попытаться уснуть. Состояние слабости Маковицкий приписывает волнению последних дней, усталости, простуде, полученной в дороге, наконец — вздутию живота. Накануне Лев Николаевич дважды ел щи и кашу, яблоки-антоновку, даже огурцы.

Оставив Льва Николаевича одного, Маковицкий с беспокойством слышит за стеной его сильную протяжную зевоту, — такая бывает у него обычно при недомогании. Заходит, снова пробует пульс — 80.

В половине четвертого едут к Марии Николаевне обедать. У нее сидят до седьмого часа, Лев Николаевич мерзнет, ему накидывают на плечи фуфайку.

Вечером в Шамордино приезжают Александра Львовна с Варварой Михайловной Феокритовой, рассказывают, что творится в Ясной Поляне, в семействе, привозят письма от Софьи Андреевны, Татьяны Львовны, сыновей. Александра Львовна опасается, что Софья Андреевна уже отправилась в погоню и утром прибудет — надо возможно раньше перебираться в другое место.

Лев Николаевич молчалив, мерзнет; пульс — около 90.

Раскладывают на столе карту, решают, куда держать путь. Называют Бессарабию, Кавказ. Лев Николаевич вспоминает знакомые места на Кавказе: «Я чую, что это опять увижу». Потом всплывает куда более близкий Льгов. Лев Николаевич просит перенести окончательный разговор на завтра («утром решим») — сейчас устал, спать хочет.

Но, оставшись один, еще пишет что-то.

Астапово. 31 октября 1910-го

Не дожидаясь рассвета, в начале четвертого Лев Николаевич будит Маковицкого: спать больше не может, надо ехать дальше, не зная, куда. Поднимают Александру Львовну, Варвару Михайловну, начинают складываться. Пока находят лошадей, ямщиков — уже около шести. Лев Николаевич мрачен, молчалив, просит ехать быстрее. Боятся встретить Софью Андреевну: если она в самом деле уже отправилась за ними, то в шесть утра может быть в Козельске.

В пролетке Лев Николаевич сидит прямо, не опираясь, не стонет, не вздыхает, ничем не выдает утомления. У вокзала, поднимаясь по лестнице, слегка пошатнулся, — Маковицкий объясняет это торопливостью и тем, что долго сидел — ноги оцепенели.

Спешат сесть в первый же подъехавший поезд; билет предполагают купить в дороге. Уже в поезде снова совещаются, куда ехать. В конечном счете решают двигаться в сторону Новочеркасска: там живет племянница (дочь Марии Николаевны), у нее можно остановиться и окончательно выбрать направление.

В поезде Александра Львовна варит для Льва Николаевича овсянку, кофе, два яйца всмятку, — он ест охотно, разговаривает, читает, даже диктует что-то.

Замечают сыщика, который едет с ними в поезде, — на остановках он спешит к их вагону, торчит под окном. Повсюду продают газеты с крупными заголовками: «Уход Л.Н.Толстого из Ясной Поляны» или вроде того; в газетах телеграммы из разных мест, где видели Льва Николаевича, точно газеты его выслеживают.

В пятом часу Лев Николаевич, который до того лежит на диване, читает, беседует, становится сонлив, жалуется на холод, озноб, просит накрыть его потеплее. Пульс 88, правильный, не очень полный; t° 38,1; ощущение холода в левой лопатке; кашля и удушья нет.

Озноб усиливается: в 6 часов — t° 38,5, перебои.

Лев Николаевич дрожит, стонет, но духом бодр.

Маковицкий, опасаясь воспаления легких, считает необходимым выйти на первой же большой станции.

В 6.35 поезд прибывает на станцию Астапово.

Начальник станции Иван Иванович Озолин предлагает разместить больного у него в доме. Простой бревенчатый дом с низкими окошками тут же на платформе, у самых путей. Лев Николаевич идет с трудом, его приходится поддерживать под руки, за спину. Очевидец, железнодорожный служащий, вспоминает: когда Толстого ведут через вокзальное помещение, все находящиеся там люди встают и обнажают головы.

Пока готовят комнату, он сидит в гостиной, в кресле, не снимая мехового пальто и шапки. Благодарит хозяев за приют, извиняется, что причиняет неудобства. Жена Озолина огорчается: помещение тесное, — дети играют в соседней комнате, шумят. «Ах, это ангельские голоса, ничего», — отзывается Лев Николаевич.

В гостиную заглядывает врач железнодорожной амбулатории Леон Иосифович Стоковский: он обязан заполнить карточку на проживание нежданно задержавшегося на станции больного.

В карточке несколько вопросов.

«Ф.И.О. — Толстой Л.Н.

Возраст — 82 года.

Должность...»

Тут Стоковский запинается в нерешительности, но Лев Николаевич подсказывает с улыбкой:

— Какая разница? Пишите — пассажир поезда № 12. Все мы пассажиры в этой жизни. Но один только входит в свой поезд, а другой, как я, схожу.

Доктор так и пишет:

«Должность — граф, пассажир поезда № 12.

Болезнь — восп. легких.

31 окт. 1910 года».

Толстого укладывают, — наконец. Он мерзнет, страшится холодной постели, холодного градусника.

Сначала кровать поставлена посреди комнаты, но по просьбе Льва Николаевича ее отодвигают к стене. У изголовья зажигают све-

чу, на желтых обоях четким силуэтом отпечатывается его профиль. Через неделю, когда все будет кончено, кто-то обведет карандашом на стене линию профиля.

Ему дают горячий чай с красным вином, нарзан.

В 11 часов — t° 39,3, пульс 91 с перебоями. Он начинает потеть, бредит. Около 12 часов теряет сознание; в обморочном состоянии шевелит губами, делает сосательные движения, лицевые мышцы напрягаются около глаз и губ, подергиваются руки. Лицо бледное. Припадок продолжается 40 секунд. Четверть часа спустя снова припадок — слабый: подергиваются мышцы лица. Затем глубокий сон.

Ночью сильно потеет. Температура падает до 37,5.

«Ну, мат! Не обижайтесь». 1 ноября 1910-го

К утру температура падает — 36,2; Лев Николаевич ощущает слабость, но духом бодр — предлагает ехать дальше.

Вскоре температура снова ползет вверх, к 10-ти утра — 38,1, в полдень — 39,7; пульс — 94, восемь перебоев.

Лев Николаевич сонлив, стонет, но время от времени словно встряхивается, диктует Александре Львовне.

Она записывает:

«Бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует».

В Астапово поступают многочисленные телеграфные запросы из газет, съезжаются корреспонденты. Маковицкий особо помечает: «Наехал 271 корреспондент»! Никому прежде неведомая станция Рязано-Уральской железной дороги оказывается в фокусе внимания всего мира.

В просто обставленной комнате начальника станции, на чужой кровати, постанывает в жару больной старик. Доктор Маковицкий прослушивает в нижних долях обоих легких сзади обильные сухие и влажные хрипы. Температура не падает: бродит между 38-ю и 39-ю градусами.

Вечером Варвара Михайловна Феокритова хочет взять у него градусник, но Лев Николаевич просит:

— Нет, вы мне посветите. Я сам люблю смотреть.

И, взглянув на шкалу, где столбик взобрался за 38 градусов:

— Ну, мат! Не обижайтесь...

Зенит. 2 ноября 1910-го

Учащение дыхания. Боль в левом боку. Кашель. С утра t° 39,2; пульс 96 с перебоями. Голос ослабел, звук грудной, говорить Льву Николаевичу и трудно, и больно.

Спутникам его буквально некогда ни присесть, ни вздремнуть. Помимо ухода за больным, нужно мыть полы, проветривать помещение, тем более, что печи дымят, поддерживать порядок — в небольшой комнате недостает места все удобно расставить и разложить. В доме, кроме Толстого и троих его спутников, еще семья начальника станции из пяти человек, прислуга.

2-го утром приезжают Чертков и его секретарь Сергеенко.

Алексей Петрович Сергеенко и здесь берет на себя обязанности секретаря. В одной из комнат устраивают временную канцелярию. Туда день и ночь стучат в форточку, подают телеграммы и письма, просят ответных сообщений, приходят корреспонденты — и не только: люди самого разного звания пишут в Астапово, приезжают туда, справляются о течении болезни Льва Толстого, желают ему скорее поправиться. На двери дома врачи вывешивают листки с последними сообщениями о состоянии здоровья пациента; такие бюллетени тут же пересылаются во все российские и многие зарубежные газеты.

В 12.30 дня в мокроте кровь — воспаление легких уже не подлежит сомнению.

Чертков убежден, что у Льва Николаевича и на этот раз хватит сил перенести болезнь. Его уверенность и в остальных поддерживает надежду.

В 6.30 вечера — t° 38,8.

Во сне Лев Николаевич, охая, повторяет: «Боже мой, Боже мой». Маковицкий помечает, что впервые слышит от стонущего Льва Николаевича эти слова. (Но доктор Альтшуллер помнит: в Гаспре, тяжкой ночью, когда все окружающие и, похоже, сам больной, утратили надежду, он услышал, сидя у постели, как Лев Николаевич слабым голосом отчетливо произнес: «От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня, Господи».)

Вызывают доктора Никитина Дмитрия Васильевича — верная «палочка-выручалочка» в трудных случаях.

Вечером приезжает Сергей Львович. Он, как и Татьяна Львовна, узнав об уходе отца из Ясной Поляны, не только не осудил, но поддержал его: «Ты себя ни в чем упрекать не должен, положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход», — писал он отцу в Оптину. Лев Николаевич радуется его приезду: «Как ты меня нашел?» Он не знает, что весь мир уже нашел его.

В 10 часов вечера — t° 39,2; пульс до 140, на каждом третьем ударе перебой. Ему дают несколько капель строфантовой настойки.

Из-за изжоги он ничего не ест, отказывается от молока, от кофе.

«Хотя ободряем друг друга, особенно Владимир Григорьевич *<Чертков>,* сегодня все мы, окружавшие Л.Н., скрываясь один от другого, исплакались», — итожит день Маковицкий.

В полночь экстренным поездом с одним прицепленным вагоном приезжает Софья Андреевна с дочерью Татьяной и сыновьями Андреем и Михаилом. Софья Андреевна кажется Маковицкому непохожей на себя — нерешительной, несмелой. Маковицкий рассказывает ей о ходе болезни: воспаление в этом возрасте обыкновенно смертельное, но Лев Николаевич в последние пять лет два раза легко перенес бронхопневмонию, сил много, не безнадежен. В свидании с мужем Софье Андреевне отказывает: для Льва Николаевича это слишком тяжелая нагрузка, третьего дня он бредил, что она его догонит.

Софья Андреевна жалуется, что Лев Николаевич навлек на нее позор, жену бросил. Она ведь ничего ему не сделала (дальше ее слова): «только вошла в кабинет посмотреть, у него ли дневник, который пишет, не отдал ли его, и еще, услышав шум, заходила и спросила: «Левочка, аль ты нездоров?» — «Изжога, миндаль принимаю, не мешай мне», — ответил злобным голосом, досадуя. Я долго стояла у двери. Сердце у меня билось. Потом, услышав, что потушил свечу и ложится спать, я ушла. Как это я крепко заснула, что не слышала, как он ушел». В конце признается: «Я пересолила»...

Маниакальный припадок? Еще раз Снегирев

Через пять месяцев после смерти Толстого, в апреле 1911 года, Софья Андреевна, измученная сыплющимися на нее упреками и обвинениями, борьбой с дочерью Александрой Львовной и Чертковым за литературное наследие мужа, мучениями совести, что «не умела сделать счастливым Льва Николаевича последнее время его жизни», получит столь желанные ей, столь для нее необходимые слова оправдания и привета. Теплым, хоть и ветреным Пасхальным днем она навестит дорогую могилу, присядет на лавочку, поплачет, но прежняя обида вдруг снова пронзит ее сердце в Светлый день всеобщего Воскресения и любви: «Воскрес ли Христос в душе моего любимого умершего мужа, когда он злобно покинул меня и свой дом и обездолил несчастные семьи своих сыновей?» — посетует в своем ежедневнике.

А дома в утешение и оправдание найдет письмо от давнего знакомого, профессора Снегирева.

Он пишет, что не перестает думать о «внезапном событии» — об уходе Льва Николаевича, о Софье Андреевне, о том, как много горя, огорчений, незаслуженных обид, укоров выпало на ее долю, и не только от людей посторонних, но и от своих близких, кровных и даже от ушедшего человека, которому она отдала свой 48-летний труд, заботы и неустанное попечение».

Профессор Снегирев согреет ее сердце убежденностью, что она «именно та женщина, которая наиболее целесообразно была предназначена ему *<Льву Николаевичу Толстому>* в жены», что в своей «непостижимой деятельности при его гении» он многим был обязан ей. Снегирев видел в их семейной связи то, чего подчас не хотели замечать другие: «ни одного золотника нельзя было ни прибавить, ни убавить от вас обоих, чтобы не нарушить той удивительной гармонии, той замкнутости духовной жизни при множестве народа, окружающего вас».

Он напишет восторженно: «Ваша удивительная эластическая энергия, Ваша несокрушимая подвижность прямо физически его заряжали, Ваше острое колющее амбициозное тщеславие, на нем покоющееся и для него поддерживаемое, сильно, очевидно отразилось на нем... А жизнь, устроенная, как часы, а неустанное наблюдение, а эти труды писаря, эта привычка ночной собаки, сторожа...» И продолжит удивленно: «Неужели такой великий человек, вечно стремящийся к справедливости и совершенствованию, не знал, не обонял, не сознавал всего этого, что и для простого смертного было очевидно, наглядно, так обязательно бросалось в глаза. Ужели ум проникновенный, огромной опытности, художественной наблюдательности проходил мимо всего этого?..»

А дальше профессор-медик попытается со своей, врачебной точки зрения ответить на вопрос, что побудило Толстого с шумом — подобным взорвавшейся бомбе — уйти из дома, заставить весь мир удивиться, ужаснуться, жадно искать причины этого взрыва.

«В продолжение всей почти своей жизни он одинаково воспитывал, обрабатывал дух и тело свое и при своей неутомимой энергии и дарованиях воспитал их одинаково сильно, крепко связал их и слил, — где кончалось тело и начинался дух — сказать невозможно... — напишет Снегирев. — Сильные натуры, скрепленные единством существа и существования, бегут из дома, из насиженного места умирать вдали от него, чтобы при разъединении духа и тела не мешали суетные предметы, предметы обиходности, привычности и привязанности, не затягивали этого процесса, всегда тяжкого и всегда сознательного. Это есть роды души, где вместо болей бывает тоска — самая мучительная боль, которая существует на свете — боль духа...»

И наконец — обоснование уже чисто медицинское: «Но теперь позвольте отойти от этого психологического объяснения, и нет ли физических причин. Ведь, несомненно, он погиб от крупозного воспаления легких, так мне говорил один из пользовавших его врачей... Эта инфекция иногда сопровождается даже маниакальными припадками. Не было ли бегство ночное совершено в одном из таких припадков? Ибо инфекция иногда проявляется только за несколько дней до болезни, т.е. организм ранее местного процесса уже отравлен. Поспешность и блуждание во время путешествия вполне согласуются с этим».

Надо полагать, письмо профессора Снегирева принесет Софье Андреевне, если не успокоение, то утешение. Но отдадим ей должное: после смерти Льва Николаевича она многое пересмотрит в отношении к прожитой жизни: «Я плохо жила с ним, и это меня мучает».

«Вот и план мой». 3 ноября 1910-го

К полуночи жар становится меньше, под утро температура вовсе нормальная, и — едва полегчало — врачи тотчас чувствуют: как ни ослаб Лев Николаевич за дни болезни, физических сил у него все еще удивительно много.

Два дня он ничего не ел (боялся изжоги) и не пил — теперь, чтобы восстановить потерянную жидкость, как объясняют ему врачи, пьет нарзан, просто воду. Дают ему и шампанское (как укрепляющее). Соглашается принять ревень, соду (от изжоги).

Душевно бодр и спокоен. Свое положение понимает, конечно, но, кажется, не теряет надежды, что и на этот раз выберется, продолжит свое путешествие в самому ему неведомую даль.

Когда входит к нему прибывший в Астапово Д.В. Никитин, встречает его радостно: «Ну, вот как хорошо, что приехали. А я вот умирать задумал, ну да что делать — всем нужно». И прибавляет, смеясь: «А может быть, и обману».

С Дмитрием Васильевичем беседует о медицине. Сперва, по обыкновению, критически: нигде столько не занимаются тем, чего не знают, как в медицине. Но тут же — положительное суждение (наверно, опыт переносимой нынешней болезни подсказывает): самое важное — уход; нужно думать об уходе, о гигиене для разных больных. Дмитрию Васильевичу, который последнее время много занимается бактериологией, советует перейти и клинику, работать с живыми людьми.

Осмотрев больного, доктор Никитин вместе с Маковицким составляют бюллетень: «У Льва Николаевича воспаление нижней доли левого легкого. Температура вчера вечером 39,1, сегодня утром 36,7,

вечером 37,7. Значительное ослабление сердечной деятельности. Пульс частый, с перебоями, печень увеличена. Аппетита нет. Полное сознание».

Толстой хочет занести кое-что в дневник. Кладет на колени толстую тетрадь в мягкой черной коленкоровой обложке, самопишущим пером заносит в нее последнюю запись:

«Ночь была тяжелая. Лежал в жару два дня. 2-го приехал Чертков. Говорят, что Софья Андреевна. В ночь приехал Сережа, очень тронул меня. Нынче, 3-го, Никитин, Таня, потом Гольденвейзер и Иван Иванович <*Горбунов, последователь Толстого, руководитель издательства «Посредник»*>. Вот и план мой. Fais ce que doit, adv...

И все это на благо и другим и, главное, мне».

Как понимать это: «Вот и план мой»? Ирония над собой? Сознание, что план бегства, новой жизни не будет исполнен, неисполним? Или весь смысл в продолжении, в поставленной следом начатой и оборванной любимой с юных лет французской пословице? То есть: вот и план мой — делай, что должно... Он не дописывает: и пусть будет, что будет, — в дни и часы, им проживаемые, смысл этих слов непостижимо огромен.

Его заботит, что из-за его болезни съезжаются близкие, друзья, он не хочет, чтобы из-за него люди тревожились, меняли свою жизнь, оставляли свои занятия. При этом он и представить себе не в силах, сколько народу собралось за стенами станционного здания, где задержался транзитом, меняя свой маршрут, он, пассажир поезда № 12.

Иван Иванович Горбунов говорит ему ободряюще:

— Мы с вами еще повоюем...

— Вы — да, я — нет, — подумав, отвечает Толстой.

Татьяна Львовна, беседуя с ним, втайне ждет, что он спросит о Софье Андреевне и, узнав, что она в Астапове, позовет ее. Но он не хочет, боится свидания. Неслучайно, заснув, повторяет в бреду: «Бежать, бежать...», или: «Будет преследовать, преследовать...» Просит занавесить окно: ему чудится лицо смотрящей с улицы женщины. Но, очнувшись, говорит дочери: «Многое падает на Соню, мы плохо распорядились». И, когда она от неожиданности переспрашивает, что он сказал, повторяет: «На Соню, на Соню многое падает».

Маковицкий сердито свидетельствует в своих записях: Софья Андреевна говорит осаждающим ее корреспондентам, будто Лев Толстой ушел из дому для рекламы, она даст пять тысяч сыщику, которые теперь будет постоянно следить за ним. Но сохранилась фотография — кадр из фильма, который уже снимают в Астапове предприимчивые кинохроникеры братья Пате: заснеженная улица, дом с наглухо запертой дверью, с улицы, всем телом припав к стене,

заглядывает в окно, пытаясь — тщетно — разглядеть, что там внутри, одинокая женщина в длинном пальто и повязанном поверх шапки платке, — один из самых трагических документов толстовской биографии...

«Буду стараться». 4 ноября 1910-го

В четыре часа утра — t° 38,3. Очень беспокоен: много движется, поворачивается, водит руками по воздуху. Иногда неожиданно легко приподнимается, даже садится, — врачей удивляет легкость его движений: сколько в нем силы! Раскрывается и накрывается, снимает одеяло с груди и живота и снова натягивает. «Обирается», — ставит в записи Маковицкий народное словцо: согласно примете, человек «обирается» перед смертью.

Засыпая, бредит; в бреду часто называет цифры.

Помимо изжоги, его мучает теперь икота. Она становится все продолжительнее.

Температура перемахнула за 38; пульс очень частый, до 140, с перебоями.

Ему дают шесть капель строфанта, впрыскивают кофеин и камфару, ставят компрессы на спину и на грудь. Он пьет также понемногу нарзан с шампанским и миндальное молоко — тоже как лечебное средство.

Доктор Никитин выслушивает его: сердце расширено, воспаление в левом легком дальше не пошло, в правом боку ниже лопатки какие-то посторонние шумы.

Будучи в сознании, погружен в себя, очевидно, думает о смерти, но, похоже, все еще надеется: «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться...» — это он Черткову и Сергею Львовичу.

Сергей Львович, тихо сидя в сторонке, наблюдает, как отец, полагая, что остался наедине, лежит с закрытыми глазами, глубоко задумавшись, изредка выговаривает отдельные слова, выдавая волнующие его мысли, в которые погружен в эти минуты (такое бывало с ним и в здоровом состоянии). «Плохо дело, плохо твое дело...», — слышит Сергей Львович. Но следом: «Прекрасно, прекрасно». Потом вдруг открывает глаза и, глядя вверх, громко произносит: «Маша! Маша!» («У меня дрожь пробежала по спине, — рассказывает Сергей Львович. — Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка. Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года.) Когда ему дают пить, он отказывается: «Не хочу теперь, не мешайте мне». «Он, вероятно, продолжал думать о смерти», — пишет Сергей Львович.

Доктор Маковицкий свидетельствует: «Видно, что сам Л.Н. надеялся преодолеть болезнь. Видно было и то, что желал выжить, но и за все время болезни ничем не показал обратного, т.е. нежелания, лучше сказать — страха смерти».

Проблеск. 5 ноября 1910-го

Жар ночью невысок, к утру и вовсе падает, весь день — t° 37,0. Но сильная одышка, плохой слабый пульс. В течение ночи больной возбужден, бредит, мечется в постели. Днем чувствует себя покрепче, иногда садится, спустив ноги с кровати, и сидит так довольно долго. Пьет мало: мешает икота. Выслушивание показывает, что воспаление в легком дальше не распространилось. Сердце работает с расстройствами ритма.

В этот день приезжает Григорий Моисеевич Беркенгейм, привозит лекарства, разные приспособления для ухода за больным, кислород. Он энергично принимается за уборку помещения. Проветривает соседнюю комнату, туда переносят Льва Николаевича, тем временем проветривают и убирают комнату, где он постоянно находится.

За день больному сделано две инъекции дигалена, три — камфары, одна — кофеина. Температура вечером — 37,4.

В сравнении с предыдущим днем Лев Николаевич меньше горит, меньше бредит, на изжогу не жалуется, дыхание свободнее, движется легко. Среди окружающих — оживление, все поддерживают, ободряют, обнадеживают друг друга.

Но вечером он снова начинает медленно водить руками по груди, притягивать и отпускать одеяло — «обираться», иногда быстро водит рукой по простыне — будто пишет.

«Есть много людей на свете». 6 ноября 1910-го

Под утро — резкое ухудшение. Пульс слабый, частый, с большими перебоями. За ночь впрыснули два шприца камфары. Утром — t° 37,2. Большая слабость, одышка, икота. Врачи замечают пролежни — на крестце, на левом колене. Утром ему снова вводят дигален, камфару.

Приезжают давние знакомые — доктора Щуровский и Усов. Они осматривают, выслушивают больного. Толстой их не узнает, спрашивает: «Кто эти милые люди?»

Выводы врачей неутешительны.

Около двух часов дня Лев Николаевич вдруг возбужденно приподнимается, садится на постели и, обращаясь к присутствующим, громко произносит:

— Вот и конец!.. И ничего!..

Он бледнеет, дыхание становится все прерывистее. Ему делают укол камфары, — краска снова появляется на его лице, дыхание выравнивается.

С ним остаются дочери, Татьяна и Александра. Он неожиданно сильным движением садится на постели. Александра Львовна бросается к нему — поправить подушки, он ее отстраняет. Произносит твердо и внятно:

— Только одно советую вам помнить: есть много людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва.

Он тяжело дышит. Лицо посинело. Нос заострился. Ему дают кислород, вводят камфару, от икоты кладут на живот мешок с горячей водой.

Он что-то говорит в забытьи, часто невнятно, иногда вдруг вполне осознанно.

Перед полуночью снова резко садится: свесив ноги, тяжело дышит, стонет. Произносит, задыхаясь:

— Боюсь, что умираю.

Его снова укладывают. Откашливается, проглатывает мокроту.

— Ах, гадко!

Дыхание — более 50 в минуту. То ли позабывшись, то ли в ясном бодрствовании (в зависимости от этого и смысл меняется), говорит:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое.

И еще — громко, убежденно:

— Удирать, надо удирать!

Тогда же, около полуночи, Толстой подозвав Сергея Львовича — «Сережа!», говорит что-то невнятно. Сергей Львович не понимает — что именно, но Маковицкий разбирает и записывает:

— Сережа... истину... я люблю много, я люблю всех (или все они)...

Маковицкий записывает следом еще несколько фраз, услышанных им в эти минуты (перед полуночью): «Как трудно умирать! Надо жить по-Божьи» или «Парфина не хочу» («парфина» вместо «морфина» — доктор Усов советует ввести морфин, чтобы подавить икоту и помочь Толстому заснуть).

У Маковицкого и Сергея Львовича некоторое разногласие по времени в записи последних произнесенных Толстым слов.

Татьяна Львовна — она тут же, рядом — свидетельствует определенно:

« — Сережа! Я люблю истину... Очень... люблю истину.

Это были последние его слова».

Последняя остановка. 7 ноября 1910-го

Из последней записи доктора Маковицкого:

Ночь. Л.Н. больше не говорил. Спал. Дыхание уменьшилось с 50 до 40, до 36, с четвертого раза опять учащалось. Пульс становился filitornis <*нитевидным*> (в 2 ч., а потом (кажется, в 3-м ч.) и совсем нельзя было (мне) его прощупать...

После 4 ч. Л.Н. начал охать, стонать, переворачиваться, раз левое колено поднял. Dispnoe expiratoria <*предсмертная одышка*>.

Руки, ноги теплые.

В 2.40 начал стонать.

В 3. (40) injectio — 175 гр. NaChl 0,6% в берцо <*голень*>.

Кислород. Обкладываем мешками с горячей водой.

В 4.40 Л.Н. тяжелее дышит. Пульса никакого. Цианоз лица и губ.

Все время клали в постель мешки с горячей водой. Родные и друзья стали входить, взглядом прощаться с Л.Н.

В половине 5-го Щуровский вызвал меня, чтобы попробовать дать попить. Я обратился к Л.Н. Он понял, приоткрыл глаза, левый больше, и сделал глоток с ложки. <*У Сергея Львовича: «Душан Петрович подошел к нему и сказал торжественным тоном: "Овлажните свои уста, Лев Николаевич". Отец сделал глоток».*> Через час та же проба. Л.Н. проглотил.

Беркенгейм предложил позвать Софью Андреевну.

В 5 другая инъекция — 175 гр. NaChl в левое и правое бедро. Л.Н. реагировал на боль.

В 5.20 вошла Софья Андреевна, сидела в трех шагах от кровати, шепталась с Усовым... Между нею и кроватью стояли Никитин и я, если бы Л.Н. очнулся и она хотела бы подойти, мы загородили бы путь. Пробыла минут восемь, поцеловала темя Л.Н., потом ее увели.

<*У Сергея Львовича несколько иначе: «Около двух часов, по предложению Усова, позвали мою мать. Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить "Прости меня" и еще что-то, что я не расслышал... Минут за десять до кончины моя мать опять подошла к отцу, стала на колени у кровати, что-то тихо говорила. Услыхать ее, конечно, он уже не мог».*>

В 5.30 другая инъекция — 175 гр. NaChl в левое и правое бедро. Л.Н. реагировал на боль. Еще пускали Oxidon <*кислород*>. Л.Н. дал знак, что не желает. Стал все труднее дышать и нижней челюстью работать. В 5.45 часто — 50 раз и чаще — поверхностно дышал. В 6.03 — остановка первая <*дыхания*>. Потом еще минуту дышал. В 6.04 остановка вторая. После минуты в 6.05 еще один вздох — последний. Смерть.

Вне времени и пространства

Его смерть и в самом деле стала пробуждением в новую жизнь. «Помоги мне, Господи, жить вне времени в настоящем и вне пространства в других», — молился он. Новая жизнь Толстого, которая началась его смертью, стала именно такой, какую просил он в молитве.

Время и пространство утратили над ним свою силу. Вчера, сегодня, завтра — он живет вечно, в одном вечном настоящем. Живет не в каком-то определенном физическими законами пространстве, не в пространстве географическом, не в России, Америке или Японии, — живет «в других», в душах людей, в каждом из нас.

Живет своей личностью, своими творениями, уясненными им или намеченными идеями и мыслями, независимо от того, в чем мы согласны с ним, а в чем нет, живет созданными им образами, чувствами многих и разных людей (или обобщенно — человека), проницательно им увиденными, угаданными, переданными. Жизнь самого Толстого, каждая созданная им страница помогают нам открывать себя.

В биографии и творчестве Толстого, и, соответственно, для каждого из нас, значимо и его «медицинское наследие»: отношение с медициной и к медицине, его собственные физические и психические особенности и физические и психические особенности его героев, характеристики в его творчестве больных и врачей, описание болезней, — в целом же постоянные напряженные раздумья о месте медицины в поисках смысла жизни, в неустанной работе, которая необходима, чтобы сделать наш мир прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем.

СОДЕРЖАНИЕ

А.М.Вейн. *Предисловие к первому изданию* 5
Часть стройного целого 11

НАБРОСКИ ПОРТРЕТА

Непостижимое 17
Ящики памяти 32
Знак и признак 39
Лучше красоты 49
Верьте себе 70
Кто-нибудь сумасшедший 85

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Одна душа во всех 97
Подробности ужасной минуты 114
Ни хорошо, ни плохо 119
Деятельное участие 132
«Кошмар чахотки» 146
На все времена 153
Каждый болеет по-своему 167
Причины физические и нравственные 184
Но было другое 194

ЗА И ПРОТИВ

Вопрос этот осложняется тем 211
Неужели это так надо? 239
Первая ступень 254
«Видно, опять жить надо» 267
Коромысло весов 283

ПАССАЖИР ПОЕЗДА №12

Действительная действительность 307
«Когда я вырасту большой» 320
Быстрота биения сердца 356

Владимир Порудоминский

ЕСЛИ БУДУ ЖИВ

Главный редактор издательства *И.Савкин*
Дизайн обложки *И.Граве*
Оригинал-макет *Б.Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, СПб., ул. Бабушкина, д. 53
Тел./факс: (812) 560 — 89 — 47
E-mail: office@aletheia.spb.ru
www. aletheia.spb.ru

Подписано в печать 27.09.2011. Формат 60x88 1/16.
Усл.-печ. л. 14. Печать офсетная. Заказ 783.
Тираж 1000 экз.